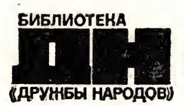
КОСТАН
ЗАРЯН



кораблъ на горе




БИБЛИОТЕКА
ДН
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

БИБЛИОТЕКА «ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

КОСТАН ЗАРЯН

корабль на горе

РОМАН

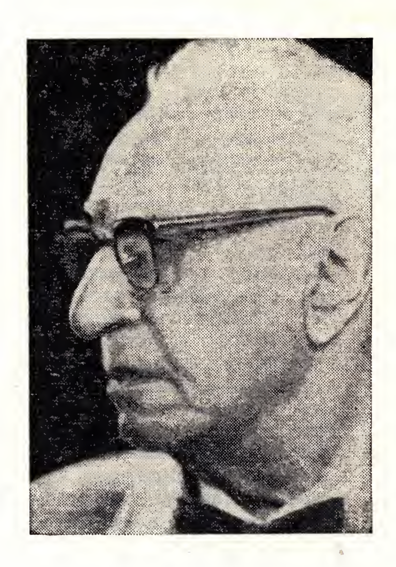
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ» • МОСКВА • 1974

С(арм.)2
311

Авторизованный перевод с армянского
А. САГРАТЯНА

Художник Р. АДАЛЯН

7-3-3
35-74



Костан Христофорович ЗАРЯН прожил долгую, интересную жизнь.

Уроженец г. Шемахи (ныне город Шемаха находится на территории Азербайджанской ССР), армянин по национальности, он из отпущенных ему природой 84 лет полвека провел за границей — во Франции и Бельгии, в Турции и Италии, в Северной и Южной Америке, в Испании и Голландии.

Детские и отроческие годы Костана прошли в Баку. Там он окончил русскую гимназию, и его первым языком был русский.

Позднее, за границей, он писал и печатался на французском, английском, итальянском. Выступал как поэт и исследователь литературы и снискал уважение и высокую оценку читателей. На нескольких языках редактировал он журналы, альманахи, сборники.

Человек, которого не только соотечественники, но и зарубежные соплеменники и сегодня почитают национальной гордостью, лишь в 24 года взялся за изучение родного языка — армянского. Случилось это в 1909 году далеко за пределами Армении. Костан поступил так по совету известного поэта Эмиля Верхарна. Он отправился в Венецию, на остров св. Лазаря — в армянский монастырь, «...где некогда изучал армянский сам Байрон. С помощью двух монахов я старался овладеть и грабаром — древнеармянским, и современным — ашхарабаром.

Теперь понимаю: язык — в крови, так же, как и талант, вкус».

Отныне и навсегда родной язык стал для писателя выражением единства родины и народа и стал единственным языком его творчества. Написанные на армянском языке стихи и поэмы, романы и рассказы, драмы и искусствоведческие исследования могут составить 10 томов.

В 1914 году в Константинополе Зарян создает журнал «Мехьян» («Капище»), который сплотил приверженцев неоромантического движения в западноармянской литературе. Неоромантики отрицали буржуазную культуру, ее меркантилизм и воспевали древние языческие времена, когда преобладали сильные и здоровые человеческие чувства. Однако просуществовал журнал недолго — шла мировая война.

В Париже 1925 года писатель издает «Вавилонскую башню» — журнал для всех континентов. Крупнейшие художники — Пикассо, Делонэ, Леже, Шагал — работали над его оформлением. Из далекой Индии его приветствует Рабиндранат Тагор.

Литературная и обществен-

ная деятельность сблизила К. Заряна с выдающимися современниками: поэтами Э. Верхарном и Г. Лоркой, драматургом Л. Пиранделло, И. Буниным, Т. Драйзером, Стефаном Цвейгом, Э. Ремарком, композитором С. Комитасом. Живя в Швейцарии, Зарян встречался с русскими большевиками Литвиновым, Красиным, Миха Цхакая.

Симпатии и помощь РСДРП(б) привели его в 1907 году на скамью подсудимых и в камеру мюнхенской тюрьмы, где он отсидел полтора года.

Но и вдали от родины писатель оставался ее патриотом.

Самое значительное произведение — роман «Корабль на горе» он создает, обратив свой взор к многострадальной родине.

Книга была задумана в 1938 году, автор жил в это время во Франции.

Сгущающиеся в Европе тучи привели писателя к убеждению: осмысление недавнего прошлого своего народа покажет, ценой каких страданий завоевано счастье новой Армении, которое надо свято беречь.

Так возникла идея романа. Зарян приступил к нему в Париже, продолжал во Флоренции, а закончил и опубликовал уже во время второй мировой войны, в 1943 году, на другом континенте — в американском городе Бостоне. Трагические события войны еще теснее сблизили писателя с далекими соотечественниками, укрепили его патриотические чувства. В романе Костан Зарян выразил свои заветные думы и чувства о судьбе родины.

В 1962 году, на склоне лет, Костан Зарян возвращается на родину. И здесь, обогащенный новыми знаниями и новым духовным опытом, писатель многое критически переоценивает в своей работе. Переработке подвергся и роман, который представлен настоящим изданием.

Исследователи творчества Заряна справедливо характеризуют «Корабль на горе» как роман-диспут. Диспут об исторических судьбах Армении, ее перспективах. Рассказ о мытарствах героя — Ара Эрьяна — развертывается на широком фоне общественной жизни Армении тех лет. В романе, как и в жизни, сталкиваются различные и зачастую диаметрально противоположные взгляды на развитие нации, идет жаркий и мучительный спор о национальном духе и достоинстве, о жгучих проблемах существования и становления народа, страны.

Сложны и сами искания главного героя. Не сразу он пришел к тем, кто совершил первую в мире пролетарскую, социалистическую революцию. Но пойдет он вместе с Советской Россией.

Неопровержимо доказана правда революции, историческая ее справедливость.

Памятником умершему в декабре 1969 года писателю остается переведенный на русский язык и обретший всесоюзного читателя лучший его роман «Корабль на горе» — интересное произведение современной советской многонациональной прозы.

ОТ АВТОРА

Эта книга — не исторический роман в обычном смысле слова, а повествование о духовных исканиях нескольких человек, которым суждено было жить в один из решающих периодов национальной жизни армян. Действующие лица почти вымышлены, но ведь известно, что воображение художника часто более реально, чем сама действительность. Итак, не книга чтения по истории, а художественное полотно, исследование человеческой души.

И тем не менее автору невозможно было совсем игнорировать историческую истину. В условиях зарубежной жизни, вдали от родной страны и непосредственных участников событий, очевидцев их, трудно было воссоздать истинную картину всего происходившего, и невольно в мою книгу вкрались отдельные неточности, которые я постарался исправить в связи с новым изданием романа.

Основываясь на сохранившихся в Армении документах, я пришел к выводу, что, в частности, Сардарапатское сражение было эпизодом подлинно народной борьбы против захватчиков, организованной не стараниями одной партии хмбапетов-дашнаков, а монолитными и героическими усилиями всего народа. Убедился также в том, что в своем произведении я неверно трактовал значение рабоче-крестьянского Майского восстания и ряд других событий, сыгравших решающую роль в жизни Армении.

В свое время известный итальянский романист Алессандро Мандзони, отправляясь во Флоренцию, сказал, что прибыл в эту колыбель итальянской культуры промыть, прополоскать в водах реки Арно отдельные места своего романа «I promessi sposi» («Обрученные»). На берегах Раздана, на земле отцов, где все так прекрасно возрождается, где армянская песня звучит сильно и пленительно и армянский народ складывает свои усилия с усилиями других народов, творя невиданную в истории новую жизнь,— я также прополоскал некоторые места своего романа.

Костан Зарян

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Едва раскрылись створки сработанных под альпийский домик настенных часов и желтый птенец, высунувшись, прокричал своим металлическим горлом «ку-ку!», как капитан дальнего плавания Ара Эрьян открыл глаза, сел на постели и шумно зевнул. «Неужели спал так долго?»

Поерзал с минуту и, подобно опрокинутому на спину большому жуку, под одеялом задрал кверху ноги и руки. Затем решительно отбросил в сторону одеяло, спрыгнул с кровати и, раскрыв ставни, прижался носом к оконному стеклу, и, пока так стоял, целый рой забот разом ворвался в него.

— Черт возьми,— произнес он, как бы отвечая своим мыслям. Резким движением скинул с себя белье, стал делать зарядку. Вытянулся на полу, прижал сомкнутые ноги к голове; повернулся лицом, держась на вытянутых руках; снова повернулся — на спину, работая ногами так, будто ехал на велосипеде; вскочил на ноги, повертел корпусом. И так много раз. Почувствовав усталость, побежал к умывальнику, насвистывая и фыркая, умылся.

Капитан Эрьян, хотя и было ему за тридцать, выглядел совсем молодо. Среднего роста, плотно сбитый, под-

вижный, привычный к путешествиям, к вольному морскому воздуху, с лицом, прокопченным на солнце и исхлестанным ветрами.

Серые глаза порой казались голубыми, и женщины в далеких портах находили их привлекательными, когда он бывал спокоен. Но в гневе глаза становились жесткими и внушали страх. Кулаки же его были тяжелые. Он сознавал это и носил свою силу с достоинством. А вообще человек он был уравновешенный, доброго нрава.

Эрьян оделся, открыл дорожную сумку, привычными движениями уложил в нее все необходимое, закрыл и отложил в сторону.

В коридоре, надевая фуражку, помедлил, уставился глазами в одну точку. Подумал о Дашеньке. Как сообщит ей о своем отъезде? Зажег трубку, вернулся в комнату — проверить, не забыл ли чего,— и торопливо вышел.

Пришел на берег. Насупил брови, заскользил взглядом по морю и небу, с силой втянул воздух. К дождю шло.

На море тихо, никакого движения.

Несколько человек сидят перед своими полупустыми лавками. Другие, стоя на пирсе, лениво уставились в морскую даль.

Грустную картину являла пристань. Поставленные на якорь, ржавые посудины словно чего-то ждали, тихо покачивая верхушками своих мачт.

Раз в две недели приходил итальянский пароход, и гудок его отдавался в сердцах песней надежды. А уходил он, и город снова становился пустым и сонным.

Случалось еще, блуждающая мина с грохотом взлетала над поверхностью воды, будоража город. В такие минуты люди с посеревшими лицами хватали бинокли, всматривались вдаль или бесцельно бегали взад-вперед по берегу. Не дай бог, подорвалась на ней лодка с беженцами...

Беженцы эти, набившись в катера, лодки, шли от Одессы или турецких берегов. Либо те, кто бежал из центральных областей России от красных, либо армяне, уцелевшие после долгой борьбы с турецкими притеснителями-извергами.

И когда, выстояв дни и ночи против бушующей стихии и голода, одиссеи эти чудом добирались до места, на

берег вылезали уже полупризраками. Недоуменно глазели на окружавшую их толпу, глупо смеялись, заикались. Щемящее было зрелище. С искаженными лицами, глазами, налитыми кровью, вшивые и изнуренные, эти бедняги дрожали всем телом, прижимали костлявые руки к ввалившейся груди, бормотали что-то невнятное. Обессиленные, падали тут же, на берегу, сжимались в комок и засыпали.

А просыпались,— сердобольные люди выносили им хлеб и водку. Тогда они оживали, глотали, не прожевывая, хлеб и говорили, говорили... Рассказывали о своих бедствиях.

Эрьяну не было дела до всего этого. Он давно решил уехать. Хватит, сколько терпел и ждал. Ждал и терпел столько отвратительных, безрадостных, томительных дней.

Батум — красивый порт, окруженный зелеными холмами,— превратился ныне в немыслимо скучное место.

Туман, кровь, грязь.

Город, как футбольный мяч, переходил от одних к другим. Здесь попеременно хозяйничали интервенты из стран германо-турецкой коалиции и стран Антанты. Всевозможные флаги, всевозможные деньги — но все та же бедность, запущенность.

Море закрыло свои пути, и город поблек. Мостовые пришли в негодность, трубы водопровода и канализации полопались, фонари побились. Дома темнели от сырости, гнили. Жители, изведенные неудобствами, холодом, страхом, ходили как тени, общались больше вздохами.

Местные пароходы не курсировали. Нефть — черная кровь, которую Батум раздавал миру,— не бежала больше по стальным артериям от Каспийского моря к Черному. Хозяйство Баку пришло в расстройство. Заводы были взорваны. Нефтяные скважины продолжали еще полыхать. Кавказ — от величественных вершин своих и до неспокойных границ Армянского нагорья — был во власти неведомых темных сил, хаоса.

— Да, хаос! — жадно затягиваясь, сказал про себя Эрьян.

Бóльшая часть неба скрылась за низкими тучами. Море, у берегов зеленое, отливало серым вдоль узкой

косы, чья четкая, обрисованная огромными камнями линия тянулась заметно далеко.

Надвигалась буря.

Эрьян озабоченно посмотрел по сторонам, пошарил взглядом дали за вытянутыми изгородью мачтами, спадавшими вниз канатами, и подавил стон. Настоящее кладбище. Неподвижные, застыли большие и малые суда, шхуны, парусники. Дальше в море, на якоре, задрав нос, с раздутым пузом и облупившейся местами краской, арестованный, стоял тот самый танкер, на котором Эрьян плавал многие годы капитаном.

Всякий раз, глядя на свой корабль — «Северную звезду», он ощущал острую тоску. В голове его просыпались тысячи воспоминаний. И всему этому он теперь говорил: «Прощай!..»

Внизу склады давно уже закрыли свои ворота. Погрузочные механизмы, задрав руку, замерли. Цепи на берегу увязли в осклизлом песке. Вокруг огромных хранилищ, подобно грибам, выросли поселения беженцев. Случайные домики, крытые обрезками жести,— безобразные строения. Грязь, мусор, злость.

Какая странная штука жизнь! Человек живет так, будто все вечно, незыблемо. Живет, не веря в смерть. Не веря в те силы, которые зреют подспудно и внезапно обрушиваются на мирно дремлющие материки. Человек не видит этого. Скользит по уже уложенным рельсам восприятия: достает платок и приветливо машет картинам бытия, в то время как над ними уже нависла угроза и близка катастрофа — целые страны будут потрясены, расколоты, разверзнутся бездны.

Вот оно, море,— мрачное, безработное. Вот они, осиротелые суда, и вот он, капитан Эрьян, который в эту минуту, вместо того чтобы стоять на своем капитанском мостике, находится здесь, на берегу, обречен на безделье...

Зачеркнуто все, чему ты отдал лучшие свои годы. Вчерашний день с грохотом захлопывает двери: жизнь толкает тебя и бежит вперед. То, чем ты жил,— морские рейсы. А заполненные радостями и заботами, веселье и сумятица далеких портов Востока и Запада, встречи с женщинами, приключения в самый канун отплытия — все это кануло безвозвратно.

А море? Что оно? Опасная колыбель бесконечно ширящихся вод, гнездовье бурь, жалоб воющих и стонущих ветров?.. О! С юных лет полюбил он жизнь на воде, с ее неожиданностями, трудностями... Море. Сестра с зелеными, мутными глазами...

Невыносимым было это долгое ожидание, эта неопределенность, это разлитое повсюду безволие. Навалились события, с которыми тягаться стало невозможно. Жизнь утратила устойчивость, изменилась. Все полетело вверх тормашками...

Война, разруха, революция.

А ведь он никогда не боялся жизни. Всегда шел вперед твердым шагом, не пасовал перед трудностями, перед злобой и хитростью людской. Шел с открытым челом, с кулаками наготове, с бьющимся сердцем.

...Теперь он с радостью прощается с прошлым. Настоящий человек должен выбирать дела соответственно своим силам. Осветить внутренним смыслом дни свои. Всегда чувствовать жажду жизни, поющую в глубине его души. Жить! Всей мощью существа своего жить...

Заложив руки в карманы, чуть вразвалку, медленным шагом он двинулся вдоль берега и засвистел себе под нос.

Решено. Он должен оставить море и должен оставить Дашеньку.

Дашеньку!.. С волосами цвета давленого винограда, отливающими золотом, синеглазую, своенравную Дашеньку.

Родную землю — Айастан, куда он собирался ехать, не видел с детства. Это было давно. Круглым сиротой приехал он в Батум, к родственнику. Тот промучил его несколько месяцев, затем выгнал из дому. И в дальних плаваниях не раз представали перед ним картины родной природы, как прекрасный сон.

Горы, поля... Первый холодок рассвета, нежданно выхлестнувший наружу поток золоченых лучей, озаривших все вокруг... И село, прилепившееся к склону горы, и домик с земляной крышей, и шумливую речушку... Особенно любил он речушку, которая катилась с гор, исчезала в деревне, меж домами, пропадая там надолго. Потом неожиданно вырывалась шумя, сбегала под какой-ни-

будь ветхий мостик, разливалась озерком и вот, набравшись сил, уже не таясь, перекатывалась, во все горло славя бескрайний вечер, что сползал с ближних гор и качался в воздухе вместе с гудящим колоколом церкви на холме...

Эти образы жили с ним все годы, стали частью его существа. В труднейшие минуты, когда требовалось ему обрести душевную стойкость, он мысленно возвращался к местам своего детства. И эти воспоминания поддерживали его.

— В сердце армянина его родина,— сказал ему там, на чужбине, скиталец,— не просто сладостное воспоминание, но циркулирующая с кровью некая духовность. Без нее теряют смысл работа, богатство, положение в обществе, слава.

С течением лет эти простые слова пустили глубокие корни, породили беспокойную, порой даже мучительную двойственность. Необъяснимая неудовлетворенность бросала его с места на место. Не мог он дознаться ее причины, хотя за долгие путешествия прочел немало книг, интересовался проблемами науки, философии. Он много трудился, развлекался, хватал дары жизни полными пригоршнями, и в то же время его не покидало чувство внутренней пустоты. Подобно кораблю без якоря, душа бродила в безрадостном море, у которого не было берегов.

Да, он решил найти опору в родной земле. Все свои силы отдать родине, вместе с ней встретить грядущие испытания.

И радовался, что должен уехать.

Последний день провел он у Дашеньки.

Вечером поужинали на воздухе. Обошли площадки танцев и музыки. Он старался казаться веселым: пел, танцевал.

Дашенька была в светло-розовом платье, которое так нравилось Эрьяну. На грудь приколола золотой цветок с большими лепестками. Соломенные кудри, спадая на лоб, светились так, будто под ними горел огонек.

Эрьян не в силах был глаз отвести. Дашенька выпила вина и взгрустнула. Ее длинные ресницы, кажется, стали еще длиннее, в зрачках появились беспокойные искры, и влажные красивые губы полуоткрылись.

— Что будет? — говорила она упавшим голосом.— Что будет, Ара?

Эрьян брал ее нежные, округлые руки в свои и слабо пожимал.

— Дай срок, когда-нибудь привезу я тебе розовые туфельки под это платье и еще привезу тонкие и пьянящие духи, которые делают во Франции... Дай срок, Дашенька, будут еще хорошие дни...

И Дашенька счастливо улыбалась.

Дашенька любила цыганские мелодии,— они заказали оркестру. Низким голосом она подпевала, и глаза наливались слезами. Эрьян целовал ей руки и обещал, обещал много хорошего.

— Ах, Ара, затоптан ныне мой сад, больше не будет у меня радости.— И серьезно, со вздохом: — Знаешь, Ара, от двух моих братьев никаких вестей...

— Вестей нет потому, что закрыты пути... Пей!

Пили. Танцевали. И он боялся рассвета, который вот-вот должен был прийти и задуть то голубое пламя, которое занялось в его сердце. И снова танцевали. В перерыве садились и смотрели друг другу в глаза. Дашенька грустила все больше.

— Почему?.. Я и сама не знаю... Так... Я и сама не знаю...

— Дни пройдут, и придут дни другие, Дашенька... Увидишь, все устроится, утихнут бури в сердцах людей. И я снова поведу свой корабль в восточные порты... Ты придешь на пристань, зажав в руке платочек. Станешь на пирсе, посмотришь печальными глазами на меня и, помахав платочком, пожелаешь мне доброго пути... Корабль загудит густым басом, отдадут концы, и я уеду и буду все плавание думать о тебе и тосковать... А воротясь, привезу тебе, Дашенька, шелковые и бархатные ткани, на которых будут вытканы большие цветы и невиданные птицы...

Но часы пролетели, рассвет припал светлыми глазами к окнам, и пора было уже уходить.

Они пошли под руку. И всю дорогу, без причины, смеялись наивным детским смехом.

Ближе к Дашенькину дому Эрьян вдруг посерьезнел и, собравшись с силами, сказал:

— Дашенька, сердце мое... Ах, Дашенька-душенька...

До сих пор не говорил тебе: скажу — не грусти... Через несколько часов я уезжаю...

Дашенька стала как вкопанная и широко раскрытыми глазами посмотрела на него:

— Неправда! Неправда! Хочешь напугать меня...

— Нет, пугать тебя не хочу... Должен уехать.

Объяснил.

Дашенька зарыдала. Слезы покатились из глаз, унося слой пудры, и лицо ее еще больше побледнело, стало жалким. Положила голову Эрьяну на плечо и продолжала плакать.

— Я вернусь... Вот увидишь, Дашенька, я вернусь...

В то же утро, с дорожной сумкой в руке, надвинув на глаза капитанскую фуражку, подняв воротник пальто, Эрьян пришел на вокзал.

Отбыл в Айастан.

2

Переполненный поезд. За окнами мелькают полустанки, поля, холмы, коровы, козы... Одинокие фигурки крестьян.

В вагоне — одно на другом — тела, сумки, ящики, мешки. Женщины на полу. На грудах вещей — спящие дети с восковыми лицами, сгорбленные старики.

Едва останавливался поезд, как эта пестрая толпа начинала шумно шевелиться. Расталкивая других, крича, размахивая над чужими головами кувшином, каждый старался сойти, набрать немного воды. Паровоз не переставая гудел, женщины визжали, громко кричали дети.

Зажатый меж двух мешков, взмокший, с пересохшим ртом, обессиленный, Эрьян доехал до станции Тифлис и стал наводить справки о поезде, отходящем в Айастан.

— Состав на Армению уже подан, но до отправления есть еще время,— сказал какой-то железнодорожник.

Поставил ногу на подножку вагона и разволновался. Прошел в вагон и, видя, что никого нет, растянулся на полке.

Он крепко спал, когда поезд тронулся.

— Господин, вставайте... Здесь все сходят...

— Как, уже?

Протер глаза и выглянул в окно.

Темень, дождь, безлюдье.

— Идите по путям,— сказал проводник-грузин,— и найдете ереванский поезд... Это станция Санаин, здесь граница...

Удивился. Взяв сумку, ежась от холода, пошел в темноту. Шел, спотыкаясь о шпалы. Губы чуть дрожали.

«Санаин? — подумал он.— А я-то представлял монастырь... Известный, древний монастырь... И наконец, где он, этот Санаин?»

Темень, дождь.

— Ладно,— сказал, подбадривая самого себя,— ладно! Вот и страна родная...

Но, прошагав порядком, задумался. Никакой станции не видно, и даже негде укрыться от дождя. Как быть, если придется ждать поезда несколько часов?

Родная земля...

Сделал несколько шагов по вязкой грязи. Пришлось идти, внимательно ощупывая взглядом почву под ногами, перепрыгивая через лужи. Ноги промокли насквозь. Мерз. Глубокое отчаяние сжало сердце. Холодно, пусто, темно.

Дашенька!..

Нет, лучше было бы вернуться. Побежал назад и остановился, опешив. Раздались гудки паровоза, и грузинский поезд, блестя освещенными окнами, скрылся из глаз.

— Вот тебе на...

Опустил сумку наземь и сел на нее.

— Э-э-э! — закричал он. Но никто не отозвался. Достал из кармана трубку, набил, закурил. Одного не понимал: ведь еще люди сошли с тифлисского поезда, куда они подевались?

Глаза стали привыкать к темноте. Теперь он различал очертания холма. Высокий, черный, отвесный, стоял он впереди. Казалось, вот сейчас сдвинется и всей глыбой пойдет на тебя. Наверно, на вершине его стоит монастырь с двором, а вокруг — тесные полутемные кельи с массивными стенами. Наверно, там сидят монахи с длинными бородами, нацепив на кончик носа кривые очки, и при свете лампад читают пергаментные рукописи одного с их лицами цвета или пишут красивыми буквами мрачную летопись...

...Но где станция?

Здесь — он, дождь, одетые в темень холмы. А станции нет и ереванского поезда тоже нет.

Снова взял сумку в руку, пошел. Изрядно побродив, различил луч света. Побежал на него. Одинокий вагон стоял на запасном пути. Обрадовался. Вскарабкался на подножку и побарабанил в дверь. Какой-то солдат опустил окно и высунулся.

— Извините, братец, хотел узнать...

Объяснил свое положение.

— Ну, в этот вагон входить запрещено,— сказали из окна,—потому что воинский он... Вон по той стороне если пойдете, будет фруктовый ларек, там можете подождать... Коли вы новый человек в здешних местах, не взыщите... Так вот, из-за войны станционные здания разрушены, и что поделаешь... Вот так, значит...

Эрьяну понравились пристойный тон объяснений и серьезное лицо этого солдата. Хотел поблагодарить его, да вдруг замялся и, бормоча что-то неопределенное, ушел.

Зашагал, как указали, и остановился перед полуразрушенными стенами. Торчащие балки, обугленные ставни, сорванные двери. Наверное, станция была здесь... Сунул в рот пальцы и свистнул. Залаяла собака. Во мраке закачалась чья-то тень.

— Кто там?

— Где тут торговец фруктами?

Быстро пошел на тень.

— Здесь!

Среди хаотического нагромождения камней он различил углубление и проход куда-то в подвал. Согнулся и, нащупывая ногами землю, вошел. Сырой и кислый дух ударил в лицо. Огарок в бумажном конусе высветил ему все помещение. Корзины, наполненные морковью да яблоками. Вокруг них, на корточках, несколько человек.

— Добрый вечер каждому,— глубоким и бодрым голосом приветствовал Эрьян и, ставя наземь сумку, опустился на нее.

Присутствующие исподлобья уставились на пришельца, помолчали, повздыхали.

— Что это, зал ожидания? — пошутил Эрьян.

Ответа не последовало.

— Ваше благородие, никак, поезда ждет? — помедлив, спросил кто-то.

— Да...

— Поезд вон, давно стоит, только дверей не открывают, как бы кто не сел...

— Стоит? Чей это приказ такой?

— Откуда мне знать... Говорят, всё воруют, растаскивают.

— Да будет тебе! — вмешался другой.— Что там осталось-то растаскивать? Все давно растаскано-разворовано.

— А я о чем,— продолжал первый,— мир так переменился, так переменился... врагу не пожелаю... Ваше благородие откуда едет?

— Из Батума,— ответил Эрьян.

— Да! Хороший город!

И помедлив:

— Да!.. Что говорил... Раз из Батума едете, может, знаете... Идет эта проклятая или не идет?

— Кто?

— Да эта... Европа!..

— Кто знает,— сказал неопределенно Эрьян,— кто знает. Забот полон рот... Не понимаю одного: чего этот блаженный поезд из Тифлиса прямо в Ереван не идет? — добавил он с горечью.

— Не идет... и все тут. Что скажешь?

Один из сидящих стал тихо похрапывать. Хозяин ларька задул свечу.

— Не достать,— пояснил он.

Довольно долго просидев на своей сумке, Эрьян услышал гудок паровоза и выбежал.

С удивлением заметил, что перед поездом целая толпа. Крестьянки, мужчины в папахах, военные, дети. Откуда пришли эти люди? Атакуют двери, крича и толкаясь, стараются попасть в вагон. Эрьян понял, что ему следует поторопиться, иначе останется без места. Закинул сумку на руку, протиснулся вперед; отбросили назад, упал на колени, поднялся, снова бросился вперед, он толкнул, его толкнули — и, сам не понял, каким чудом оказался в вагоне.

Стоял густой мрак. Забрался на верхнюю полку, но куда и к кому — сам не знал.

— Послушайте, что это такое? Когда свет зажгут? — возмутился он.

— Вы что, из Китая едете? Где он, этот свет? — иронически ответил кто-то.

Новые пассажиры входили, как слепые, натыкались на людей, изрекали проклятия, исчезали. Горцы были, наверно: пахло от них сушеной травой, козьим сыром, овцами.

С отправлением поезда кто-то из попутчиков попытался зажечь свечу. Напрасно: в разбитые окна врывался ветер и в тысячу ртов задувал свечу. Но и короткого мерцания огня было достаточно, чтобы обнажить жалкий вид вагона. Обивка была содрана, металлические части торчали скелетами, окна выбиты, занавески изрезаны ножами.

За окном ночь бежала за поездом, стуча по земле ногами.

Дебет [1], грохоча, бесновался среди скал. Ветер выл, сотрясая деревья Лори [2].

Эрьян взял окоченевшими пальцами трубку, закурил... Постепенно тело его отяжелело, вытянулось и, не в силах противиться сну и усталости, отдалось стуже и качавшемуся вагону. Какая-то тяжесть сдавила ему веки, навалилась на плечи, и сознание заволокло.

И вот пространство: бескрайнее, зеленое, пустынное.

Поле это или море?

Под небом, вышитым звездами, бушующая ночь. Воющие стаи свирепых ветров. Бьют в лицо, толкают, хотят сбросить его вниз. Тело напряжено, кулаки сжаты, ноги широко расставлены,— удержать равновесие на этом перекатывающемся волнами просторе.

А вот и темно-синий горизонт, на краю которого из расколотых туч вырываются щедрые лучи. Стрелка компаса безумно мечется вправо и влево. Вот странно: думал, пенные волны надвигаются, а нет, идут бессчетные стада. Позвякивают колокольчики на шее у коз, собаки с лаем носятся взад-вперед, и пастухи, играя в воздухе длинными палками, забегают слева и справа, подгоняя овец.

А этот гудок откуда? Хриплый, бездонный. Корабельный гудок.

— Скорей! Отдайте концы...

---

[1] Дебет — река в Лорийском ущелье.

[2] Лори — лесистый, горный край.

Концы отдают, корабль отходит. Но не может идти вперед, потому что впереди выросли горы. Колыхаясь, исчезают стада. Хочет пойти следом за ними, но двинуться с места не может. Хочет позвать на помощь, крикнуть: голос захлебывается в горле.

Мерзнет... Черт побери. Затряс головой, размял плечи. Приснилось, что ли? Зевнул и снова задремал.

Так-так, так-так — пел поезд.

...И идет в родное село узенькой тропкой. Смотрит и удивляется. Да, села Бербивза не узнать. Что это, помилуй бог? Все сдвинулось с места. Разруха кругом. Пройти невозможно. Грязь по колено, камни здесь и там, бревна. Ноги подкашиваются: падает, встает... Не знает, куда пойти, что делать. Роится в нем какое-то горе. Дрожит он всем телом.

Смотрит снова. Темень, тяжелая туча уперлась грудью в этот разоренный край, закрыла лежащие трупами домики. Веки тяжелеют, болят. И чем дальше уводят его шаги, тем больше густеет тьма. Начинает испытывать страх. И хотя ноги продолжают шагать, он, однако, уже не чувствует своего тела. Его нет. Есть только глаза... Да и те, кажется, не его... В то же мгновение эти глаза перебегают совсем в другое место. Встретил в арабской кофейне Бизерты капитана Мельникова и рассказывает ему о своем селе.

— Понимаете, дорогой друг, будто поехал я в наше село...

В углу кофейни звенит щемящая восточная мелодия. Сытый ею по горло, он убегает и возвращается в село. И вот в конце главной улицы села брезжит пятнышко света. Наверно, кто-то слабой судовой лампой обыскивает местность. Эрьян, напрягая все силы, бросается к свету. Прыгает через ямы, ударяясь о груды камней, падает на колени.

Перед ним возникает неправдоподобного вида человек. Плечи узкие и угловатые, лицо в пятнах, борода растрепана, глаза — два горящих уголька, губы сухие и тонкие. В костлявых, скрюченных руках держит качающуюся лампу. Дрожащее пламя льет желтый свет, и от него идут во все стороны толпы теней. Руки человека вытягиваются, удлиняются.

Широко раскрытые глаза Эрьяна застыли. Странно то, что стоящий перед ним человек — да, сомнений нет, этот человек знаком ему. Он где-то видел его. Но где его видел? Где?

Так-так, так-так, так-так...

...Вспомнил, да, вспомнил! По утрам, в воскресенье, когда, ухватив мать за руку, шел в церковь, мать опускалась на колени уже у первой колонны, низко склоняла голову... Падал на колени и он, но, поскольку молитва матери длилась довольно долго и у него начинали болеть колени, он незаметно садился, разинув рот глазел на прихожан, на иконы, развешанные по стенам. С закопченными, искаженными лицами, в причудливых позах стояли святые, ангелы. Теперь вспомнил, что и этого человека видел среди них, там, в церкви.

Стоит точно так, как стоял на картине, и глаза — два горящих уголька.

За ним черные тучи идут.

— Чего тебе от меня надо? — взволнованно шевелит губами Эрьян.

— Ничего,— отвечает человек,— ничего... А что я могу сказать? Приехал... Добро пожаловать! Столько лет пропадал в морях, забыл родное село... Так-так, так-так...

Эрьян хочет ответить и не может. Губы шевелятся, но слова не рождаются. Острая боль пронизывает все тело. Тучи клубятся за спиной человека, вот они, черные-черные, снижаются, и темнота, сгущаясь, проглатывает все.

Когда проснулся, поезд стоял.

Выглянул: какая-то станция, слабый свет керосиновых ламп.

Встал, высунулся из окна.

Тени. Сдавленные голоса. Свежесть, идущая с ближайшей возвышенности.

Худой, с огромными усами и круглыми глазами селянин тащил большой мешок, ухватив его за конец, и, свободным кулаком хлопая по папахе, жаловался:

— Это он мне говорит... А ты послушай, голубчик, что я скажу... Полюбуйтесь-ка, это он мне говорит...

— Тебе говорю, да, тебе говорю... Скорей, говорю, давай... Поезд тебя тут часами ждать не будет,— кричал кто-то с другого конца станции.

Селянин остановился и уставился на Эрьяна:

— Братец, вот уже три часа жду... Если ваш поезд не приходит вовремя, чем я виноват? Что ж это такое, братец, что ж это такое?

— Приходит поезд, не приходит — это не твое дело... Это дело государственное. Делай, что тебе говорят...

— То делай, это делай...

Селянин, кряхтя и жалуясь, наконец втащил мешок наверх и вошел в вагон.

А поезд не трогался.

Полчаса прошло. Прошел час. Поезд все стоял.

— Что это за порядки тут!.. Долго еще мы будем так стоять? — громовым голосом пожаловался пассажир из первого вагона.

— Что сказать, я и сам не знаю,— горестно отвечал отдававший селянину приказы чиновник.— Этот сукин сын, машинист, пошел повидать свою жену и не идет, ну, не идет...

— Машинист пошел повидать свою жену! — распаляясь, закричал другой.— Жену свою пошел повидать... И это еще называют государством, республикой?.. Скажите на милость, и это называют республикой?!

Выругался.

— Прошу политикой не заниматься!.. Делаем все возможное в нынешних условиях... Постыдились бы...

Пока там спорили, на верхней полке сосед Эрьяна протер кулаками глаза, зевнул и все еще сонным голосом вставил задумчиво:

— В этой нашей блаженной стране есть люди, которым надо непременно на что-то жаловаться... Можно подумать, этим они что-то изменят...

Жалостливо заплакал чей-то ребенок. Все смолкло. Послышался шум бегущего вниз ручья. В этот шум влился глухой шелест деревьев. На перроне начальник станции, зажав под мышкой кипу бумаг, заходил взад-вперед, нервно задергал плечами, посмотрел по сторонам и зашагал снова...

— Простите,— обратился к нему Эрьян,— нельзя ли получить стакан чаю в буфете?

— Чай в такой час? Да еще по нынешним временам? Сегодня в России чай пьют в лучшем случае из сушеной яблочной кожуры, да и то если достают... Времена!

Наконец примчался машинист.

— Давай звонки! Куриные мозги, братец, у этих баб... Звони скорей!.. Просил ее достать несколько фунтов мотала [1]... Выходит, зря просил. Ну, давай отход...

Вышел человек с длинной белой бородой, с ликом праотца Ноя и стал звонить.

— Третий звонок — на Ерева-а-ан!

На перезвон этот ответил крикливый плач проснувшихся детишек.

— Недовольны,— сказал человек с верхней полки,— недовольны, что поезда опаздывают... Забываем, что еще несколько месяцев тому назад, чтобы проехать сто верст, десять дней уходило...

— Ну, это уж, простите, это никак не довод,— запротестовал кто-то в углу напротив,— не довод вовсе... При царе был порядок и пассажирские поезда шли по расписанию... Ах!..

Поезд набирал скорость.

За окном забрезжил молочноватый свет. Похолодало заметно.

Чуть погодя на востоке розовый холст неба разорвался, и вся местность осветилась струящимися лучами. Рассвет.

Стоя у окна, Эрьян смотрел испытанными глазами моряка на это празднество природы. Горной, суровой природы.

Вот она, страна меди. Страна гор и пропастей. Страна окаменевших волн. Эрьяну показалось на минуту, что вокруг море вздымает свои волны. Но нет, не море это было — то были окаменевшие гигантские волны, некое приостановленное движение земной поверхности.

Он смотрел, счастливый.

«А это оборотная сторона моря,— подумал он,— простор для других, еще более таинственных приключений. Другая разновидность пространства, к которой нужно привыкнуть».

Все тянулось в небо, все поднималось ввысь. И Эрьян чувствовал это тяготение к выси в собственном сердце. Ничто не давило, ничто не душило. Напротив, он ясно

---

[1] Мотал — вид острого армянского сыра.

ощущал, как в недрах его существа крепнет новое чувство.

Да, вот она, медная страна.

Эрьян, по обыкновению, попытался осмыслить свои впечатления, упорядочить их. Но в этом не было нужды. Главное ощущение осознавалось сразу. Мысль приходила властная и светлая.

Перед ним стояла страна величественная и нагая.

Сомнений не было. Эти земли ждали. Ждали человека. С незапамятных времен ждали они сильного, упорного человека с могучими руками.

Человека. Людей, людей...

Эрьян смотрел, зачарованный.

Изредка останавливался поезд на затерянном полустанке. Подходили к вагонам простые, задумчивые люди. Шагали неторопливо, разговаривали спокойно, не желая нарушить торжественность утра.

Эрьяну казалось, что все они близки ему. Словно знаком был с каждым, связан глубокими узами.

Улыбался: отвечали улыбкой.

В вагоне все уже проснулись. Ели. Запах жирной баранины, горных сыров и крепкого вина сопровождал горькие разговоры.

— Ну, значит,— доходило до его слуха,— глядим, а там в деревне одни бабы... Сукины дети, удрали и жен оставили.

— Ну известно...

— Надо было видеть этих женщин... Дрожали, как тростинки... Обнимали шеи наших коней, целовали нам руки, умоляли не причинять им зла... Вот было зрелище...

— А что потом?

— А что должно быть? Ничего. Ясно, женщин никто не тронул.

Рассказывали, ели.

Стоя у ближнего окна, девушка с подвижным и бледным лицом смотрела вдаль и невнятно напевала. Временами оборачивалась на людей в вагоне, изумленно вски-

дывала брови, кривила рот и не к месту смеялась. Махала руками. Пыталась взлететь?

Эрьян следил удивленно.

Мужчина с густыми, толстыми бровями, с мясистым носом, горестно качая головой, делал знаки девушке, чтобы она вернулась на свое место.

Девушка не смотрела на него. Без конца разговаривала сама с собой, смеялась.

Мужчина взволнованно смотрел на Эрьяна, поднимал кверху руки, вздыхал:

— Во время резни... Те, изверги,— прошевелил он губами.

Кто знает, подумал Эрьян, что творится в душе этой девушки? Вот душа, обретшая свой особый мир и отдалившаяся от нашей действительности.

Поезд стал перед новой станцией. Мужчина поднялся с места, схватил девушку за руку и потащил из вагона.

Вот и Гюмри [1].

Станция кишела многошумной толпой. Солдаты, милиционеры, скауты, крестьяне, горожане. Сновали вправо-влево, как на бульваре.

Из буфета, где сидел Эрьян, тянуло запахами бараньего жира, кухни. Все столики были заняты. Ели со страшным аппетитом. Вино и коньяк пили чайными стаканами. Без перерыва подавали шашлык на шампурах. Жевали, смеялись, кричали.

Потом послышались беспрерывные звонки. Строем прошли по перрону солдаты. Прозвучала короткая команда.

Подошли группы сирот. Пели. Кричали здравицу. Хлопали. Воздух раскололся возгласами приветствий, прощальными криками.

Наконец после новых звонков, свистков вагоны толкнулись назад, загремели, паровоз щедро дохнул паром, и, пока толпа взволнованно шумела, пока полоскались в воздухе сотни платков, пока бессчетные старухи вытирали слезы с выгоревших глаз, поезд со стоном тронулся и подставил грудь новой пустыне.

Оживление это сменилось ленивым бездельем.

---

[1] Гюмри — г. Александрополь, ныне Ленинакан.

От головного вагона донеслись обрывки песен. Из всех окон высунулись поглазеть.

Поезд простучал мимо квадратных казарменных построек. Мрачные, давящие, строгие строения.

— Город сирот,— сказал стоящий рядом с Эрьяном молодой господин.— Сколько тысяч их тут... В этих зданиях при царе стояли казаки... Казачий пост. Теперь набили туда сирот — мальчиков и девочек... Дело американской помощи... По утрам молятся и делают зарядку, затем молятся и едят, затем опять молятся и еще не знаю что делают... так вот, целый день...

— А много их? — спросил Эрьян.

— Кто точно скажет? Не считали. Всюду, куда ни глянь, сироты. На улицах городов, в селах, в домах, на дорогах... Это ужасно...

Из окна Эрьян видел толпу играющих во дворе ребят. Пассажиры печально смотрели в их сторону.

— До чего дожили! — воскликнул бородатый человек, воздев к небу руки.

Старуха ударила себя кулаком в грудь и заволновалась. От головного вагона песен уже не доносилось.

И вот началась пустыня. Окна опустели.

Эрьян продолжал стоять у окна.

Вдали река, отливающая блеклым серебром, потолкавшись о холмы, вытянула шею, проползла больной кошкой на брюхе и пропала за торчащими здесь и там грудами развалин.

— Ани! Ани! — кричали в вагоне.

Заветное это имя запало в голову Эрьяна. Судорожно раскрылась пергаментная страница истории, заговорила с его сердцем. Ани — сказочный край армянской славы и величия, столица сотен церквей, пышных дворцов и неприступных бастионов!

Сейчас, обглоданное клыками веков, некое несчастное божество.

И пока ветер налетал на видение печальных этих развалин, поезд набирал скорость, шел к Сардарапатской степи [1].

---

[1] Сардарапатская степь — ныне Армавирская, часть Араратской равнины.

Пожелтевшая, испепеленная, мертвая страна. Когти нещадного солнца царапали это пространство. Ни хижины, ни деревца, ни живой души.

Эрьян опечаленными глазами смотрел на пустыню...

— Вода! Нужна вода! — крикнул кто-то в вагоне.

— Вода! Вода! — повторяли другие.

Эрьян обернулся.

— Дело в том,— подходя к нему, сказал один из попутчиков,— дело в том, что страна наша жаждет... Все дело в этом: страна жаждет... Оросить эти земли, дать им жизнь, извлечь на свет божий несметные богатства, которые таят они в себе,— вот что нам нужно... Эти сирые земли точь-в-точь похожи на нашу нацию... Будто природа записала ее судьбу в своем блокноте... Та же судьба, то же счастье. Вглядитесь получше: эти земли, как и наша нация, страдают от одного и того же: они не могут дать всего того, что в силах дать, что могли бы дать...

— Да,— горячо согласился Эрьян,— да, именно так...

— Вот уже сколько веков страна эта ждет и народ ждет... А что ему досталось в удел — страдание, отверженность, мученичество... Не так ли?

— Так.

— А раз так, не понимаю одного — почему турецкие правители не оставят нас в покое, чего им от нас надо?.. В нашей стране вроде нефти нет, золота нет, серебряных рудников нет. Если спросить, что такое Айастан, ответ будет один — камень. Это истина, Айастан — камень. Куда ни ступи — камень под ногами, везде и всюду. Горы, скалы, горы, скалы. Козам на двести аршин подняться надо, чтобы пощипать среди камней травинки. И если человек не будет обладать упорством осла и не будет обладать тем, что зовется любовью к родине, здесь жить он не сможет. Чтобы здесь жить, нужна любовь, нужен огонь души, нужна воля... Камень ведь, правда; нужно выстоять, всем напряжением тела выдержать, трудиться в поте лица. Наконец, братец, мы любим эти камни, столько веков связаны мы с ними, не можем без них, и они без нас не могут... Не так ли?.. А раз так, тогда почему всякие интервенты не оставят нас в покое? Зачем хотят и эти камни у нас отнять? Просто не понимаю...

Склонил голову, умолк. Затем, поднимая на Эрьяна взволнованные глаза:

— Вы понимаете?

— Нет, я тоже не понимаю.

— Да, и иные из армян многозначительно произносят «Айастан» и уходят подальше от него. Фальшиво поют, стихами говорят, кичливо мешают лживый грабар Венецианского острова[1] с ашхарабаром[2]... Не сознают, что слово «Айастан» — слишком тяжелая ноша... А быть армянином — трудная, каменотесная, тяжкая доля... Быть армянином, мой господин, значит иметь дело со скалами, ветром, стужей, снегом, да еще со жгучим солнцем... Странно говорить, но протянуть руку, готовое яблоко сорвать — такого здесь не увидишь... Пока расцветет одно дерево, надо надрываться, потеть, мучиться, и, когда расцветет, вырастет, нужно его опять же беречь от летнего солнца, защищать от зимних холодов...

Резким движением потер покрасневший от волнения лоб.

— Ничего, скоро конец этим мучениям,— вставил молодой офицер с ухоженными усами и наивными глазами.— Вот решат великие державы и вернут нам наши плодородные земли... От освобождения Муша и Васпуракана[3] многое зависит.

— Поживем — увидим,— скептически заметил другой.— Пока нужна им наша кровь... Не первый раз нас обманывают великие державы...

Заговорили другие попутчики. Армяне понесли в войне миллион жертв, воевали на всех фронтах на стороне союзников. Вильсон обещал... Для Франции и Англии — дело чести выполнить обещание.

— Пусть будет так,— сказал недоверчиво скептик,— пусть будет так... Уж столько насмотрелись, столько видели несправедливостей, лжи, коварства, обмана...

Замолчали. Поезд вдруг рванулся вперед, свернул вправо, издал протяжный гудок и втянулся в Сардарапат. Немного погодя остановились.

— Паровоз меняют,— объявил железнодорожный служащий.

Эрьян сошел, обошел кругом станционное здание, поднялся на холмик и замер, зачарованный.

---

[1] Остров св. Лазаря в Венеции — обитель армянских католиков — священнослужителей, пользующихся и поныне древнеармянским языком — грабаром.

[2] Ашхарабар — современный литературный армянский язык.

[3] Муш, Васпуракан — области в Западной Армении.

Шафрановое, пустынное пространство, сдавленное тяжелой дремотой. Воздух трепетал, словно искрился. А тишина была такой глубокой, что, кажется, она звучала. Вокруг желтое сияние. И вот с краю взорвалось медью оркестра видение — Арарат.

Властное, торжественное его величие подчиняло себе всю долину. Всю страну, все небо.

Эрьян долго стоял не шелохнувшись. И он покорился этому видению, как покоряется человек великим душевным стимулам — источникам разума и света.

Поезд дальше не пошел. Недалеко за Сардарапатом пути были взорваны.

— Сколько нам еще стоять тут? — спросил Эрьян.

— Кто знает...— ответил железнодорожный служащий.— Может, день... а может, два...

Пассажиры ночевали на станции.

...На рассвете темные тучи сгрудились над Арменией...

По станции с быстротой ветра кружились вести о продвижении турецких интервентов...

Третий день уже поезд стоит. Никто ничего не знает...

Большая часть пассажиров продолжала путь на арбах...

На рассвете пятого дня издали накатил слабый гул орудий. Началась паника среди застрявших пассажиров.

— Что случилось? — спросил Эрьян.

— Вы что, не знаете? Война... Турки хотят овладеть Араратской равниной...

К станции подошла группа вооруженных людей.

— Многие твердили, что решающий бой дадим на Севане,— сказал один из них,— однако народ не пожелал, не захотел, чтобы осквернялась Араратская равнина, и вот уже три часа, как воюем...

— Что вы говорите! — удивился Эрьян.— А мы ничего не знаем.

— Ну, господин, не знали — так знайте. Страна Айастан полна неожиданностей.

— Что вы тут стали,— сказал Эрьян,— пошли, и мы хоть чем-нибудь поможем сражающимся.

И вместе с другими Эрьян направился в сторону фронта.

3

Эрьян нервно пошарил по карманам и не нащупал трубки. Остановился в растерянности. Снова пошел. А пройдя порядком, заметил за холмиком коней и повозки: несколько солдат с чем-то возились.

— Здорово, ребята! — сказал он.

Солдаты, занятые делом, не обратили на него внимания.

Эрьян подошел к офицеру, среднего роста, смуглому, плотному парню. Неизвестно почему, вдруг разволновался и не нашелся что сказать.

Возле офицера растянувшийся на земле солдат, надев наушники, с карандашом и тетрадкой, слушал. «Я здесь! — говорил он.— Я здесь!.. Да, обоз готов... Что? Да! Хорошо! Хорошо!»

Эрьян почувствовал, что лишний тут, и не знал, что делать с собой. Офицер несколько раз поднимал на него глаза, но, поглощенный своими мыслями, так ничего и не спросил.

Эрьян прибрел сюда, полагая, что может чем-то быть полезным. И вот внезапно его осенила мысль.

— Скажите, пожалуйста,— обратился он к офицеру,— где тут отряды Красного Креста?

Офицер пальцем указал вправо от холма.

— Передовые отряды там должны быть,— пояснил он,— остальные позади, в селе. Что, хотите туда идти?..

— Да, в передовой отряд...

— Опасно... Учтите...

Эрьян направился в ту сторону.

Он шел и думал о том, что каждую минуту мог стать жертвой шального снаряда. Но шел уверенно. Пока реальным был лишь холод. Пальцы ног коченели. Остановился. Стал размахивать руками. И тут над ухом пропели пули. Инстинктивно нагнул голову и продолжал идти.

На холме напротив, в двухстах шагах от него, ахнул взрыв. Потянуло землей, ацетиленом, кислым запахом. Теперь как быть? Остановился в нерешительности. Обернулся: кони и повозки меняли место.

Пока он смотрел, с воем пролетел и разорвался еще снаряд. Потом, один за другим, несколько.

Бросился на землю, обхватил голову руками.

А поднял голову — увидел: две лошади, с мешком на



шее, бегут. Смекнул, что там стряслась беда. Повернулся, посмотрел: бегут несколько солдат. А где остальные?

Снова поднялся, пошел. Но земля взметнулась опять. Все завыло кругом, заволокло дымом. Раздались крики. Комья земли, камни летели вверх.

Снова лег. Сжался, хотел сплющиться, слиться с землей.

В двух шагах от места, где лежал, одинокое деревцо, выставив голые веточки, дрожало всем телом. Он почувствовал безысходное одиночество, невозможность бежать от беды...

Сколько лежал так — не помнил. Заметил, что больше по этому склону холма не бьют: снаряды рвались уже дальше, много севернее. Здесь все затихло. Будто ничего и не случилось. Небо над головой было мирным, безмятежным, равнодушным.

Обрадовался. За деревцо и за себя. Какая дурь заставила его соваться в эти места, к тому же без всякой определенной цели?!

Поднялся, пошел.

Первые окопы... Пулеметы строчат безостановочно.

— Что вы тут делаете? Немедленно уходите! уходите!

— Красный Крест...

— Там...

...Обломки оружия, обрывки одежды, жестяные ящики, орудийные упряжки без колес, снарядные гильзы, конские трупы...

Эрьян споткнулся о труп и отшатнулся. Великанского сложения парень, широко разбросав руки, смотрел остывшими глазами в небо. Двое солдат с носилками шли в эту сторону. Эрьян бросился к ним.

— И мы туда топаем... Первый пункт вон там...

За толстыми стенами полуразрушенной церкви он наконец нашел первый медицинский пункт.

Раненые лежали в ряд прямо на земле. Эрьян всмотрелся в их лица. Некоторые не двигались, молчали. Другие испускали глубокие стоны, кусали губы.

В прошлом алтарь, сегодня стал операционным столом. Ниже, на разных уровнях, пристроились два других стола.

Стоял тяжелый запах трупов и медикаментов. Голова Эрьяна закружилась...

На столах беспрерывно оперировали. Только спускали одного со стола, как с носилок уже подавали другого раненого.

Работа шла в полном молчании. На окровавленные руки бледных от усталости врачей поливали из ведра и совали им в зубы зажженную папиросу. После нескольких затяжек они бросали ее и возвращались к работе. Без конца вокруг врачей бегали женщины в белых халатах, кипятили инструменты, перевязывали раны.

Приносили новых раненых.

Все кругом поливали йодоформом. За стенами с глухим воем рвались снаряды. Скулили раненые на земле. Кто стонал, а кто метался в бреду.

— Воды! воды! — молили сухие губы.

— Так, а теперь как быть?

В ту же минуту решительным шагом вошел какой-то начальник. Эрьян бросился к нему:

— Простите, я совершенно случайно здесь... Хотел бы чем-то быть полезным...

Начальник, видимо врач, посмотрел на него близорукими глазами:

— Полезным быть хотите? Дела хватит!

— Скажите, что мне делать?

— Лучше всего выносить раненых с поля боя... Если не боитесь, идите с другими и впрягайтесь в работу... Только не носите мертвецов... Не тратьте время: спасать надо тех, кого еще можно спасти...

— Хорошо, я готов...

— Аветис! — подозвал он небольшого роста солдата с круглым лицом.— Вот этот господин хочет потрудиться... Пошли его на поле, и пусть с другими выносит раненых...

— Слушаюсь, доктор... Пошагали...

Солдат, с которым Эрьян шагал, был полнощекий и шустрый парень. Двух пальцев у него на левой руке не хватало, почему и приписан был к Красному Кресту.

— Какие вести оттуда? — спросил Эрьян, указывая в сторону фронта.

— Наши бьют, и с утра турки назад подались порядком... Только вот мертвых да раненых многовато...

— Врачей мало,— заметил Эрьян чуть погодя.

— Да! Не один наш пункт тут, и другие есть... Работают, как мясники: без конца режут руки, ноги, пальцы... Что им скажешь!

И солдат зло глянул в сторону противника.

— По дороге сюда я под обстрел попал, кажется, в обоз угодило... Может, раненые есть... Пошли посмотрим...

— Где это?..

— Вон там...

Добрались.

Когда дошли до указанного Эрьяном места, увидели разбитые повозки и убитых лошадей. Внимательно осмотрели кругом.

— Готовый,— обронил солдат, переворачивая чей-то труп.

Телефонист лежал в наушниках.

— Под повозками искать надо...

Под одной из них вытянулся молодой офицер. Руки и лоб в крови; лицо цвета пчелиного воска; глаза открыты и недвижны.

Эрьян опустился подле на колени и притронулся к его руке.

— Теплый еще,— радостно сказал он.

— Без сознания... Ну да, вроде жив...

Осторожно положили на носилки, и тут из груди офицера вырвался глухой стон.

— Стой! — сказал солдат.— Отдал душу...

Опустили носилки, и он двумя пальцами потрогал нос офицера... Послушал пульс; встряхнул легонько.

— Ну да! Ни к чему уже...

Сняли с носилок.

Всего несколько часов назад стоял он здесь — озабоченный, здоровый... Теперь: сними с носилок, «ни к чему уже»...

Увиденное потрясло его.

— Эти мертвецы так тут и останутся? На земле, без погребения?

Голос задрожал, и рука сердито рассекла воздух. Солдат глянул ему в глаза и не ответил.

— Так и останутся лежать? — повторил Эрьян уже мягче.

— Мертвецы еще подождут, а вот другие не могут ждать, понятно вам? — ответил холодно солдат.

— Значит, пошли...

...В тот день вся Сардарапатская степь кричала и выла.

В битве принимали участие все слои армянского населения. Народ единодушно выступил против захватчиков.

Вошли в окопы. Подбирали раненых. Работы было так много, что Эрьян выбился из сил: дрожали колени, высохли губы.

Вой, стоны... Запах крови, йодоформа, ацетилена, кислорода. Арарат равнодушно взирал на все это. Небо затянули свинцовые тучи. Дул легкий ветерок.

Со стороны смотреть — бой продолжался: жестокий, кровавый. Приказы звучали сухо, кратко, и люди выполняли их заученными, быстрыми движениями, хладнокровно, настойчиво.

Выбегали из траншей, бросались вперед, ложились.

— Огонь!

Стреляли из винтовок.

Сердито строчили пулеметы, громко ухали орудия.

Дым, огонь, железо.

— В атаку!

Пустить турок на Араратскую равнину? — никогда!

Какой-то епископ, подняв крест, под градом пуль переходил из окопа в окоп и простыми словами напоминал о долге.

Дрались как одержимые.

— В атаку!

Эрьян видел, как поднялись за насыпью железной дороги отряды и, презирая пули, смело бросились вперед, заняли новые позиции. Артиллерия поспела следом, и огонь усилился.

И так показалось, будто вся степь поднялась и, кипя яростью, метнулась вперед.

Турецкие интервенты такого отпора не ждали.

...Колени дрожали, губы как склеились.

Уже вечер спускался, а он и минуты не отдыхал. Шагал, волоча ноги, мыслями далеко. Ничто уже не производило на него впечатления; все стало привычным. Он ложился, защищаясь от рвущихся вблизи снарядов. Но длилось это всего минуту: тотчас вскакивал, брался за носилки и принимался за дело.

Ему было невтерпеж лишь на медицинском пункте.

Крики, приглушенные вопли, кровь, куски человеческого тела. Врачи валились с ног. Сестры милосердия — бледные, исхудалые — ходили как тени.

Эрьян, доставив раненого, тотчас отходил — не мог видеть этих сцен. Предпочитал посвист пуль.

— Господин полковник, как наши дела?

— Хорошо, турки отходят...

— О боже!

Теперь до новых позиций шагать долго. Вдалеке вон полки передвигаются. Меняет позиции и артиллерия. Турки отступили...

Крестьянские парни, квадратные, медлительные, крепко сбитые, лежа в ряд в какой-нибудь яме, вели беспрерывный огонь. Но звучала команда, вскакивали и, топая тяжело по земле, бежали вперед, карабкались на скалы, хоронились за камнями и снова вели огонь.

Долина грохотала и выла.

Возле орудий люди с закопченными лицами повторяли, как жрецы, одни и те же движения. Стреляли, с криком отскакивали в сторону, снова стреляли. Случалось, один из них замирал на месте: качнется подпиленным деревом и упадет.

Эрьян бежал к нему.

А то вражеский снаряд рвался в гуще солдат: кружил на месте бураном, крошил все, разжевывал и, поднимая в воздух, с шумом бросал вниз. И вдруг из разворошенной земли чудом выскакивал один, размахивая руками, бежал, обезумев, и через десять шагов падал.

Зато — турки отходили.

О боже! Турки отступали...

...Пули продолжали петь.

— Стой! — сказал Эрьян и побледнел вдруг.— Стой... плечо...

Опустили носилки. Офицер на них, плавающий в крови, открыл рот, искривил губы, захрипел.

— Что? Никак ранило тебя? — спросил товарищ.

— Не знаю. Силы оставили вдруг...

Правую руку запустил под пиджак. Глухо охнул от боли. Руку выпростал: в крови была.

— Да,— сказал,— задело меня...

— Вот те и на, а с этим что делать будем? — указывая

на офицера, спросил товарищ.— Много крови теряет, и если не донесем поскорее...

— Дай попробую правой...

Попытался поднять носилки правой рукой и чуть не перевернул.

— Не получается...

— Ну, коли так, раз не можешь,— сказал другой,— ты иди на пункт, покажи плечо и пришли кого-нибудь... Я тут подожду... Все равно,— обернувшись на раненого, добавил,— надежды мало. Ладно, я тут подожду...

— Пустяки,— сказал врач,— заживет, плечо слегка задело... Сейчас прочистим рану, поедете в Ереван. Там вас вылечат...

Эрьян, несмотря на сильную боль, улыбался.

Промывали — рана заныла, и он стал белее мела.

— Ну! ну!..— пробурчал врач.— Такой мужчина, как вы! К счастью, кость не задета, и недельки через две заживет! Все! Можете идти...

Спустилась ночь.

Колокола Эчмиадзина еще звонили.

Армяне одержали победу, прогнали интервентов с Араратской равнины, геройски отстояли свою землю.

4

Ереван.

Эрьян вошел в столицу Армянской буржуазной республики задумчивый, размеренным шагом, пытливо смотря по сторонам.

Карабкающаяся вверх одна из центральных улиц.

Грязь, пыль, развороченные тротуары, разваливающиеся дома. Полупустые, мрачные магазины. «От армянского купечества,— подумал Эрьян,— несет голодом». Кучи навоза, трехцветные флаги и под стенами всех домов, вповалку, беженцы, исхудалые, с ввалившимися щеками. И рядом — пышные деревья и бойкие военные.

Шептались тополя. Трубы проходящих улицей кавалерийских частей гремели так, словно будили покойников в Судный день. Пушка тяжело и с грохотом перекатыва-

лась через камни. За ней следовал разрывающий воздух военный оркестр и шли сбитые в четкие ряды воинские части. Замыкали шествие клубы пыли да босоногие ватаги мальчишек.

Красивы были стремительные тополя. А от долины и с гор веяло покоем. Воздух звенел, отражая эхо незримых цимбал света. По этой причине, наверное, и люди здесь были просты, подвижны и задумчивы.

Эрьян шел в каком-то полусне. И хотя очутился в этих местах впервые, все вокруг оставляло впечатление давно виденного. Словно все загодя разложено было у него в мозгу. Все было знакомо и близко, все волновало его. Каждому хотел сказать:

— Привет, дружище!

Да, он мысленно пожимал руку всем.

Но приходила трезвость, и все распадалось перед лицом самой элементарной логики. Все становилось невероятным, непонятным.

Вспомнить только кошмарную предыдущую ночь на станции Ереван... Плохо освещенный пассажирский зал, заполненный людьми в лохмотьях. Грязь, шум, зловоние. Мужчины, женщины, дети — на полу, на скамьях, на столах. Землистые восковые лица. Настоящий уголок ада.

Милиционеры бегали взад-вперед и, стуча прикладами винтовок об пол, кричали.

Им отвечали отчаянными криками. Воздух был насыщен темной руганью.

Эрьян остановился растерянный.

Следовало выбраться отсюда поскорее. С великим трудом удалось ему пробиться к выходу. Выглянул: темно. Ни извозчика, ни людей. Куда девался город? Вернулся и обратился к какому-то чиновнику:

— Простите, город...

Чиновник поднял очки с кончика носа на лоб, посмотрел подслеповатыми и полными удивления глазами и засмеялся:

— Вы что, только прибыли?

— Да, только сейчас... вот этим, последним поездом...

— Надо было известить своих родственников, чтобы встретили вас... Иначе никак нельзя, и потом, опасно...

Вот так, одному я бы не советовал... Что скрывать? Опасно...

Сидевший в углу старик дал ему пояснения. Вокзал находился далеко от города, и безлюдная дорога кишела вооруженными бандитами, промышлявшими разбоем. Бывшие добровольцы, люди с темным прошлым, маузеристы...

— Говорят,— понижая голос, добавил старик,— есть у них покровители там, наверху... Кто знает, говорят... Такие вот дела: от палачей спаслись — теперь к разбойникам попали...

Подавив стон, человек погладил себе бороду, замолчал. Эрьян не хотел верить, что не сможет войти в город. «Средневековье, что ли?» — подумал он. Но, порасспросив еще кое-кого, убедился, что выхода нет, опустил сумку на пол, сел и стал ждать.

Прождал до рассвета.

Как было забыть эту кошмарную ночь?

К утру, вместе с остальными, кто провел ночь на вокзале, пришел в город. После долгих поисков ему удалось снять комнату. Небольшую, чисто выбеленную, выходящую окнами на улицу. Хозяева выглядели бесхитростными, скромными людьми. Двор был полон детского гомона. Хозяйка дома, полнотелая и подвижная, ни минуты не стояла на месте. По утрам, когда мальчики уходили в школу, все затихало. В полдень снова были слышны нетерпеливые.крики, звон блюдец, смех. И опять устанавливалась тишина до вечера.

Нет, в противовес бурям на улице, жизнь в домах текла своим размеренным чередом. Стоило прислушаться к голосам из соседских комнат, чтобы окончательно успокоиться. Вот так порой нежный шелест деревьев или напоминающая о детских годах песня усыхающего родника полнят нас чувством постоянства.

Шли дни, и Эрьян все больше свыкался с новой средой. Воспоминания детства, нахлынув, сливались с настоящим и облекали простейшие явления в нечто символической важности. Горный, здоровый воздух, небо, люди, деревья, прошлое и настоящее, смешавшись, вызывали в нем потоки сильных чувств.

Все было так старо, и все было так ново. Похоже на прочитанные книги, которые бросаем в сторону, потом

снова берем в руки и с удивлением обнаруживаем в них новые истины.

Эрьян ходил часами по городу и с наивным любопытством осматривал все.

С грустной улыбкой на лице останавливался перед витринами еще не закрывшихся магазинов. Смотрел на выставленные товары. Сушеная рыба, пара обуви, немного лоби[1], старая американская бритва, старые очки, гребешок, горный сыр и наивные открытки, на которых витали ангелы со странными крыльями и боги с немыслимыми бородами. Останавливался перед лотками на углах улиц, подле спорящих на темы дня густобровых и усатых людей, подле старух, горячо переругивавшихся из-за подравшихся внуков.

Наблюдая, улыбался, шел дальше.

Столкнувшись с повседневной жизнью, под внешним спокойствием этого полусела-полугорода он стал постепенно улавливать незримые внутренние течения, большие нелады. Проносящиеся бури не только вспороли поверхность жизни, они пробились вглубь, произвели серьезные разрушения там. В воздухе бродила ненадежность.

За бурно выраженными надеждами скрывалась тревога. Каждый знал: враг рыщет вдоль границ.

Армения была одинока.

Забитая тысячами беженцев из Турецкой Армении, бесчисленными сиротами, она задыхалась.

Да, беженцы...

Согнанные с обжитых мест, нескончаемыми группами переходили они границу и брели по стране. Эпидемии косили их. Они делали шаг и останавливались — хоронить кого-то. Потерявшие надежду, больные, озлобленные, эти толпы разошлись по всей стране, проникли во все уголки ее, черными флагами выставляя свои лохмотья, свою обездоленность. Ослепшие от всех напастей, они безжалостно вытоптали с таким трудом ухоженные земли, обломали и ободрали сады и виноградники, пожгли леса — чтобы согреться.

Крестьяне Араратской долины щедрой рукой раздали им хлеб, свои припасы. Но, не в силах накормить это

---

[1] Лоби — фасоль.



море ртов, заперлись в своих домах и с опаской следили за гудящими у дворов толпами нищих.

После долгих мытарств, потеряв какую бы то ни было надежду, беженцы вдруг вспомнили об Эчмиадзине. И тесными рядами, вознося охрипшими голосами молитвы, ринулись к престолу Просветителя — требовать утешения и закона у католикоса всех армян.

С лицами, выдавленными из старых евангелий, с горящими глазами шагали впереди них священники, воздев к небу высохшие и волосатые руки свои и произнося посиневшими губами горькие речи... Люди останавливались, молились слезно и снова шли.

На подходе к Эчмиадзину, когда различимы стали купола кафедрального собора, одержимые пылким религиозным чувством, ускорили они шаги свои и с плачем и причитаниями набросились на ворота, на надгробья усопших католикосов и, целуя камни, излили свои жалобы.

Раздались крики.

— Католикоса! католикоса! — требовали со всех сторон.

И когда из глубины двора, утопая в золоченых обрядовых одеяниях, с торжественной бородой, с исполненными горя глазами и дрожащими руками вышел первосвященник,— исхлестанная стенаниями толпа забурлила, как бегущие к берегу волны. Мужчины и женщины бросились на землю и, катаясь, кричали и плакали. Сопровождавшие католикоса епископы, рослые, статные, с лицами, обрамленными густыми бровями и окладистыми бородами, держали его под руки, пока он, обратив к небу свое восковое патриаршье лицо, молился, глотая слезы.

Некоторые стремились подойти к старцу, приложиться к краям его одежды и к рукам его в синей сетке вен.

С трудом успели увести его в храм.

Патриарх отслужил обедню. Колокола Эчмиадзинского собора, храма Рипсимэ и храма Гаянэ глухим и мерным звоном вторили торжественному обряду.

Затем толпы эти разместились в свободных кельях, во дворе и вокруг него и решили перезимовать здесь.

— Хлеба! Хлеба! — просили они.

Вынесли все, что было, всю муку, все припасы.

Этого хватило на несколько дней.

— Хлеба! Хлеба!..

Со всех сторон шумело недовольство. Хлеба не было. Не было хлеба... Мужчины и женщины, осадив храм, потрясали кулаками, угрожали. Хлеба! Хлеба!

Столпившись под окнами католикоса, прокляли и его, и его святых, и святые мощи.

Разъяренные и разочарованные — порубили и пожгли окружавшие пруд красивые деревья. Разорили сады, опу-

стошили амбары и, оставив за собой пустыню, метнулись к городу и расстелили по тротуарам свои лохмотья.

Кавказ, подобно разбитой фарфоровой вазе, разлетелся на куски. Над зданиями градоначальств Тифлиса, Баку и Еревана заполоскались невиданные флаги — единственные знаки так называемой независимости.

Айастан, как потрепанное бурями дерево, стоял ободранный и одинокий. «Независимый» и нищий. Уязвимый с открытых границ и разукрашенный трехцветными флагами дешевого ситца.

Как-то, устав бродить без цели, Эрьян направился к садику в центре города, который называли здесь Бульваром.

Все скамейки под высокими тополями были заняты. Собралось безработное, озабоченное, мрачное общество. Одни бродили по аллеям, другие, сбившись в кучу, говорили о политических событиях дня. И всюду бросались в глаза военные. Ходили они в форме русской армии, только на воротнике и погонах носили армянские знаки различия. Те, кто видел их близко, мог заметить стоптанную обувь, выцветшие штаны.

Заполнившие Бульвар люди говорили тихо и серьезно, как беседует с деревьями осень, бродя в листве легким ветерком.

Эрьян ходил по садику, замечая все и пытаясь осмыслить наблюдения. Он уже собрался уходить, как в поле его зрения попала группа в конце аллеи, возле павильона. Подошел, стал расспрашивать. Сказали, что здесь находится временная канцелярия по учету лиц, прибывших из-за границы и желающих служить в армии добровольцами. А было их немало, приехавших со всех концов света. Старики, молодежь, образованные или простые люди — офицеры, оставившие чужие армии, архитекторы, врачи.

Эрьян обрадовался: разве он не один из них?! Недолго думая, нашел конец очереди и терпеливо стал ждать.

Какой представляли себе Армению, Айастан, эти родившиеся и выросшие на чужбине люди? Глаза мечты всегда велики. Зеленые поля, журчащие родники, страна, звенящая бескрайними садами,— такой представляется им родина. В то время как действительность со-



всем иная: голые горы, пустыни, долина, выжженная кислотой горя и нищеты.

Но мечта всегда находит новый повод для того, чтобы продолжать волновать умы и чувства. Сегодняшний реальный Айастан? Нет, нет, это не Айастан! Подлинный Айастан пока не найден, он где-то, в неведомых далях, и ждет, когда придут и вызволят его из плена...

И вот пришли, стали в очередь.

Эрьян заговаривал с каждым, шутил. Знал их страны, знаком был с городами, где жили они.

Когда дошла его очередь, вошел и объяснил.

— Капитан? Вы говорите, капитан?

— Да, десять лет морской службы... ходил, как говорится, по всем морям...

Выходец из Константинополя, стоявший тут же, повернул к нему тугое ухо и спросил — не из турецких ли он армян? Нет, он родился в одном из сел близ Караклиса[1].

— Как ни прискорбно говорить, но моря у нас пока нет,— наконец ответили ему.— Попозже, когда союзники примут окончательное решение о границах Айастана и будут воссоединены Западная и Восточная Армении, мы будем иметь порт на Черном море.

Эрьян не согласился с такой перспективой.

— Братцы, какое еще решение? Да что там: я приехал немедленно включиться в дело... Хоть чем-то помочь стране...

— Погоди, погоди! — блестя стеклышками очков, воскликнул второй чиновник.— Вспомнил вот... Один морской офицер строит корабль на берегу озера Севан... Может, слышали, об этом много писали константинопольские газеты...

— Интересно... это интересно...

— Обратитесь в министерство. Или, что еще лучше, поезжайте на Севан, посмотрите, чем можете помочь... Пока это наше единственное море.

Эрьян ушел обрадованный. Надо было немедленно ехать, осмотреть озеро, наметить программу и попытаться осуществить ее. Конечно же, Севан... Как это он сам не догадался?

Сел в кофейне на центральной улице, стал наблюдать.

В тот вечерний час с пустыми своими арбами возвращались домой крестьяне, опустив озабоченные головы. Беспризорники подбегали к прохожим и плаксиво просили милостыню. Их товарищи, сжигаемые лихорадкой и чахоткой, лежали тут же на улице, подле луж.

---

[1] Караклис — ныне город Кировакан.

Вдруг накатили звуки оркестра. За ним прошел воинский отряд, печатая шаг и поднимая пыль.

Потом все мгновенно стихло.

«Какие контрасты,— подумал Эрьян.— Бравурная музыка, краснощекие солдаты и распластанная на тротуарах эта неописуемая убогость... Да, контрасты... Все обезнадеживает до самой крайности, и в то же время есть нечто воодушевляющее и заманчивое в этой стране».

— Прошу!.. Горячий кофе. Пейте на здоровье...

Человек поставил чашку на стол и стоял, комкая край передника. Совсем без ресниц, с узкими глазами, узколобый, с хитрыми складками по обе стороны носа, подвижный коротышка — так выглядел хозяин кофейни. С вопрошающей улыбкой уставился на Эрьяна.

— Чего вам? — спросил Эрьян, не скрывая досады. С одного взгляда определил, что за тип.

Разбитые губы растянулись резинкой, и глаза совсем крохотные стали.

— Собственно, хотел узнать, вы ведь недавно приехали, верно?

— Да.

— Могу быть чем-нибудь полезным... Если есть у вас что для продажи...

— Нет, ничего не привез. Не торговец я.

Поднес чашку ко рту, давая понять, что разговор окончен, но человек притворился, что не понял, и продолжал стоять.

— Вот увидите,— гнусаво затянул он,— на пепелищах плясать будем... Поистине, человек не знает, что ждет его завтра... Мы хоть этот ад своими глазами видели... Какие дни пережили, какие дни пережили!

Неестественный и плаксивый тон этот хлестнул по Эрьяну.

— В последнюю минуту все бросили — дом, имущество, богатство — и только несколько ковров на плечах успели вынести... Если ваша светлость нуждается в ковре...

— Сказал, не торговец я,— резко оборвал его Эрьян и отвернулся.

Человек наконец удалился.

— Они все такие,— заметил сидевший за соседним столиком смуглый широкоплечий человек в фуражке инженера,— нового человека увидел... норовит урвать что-нибудь...

— Я так и понял...

— Особый элемент такой... как солома, всегда на поверхности плавает,— продолжал инженер.— Говорит, из ада выбрался, а глянь — уже хозяин кофейни... Это прямо беда на нашу голову... налетают на все саранчой... Я их во многих местах встречал... Просто стыд: иностранцы о нас по ним судят...

— Да, это верно,— согласился Эрьян,— особенно за границей... В Европе, Америке... Это из-за них для иностранцев мы — плуты, торгующие коврами да бриллиантами... Противно!

— Мерзавцы... позорят народ.

Затем, переходя на другую тему:

— Всего месяц как здесь,— сказал инженер.— Работал на угольных шахтах в России, получил отсюда плохие вести, решил, поеду, могу быть полезным. Вижу, каждый день новые люди прибывают, хорошая примета... И вы, наверное...

— Да, и я... Капитан я, моряк, а моря у нас нет... Не огорчаюсь я, что-нибудь придумаю.

Инженер признался, что и сам пока не у дел. Перемена пришла нежданно, и в день-два создавать государство — дело не легкое. Нужно время. Он специалист по шахтам, и, несомненно, в недрах страны много богатств скрыто. Надо изучать, искать. Беда в том, что нет мира. После пяти лет войны страна стоит перед новыми опасностями. Все думы о том — где бы достать оружие, создать новую армию — и это посреди такой нищеты...

И указал пальцем на беженцев.

— Что-то неправдоподобное,— продолжал он.— Сегодня мы не можем пользоваться плодами нашего труда... Налетел ветер и в мгновение ока сдул все, унес... Куда девались усилия сотен поколений? Сражались мы, кровь проливали, исходили пóтом... Пахали и сеяли, строили, развивали культуру... Вот, остались посреди пустыни...

— Сами виноваты,— ответил Эрьян.— Мы были вдали от родины.

— Одна из причин была в том, что царизм не хотел, чтобы армянские области развивались. Запрещено было строить новые дороги и дома, запрещено было поливать земли, открывать школы... Когда по стратегическим соображениям вынуждены были провести железную дорогу, царские чиновники сделали все возможное, чтобы стан-

ции отстояли от городов как можно дальше и страна экономически не развивалась. Даже здесь, в Ереване, от станции до города несколько верст. Словом, все это в прошлом... Пусть дадут нам мир, и мы все построим. Я уверен, через десять лет страну не узнать будет... Никаких сомнений на этот счет...

— Совершенно с вами согласен,— с воодушевлением ответил Эрьян.— Мы дети своих отцов, не так ли? Стоит только подумать, что́ они построили в древности. Создали неповторимый архитектурный стиль наш...

— Мы, армяне, всегда говорили о наших недостатках, капитан. Но оглянитесь вокруг на минуту: что это? Ужасная действительность, не правда ли? Любой другой народ в таком положении должен был бы пасть духом, бросить все и бежать куда глаза глядят... А взгляните, какое желание жить и бороться... И подумать только, сколько несправедливости выпало на нашу долю... Сегодня мир еще слеп... Мораль дремлет...

— Пессимизм... Никому не нужный,— вмешался голос от столика сзади.— Есть законы, которые нельзя нарушать безнаказанно...

Щуплый, с белой бородой, с блестевшими из-под очков серыми глазами, человек этот — как позже выяснилось — был профессор права.

— Государства Антанты,— продолжал он,— уже не раз официально заявляли, что наши требования должны быть удовлетворены... Подумайте... Они не могут не выполнить обещаний... Есть дух Вашингтона, Линкольна, Вильсона! Есть, наконец, демократия!..

Красивые слова говорил профессор. Оставив кофейню, Эрьян еще долго слышал поющие в ушах его слова. Так хотелось им верить. Да, верить, надеяться. Это было так ясно. И в то же время он чувствовал явный разлад между этой верой и тем, что было вокруг. Земля убегала из-под ног, все ходило ходуном.

И мысли его меняли направление.

Жизнь — бык, которого надо победить. Надо работать, работать. Подумать только, что столько месяцев проторчал он на ржавых улицах Батума. Чего ждал? — не знал и сам...

Изрядно погуляв, Эрьян вспомнил, что голоден, и направился в скромную столовую, где обычно ужинал.

— Прошу сюда... тут есть отличное место...

Напротив, за столом, куда его проводили, уже сидел другой посетитель. Из-за света, косо падающего из окна, лица его не различил. Попросил прощения, сел, заказал обед и, опустив голову, стал есть и думать.

Столовую, как всегда, заполняла разношерстная публика. Разговаривали громко и шумно жевали.

Эрьян на миг поднял голову, посмотрел вокруг.

«Крепкие, как горы крепкие люди,— подумал он.— Изведавшие печаль лица, похожие на армянскую землю... Характеры непосредственные, обнаженные, цельные...»

А на сидящего рядом даже не обратил внимания. Уже кончал есть, когда глаза его встретились с глазами соседа. Тот улыбнулся, и он ответил неопределенной улыбкой. Заинтересованный, присмотрелся. Было видно, что не из местных. Чуть торчащие скулы, смуглое лицо. Очень черные, большие глаза. Тонкий, прямой нос, мягкие усы. Скорее на индуса похож, чем на армянина...

Эрьян изучающе смотрел на этого человека. Тот улыбнулся снова и, устремив на него взгляд своих глубоких глаз, заговорил.

— Вижу, вижу,— сказал он,— вы тоже приезжий, вроде меня.

— Вы армянин? — спросил Эрьян.

— Армянин, конечно же, армянин я... Вы, наверное, решили, что я индус, как и многие думают...

— Ну да... Так и подумал...

— С детства я жил в Калькутте и в других местах... Понимаете, воздух, вода, солнце, душа страны оставляют печать на лице человека, это всем известно... Родом я из Новой Джуги [1], а, как вы знаете, наверно, корни Джуги остались здесь со времен шаха Аббаса [2]...

— Слышал, как же! Один из черных дней нашей истории.

— Мне захотелось вернуться доро́гой, которой наши предки вынужденно бежали. Я ехал из Индии в Персию, из Персии в Айастан... Линия, которая звенит, проходя по карте нашей души...

С этими словами он поднял стоявший перед ним стакан с водой, и Эрьян увидел его руки. Смуглые, как лицо,

---

[1] Новая Джуга — армянская колония в Иране. Джуга — Джульфа — город в Нахичеванской АССР в Азербайджане.

[2] Шах Аббас — властитель Ирана. В 1605 году переселил насильственно сотни тысяч армян из Восточной Армении на юг Ирана.

с очень длинными пальцами, нежные и волосатые руки, отражающие сложную психологию их владельца.

— Представляю,— сказал Эрьян,— как непохожа эта наша страна на ту, где вы жили. Кто знает, что вы ожидали и что нашли?

Человек опустил голову и ничего не ответил. Затем, повинуясь неожиданному решению, он протянул руку и представился:

— Меня зовут Петрос Марк.

— Ара Эрьян — капитан.

— Капитан? Кэптн?

— Да.

— Какого моря?

— Черного и всех других...

— Мне нравится ваш ответ... Черного и всех других... Превосходно,— засмеялся он, блеснув великолепным рядом белых зубов.— Морей больше, чем земель,— добавил он серьезно,— но, как видите, наш Айастан без моря.

— То есть как? — запротестовал Эрьян.— И Айастан имеет море: пока Севан, а потом...

— Слыхал... читал...— И после минутного раздумья: — Море! В нашей истории море почти не играет роли, и если играет, то незримо, скрыто. Море спрятано за событиями...

Посмотрел Эрьяну в глаза, подождал ответа.

— Не понял...

— Все идет от моря и в море уходит.

Глаза Марка смотрели издали. И голос тоже будто шел издалека.

— Было море,— продолжал он,— но это море, слившись с небом и землей, стало пламенем. И из этого пламени вышел тот белокурый юноша [1], у которого были огненные волосы, пламенная борода и занявшие свет у солнца глаза... Море, земля, небо, все стихии смешались, потрясли мир бурями, землетрясениями... Так из грохочущего хаоса, из огня и камня образовалась страна, которую зовут Айастан. Это слово надо произносить с великой осторожностью, потому что оно плещет огнем и опасностью...

Эрьян был поражен. Не знал, что и сказать.

— Ну конечно,— замялся он,— это какой-то сон.

---

[1] Петрос Марк по-своему пересказывает миф о рождении Ваагна.

А Петрос Марк уже поднялся и с загадочной улыбкой на лице ушел...

— Кто был этот человек? — спросил Эрьян у хозяина столовой.

— Бог знает кто... Впервые вижу... Приезжий, наверно...

И, даже возвращаясь к себе в комнату, Эрьян думал об этой странной встрече. Кто он — этот человек? Его глуховатый голос продолжал звучать в ушах. Его глаза, казалось, шли следом. Он это чувствовал так сильно, что несколько раз оборачивался, останавливался, смотрел по сторонам, но ничего не видел.

Огромный закат полыхал во весь горизонт. С тополей, дрожа, сыпались желтые языки пламени.

Эрьян припомнил слова незнакомца: «Небо, земля и море слились и стали пламенем...» Со всех сторон, подобно лаве, бежали желтые потоки опавших листьев.

Только успел прийти — стемнело. Словно кто задул светильник неба. И в ту же секунду со всех сторон послышалась пальба. Открыл окно и, озабоченный, прислушался. Сомнения не было: стреляли из винтовок.

Выскочил на улицу.

На пороге сидел какой-то человек и спокойно дымил.

— Что это? Война? — спросил Эрьян.

— Ты что? Какая война? — ответил человек.— Палят со страху и для устрашения... Голод ведь... нищета... понятное дело, как не бояться... Глаза у ночи велики...

В ту ночь Эрьян не раз просыпался и прислушивался. Город воевал с собственными тенями.

5

Через несколько дней, чуть свет, Эрьян уехал на попутной арбе на Севан.

Свесил ноги, скрестил руки на груди и стал смотреть. Было хорошо.

Взбираясь по крутогору, арба жалобно скрипела. Время от времени волы останавливались, чтобы свежий утренний ветерок похлестал их по мордам, и опять тянули.

Молодой аробщик, играя длинной хворостиной, шагал

рядом и непонятными восклицаниями подбадривал волов. С самого детства Эрьян не совершал таких путешествий. Занятно было. Попробовал заговорить с крестьянином. Крестьянин, недоверчивый, на вопросы отвечал неясным бормотанием.

— А ну-ка скажи мне, как тебя зовут?

— Шмавон.

— Доброе имя... Шмавон... Как твои дела идут в селе, после стольких-то бедствий?..

— А?.. Откуда мне знать?

Поднимал хворостину, и она свистела в воздухе.

— Сколько вас в семье душ?

— Девять.

— Ты самый младший, не так ли?

— Не так... Гур-ра! Гура-ра!

И почем зря стегал хворостиной волов.

Поднялись в Канакер. День уже занялся. Солнце осветило торчащий наверху обломок скалы, вспыхнуло на конце хворостины в руках крестьянина.

Когда одолели подъем, открылся мир — новый и прекрасный.

Эрьян спрыгнул и стал смотреть на раскинувшийся внизу город. Окруженные садами скопления плоских кровель погружены в дремоту. Тихо. И только деревья, слабо шевеля листвой, настороженно смотрели в ту сторону, откуда приближалась осень.

А осень шла со стороны Араратской равнины, где в эту минуту струился смешанный поток красок. Свет то разливался морем, по которому плыли кроны тополей, то расстилался переливчатым саваном по земле.

Эрьян смотрел восхищенный.

И перед этим полыхающим горизонтом встали горы. Направо — из расколотой вершины Арагаца — низвергались вниз потоки гранатового сока, омывая ребра горы и извилисто сбегая к полям. Налево — застывшим перед лицом неба гигантским криком — высился весь освещенный Арарат.

Подальше, идущая косо из глубины, пылающая масса облаков налетела на вершины Гегамских гор. Внизу блуждали голубоватые огни.

Резкий крик птицы царапнул воздух, и Эрьян очнулся.

Арба успела уйти вперед. Эрьян снял фуражку и, подставив лицо свежему воздуху, стал догонять.

Неширокая дорога местами круто шла вверх, вгрызалась в склоны холмов, петляла, сворачивала влево, сворачивала вправо, потом, вытягивая шею, бежала вперед, оставляя у подножия скал белый след, и исчезала.

Слышалось пение птиц. Вдалеке ворковали горлицы.

Потом замолкали, словно в ожидании ответа. Синий ветер бил крылами в скалы, падал на землю, поднимая пыль.

Все казалось новым. И это новое было отлично от виденного им. Не то чтобы красивее, а просто новое — другое. Различные чувства наполняли его. Казалось, внешние звуки идут изнутри. Он и этот мир слились, у них одно тело, одно сердце.

И это чувство еще долго владело им, несмотря на то, что все вокруг пустело и дичало. Холодные и голые возвышенности. Бронзовые скалы, обдутые ветрами, исцарапанные бурями. Камень, небо и одиночество.

Изрядно проехав, вошли в деревню. Дорога делила ее на две части. По одну сторону стояли пришедшие из северных степей деревянные избы молокан, по другую — врытые наполовину в землю, напоминающие древние гробницы, холмообразные хижины армянских крестьян. Вид у них был печальный.

Проехали не останавливаясь.

Подальше, влево от дороги, почва оползала. Зангу, нетерпеливая, шумная, перескакивая через камни, бежала к долине. Она брала начало в сердце Севана, и поэтому горло ее полно было звонких и грохочущих звуков, занятых ею у озера.

«Зангу, в древние времена Раздан,— подумал Эрьян,— бежит и шумит, чтобы безмолвие не поглотило эту страну, чтобы длилась в ней жизнь...»

Мощные тектонические силы некогда перевернули вверх дном эту местность, перекроили ее. И хотя потрескивание разгуливавшего в недрах земли огня улеглось и вулканы утихли, следы былого хаоса и сейчас не исчезли. Видимо, поэтому имя Раздан напоминало дракона, дышало огнем... Видимо, потому и звонко бежала она, то грохоча, то издавая звук потрескивающего пламени.

В этой стране все замерло в ожидании. Айастан ждет. Ждет это застывшее между небом и землей гигантское

безмолвие. Ждет эта огромная возвышенность, со всеми своими горами, обточенными бурей островерхими скалами, одинокими синими озерами, шумно топающими по земле реками. Ждут мирные поля в ладонях гор. Ждут люди, животные и растения.

Страшная, загадочная сила закинула их всех на одну из высокогорных сцен земного шара для представления сложной трагедии. Долгие действия проходят по векам. Одних героев сменяют другие. Одних врагов сменяют другие.

Айастан остается.

Страдает, сражается, ждет.

«Ох, возможно ли это? Возможно ли это,— думал Эрьян,— чтобы эта трагедия не несла в себе тайного и светлого смысла? Просто еще не пробил час откровений. Не пробудились скрытые боги».

...Волы качнулись, пошли. Не напрягаясь, задумчиво. Казалось, они додумывали думу веков.

Скрипели колеса, да изредка слышались выкрики аробщика.

— Ну, ну!.. Мро! Мр-ро!..

На подходе к новому подъему Эрьян соскочил с арбы, пошел рядом с крестьянином. Тот несколько раз посмотрел на него и, по-видимому вконец устав от молчания, заговорил.

— Дорога малость длинная,— сказал он.— Мы-то привычные к ней, а для тех, кто не привык, трудная...

— Подумаешь, трудность,— ответил Эрьян,— дорога красивая, и, на наше счастье, погода хорошая...

— Ну, это, конечно...

Шагов десять молчали.

— В этих делах теперь все трудно,— начал снова аробщик.— Как подумаешь, как подумаешь...

Эрьян понял, что Шмавону не терпится поговорить.

— Что, плохи дела на селе?

— Плохи. А как же иначе: с начала войны село опустело. Молодых забрали воевать против немца. Ушли: ни слуху от них, ни духу. Никто не знает, живы они или померли... Это верно, что дороги перерезаны и в России новые дела творятся?.. Говорят, смута страшная... Может случиться, многие из молодых при деле... Теперь, при деле они или нет, не то важно: беда в том, что бабы остались одни и туго им... Свечи ставят в церкви. Ждут,

каждый день, каждую ночь ждут... А вот не возвращаются... Кто знает, может, приедут когда... Все может случиться...

И шагов десять опять помолчал.

— Что и говорить, трудно,— продолжал он.— Люди пошли против немцев воевать, а семья осталась бедовать... Соседи обрабатывают их земли, трудятся на них, чтобы не голодали... А погляди, теперь свои, армяне, призывают... Армию набирают: говорят, проклятый турок опять нам войной грозится... Гур-ро! Хо, гур-ро!

Говорил без особого волнения, равнодушно, вялым голосом.

Ладно сбитый, легкий на шаг, ясноглазый, чуткий, как олень, парень этот Шмавон.

— И ты должен идти в солдаты? — спросил Эрьян.

— Говорят, заберут... А, к чертям, пусть берут... Я и подумал, раз должны взять, поеду-ка на церковный праздник...

— А где она, церковь?

— То есть как где? А я-то думал, ты туда...

— На озеро Севан еду по важному делу...

— Ну, раз туда едешь — увидишь... Церковь на острове. Много народу наедет... все из-за святых...

Напротив, на склонах холмов, показались зеленые пространства. Тянулись кедровые леса и обширные пастбища.

По дороге сверху цокали навьюченные ослы, следом шагали крестьяне. Поздоровались, удалились.

— В город рыбу везут,— пояснил юноша.— Ишхан... Очень вкусная... говорят, самому царю на стол подавали...

Эрьян засмеялся.

— Так говорят... Может, правда, а может, нет... Коли рыба вкусная, отчего же...

— Знаю, превосходная рыба...

Потом дорога заметалась влево-вправо, обежала кругом скалы и стала карабкаться круто вверх. Волы с трудом тащили арбу в гору.

— Проклятая дорога... скотину изводит... Ну теперь уже скоро...

Чуть погодя позади различили цокот множества ко-

пыт. Эрьян, любопытствуя, обернулся. Над дорогой показались сперва головы, затем всадники. Верхом на холеных конях, в папахах, накинув япунджи [1] на плечи, вооруженные с ног до головы, эти люди пронеслись мимо, едва поздоровавшись.

Группа молодых всадников среди этих ржавых камней явила глазам Эрьяна некую легендарную картину из пергаментных рукописей. Походили они на пустившихся в приключения тех древних рыцарей, чьи игры с жизнью и смертью вдохновляли ашугов слагать песни.

Думы Эрьяна прервал аробщик.

— Храбрецы наши,— сказал он.— Поклялись постоять за родину или умереть... К храму, никак, спешат. К жертвенному мясу.

Вот они, на склонах гор, окруженные кедровыми лесами, села. Прилепившиеся один к другому дома напоминают гнезда диких птиц.

Над скалами парили орлы и аисты.

Когда одолели подъем, горизонт снизился и синий ветер коснулся лица Эрьяна.

Эрьян так и замер. Озеро!

— Вот оно, море!

Величественное было зрелище. Сотканный из незримых потоков лучей воздух свободно вливался в легкие. Было такое чувство, будто тело потеряло свою тяжесть, утратило устойчивость. Казалось, он стал прозрачным. Воздух и свет проходили через него...

Так он пребывал бы еще долго, если бы не заметил вдруг удивленных глаз крестьянина. А заметив, смутился и стал торопливо что-то искать по карманам.

— Ну, говори, сколько я тебе должен?

— Ничего! — возмутился крестьянин.— С тех, кто в святые места едет, денег не берут... Будь здоров, господин!

Подпрыгивая на камнях и скрипя, арба удалилась.

Эрьян, теперь уже один, медленно шел к озеру.

На дальнем берегу дыбились скрученные бурями и водами неприступные скалы. Издали они напоминали уходящее стадо крупных слонов. Близкий берег был пусты-

---

[1] Япунджи — верхняя одежда на козьем меху, до колен.

нен. Обгрызенное бурями неровное пространство. Ни домика, ни деревца. Вдали — горизонт, посыпанный золой пополам с шафраном.

Меж двумя этими берегами — блестящая, лазурная зеркальность озера.

Чуть поодаль, как зеленый звук из вод, встал островок. Церковь — серая, старая, соразмерная.

Севан.

Сотворенный светом и тенями веков Севан. Спокойный, мирный, лучистый.

Эрьян, подставив лоб свой лучам солнца, размышлял. Все, что он видел, было ему в новинку. Так все здесь строго, ясно, красиво. Однако умиротворенный этот мир таил в себе грозное прошлое. Безмолвие этих скал, плещущий покой этих вод, недвижная глубина этого неба казались мнимыми, будто это было внешним обличием чего-то другого — загадочного и беспокойного. Там, внутри, под толщами вод, под грудами камней, в пластах земли, притаились неведомые могущественные силы.

Их присутствие он ощущал всем своим существом.

«Почувствовать их,— подумал он,— значит помериться с ними. А могла ли одолеть их сила человека?»

Подошел он к Еленовке, где также жили армяне и русские сектанты. Пересек дорогу, направился к самому берегу в надежде, что встретит кого-нибудь, кто мог бы дать сведения о том молодом морском офицере, которого приехал повидать.

Встретил русского мужика. Рослый, с длинной бородой, он шел, поглаживая ее и глядя куда-то вдаль.

Заметил Эрьяна, изучающе посмотрел на его капитанскую фуражку, поздоровался.

— Добрый вечер,— сказал он по-армянски.

— Добрый вечер,— ответил Эрьян.

Как необычно звучали армянские слова в устах этого человека в длинном кафтане и высоких сапогах!

Мужик остановился, выжидающе посмотрел на Эрьяна.

— Скажите, пожалуйста, как идут дела в этих краях? — спросил Эрьян, чтобы начать разговор.

— Какие дела? — с недовольством ответил мужик.— Дел-то никаких нет...



Сунул руки в карманы кафтана, уставился в небо.

— А вести из России доходят?

— Откуда мне знать... не понять никак... Один так говорит, другой этак... не понять никак... Кое-кто из наших ушли, потому что там землю раздают и молокан не обижают, но писем вот нет...

— Если б вы были уверены, что там действительно раздают землю, наверно, и вы вернулись бы на свою родину? Не так ли?

— Кто знает?

Сказал и, поддев носком камешек, отбил его далеко.

— А вы что, по делу приехали? — спросил он.

— Так себе приехал... Я моряк...

— По фуражке видно.

Погладил широкой ладонью бороду вверх-вниз и засмеялся.

— Тут,— сказал он,— есть один из ваших... собрал бревна, доски,— говорят, корабль строит... С утра до вечера трудится, мучается, да зря это... Как можно строить тут корабль, когда не из чего! Ничего против не имею, хороший парень, в России морским офицером был, воевал... Как теперь он думает корабль построить, не понимаю...

— А я его и ищу...

— Ну, если его, так это просто... Вон так идите к берегу, там и его, и его лодку увидите...

— Ну, с добром...

Эрьян спустился к берегу в указанном направлении и там, возле остова большой лодки, увидел рабочих. С карандашом за ухом, они, держа кусок доски, производили какие-то расчеты и спорили.

Эрьян взглянул на остов будущего корабля. Сомнений не осталось, заложено верно. Запах тесаной древесины, воды и дегтя доставил ему большое удовольствие.

— Здорово, дорогие ребята,— приветствовал он радостным голосом, будто старых друзей встретил.

Рабочие обернулись, удивленно посмотрели на его фуражку и ответили на приветствие:

— Добро пожаловать!

Эрьян стал перед носом корабля и изучающе осмотрел его.

— Доски на днище,— сказал он,— должны быть потолще, такие же толстые, как на носу и на корме.

— И он так думал,— сказал один из них, с закрученными, как рога, толстыми усами,— но не поставили, потому что не достали... Изнутри крепления сделаем, усилим железом...

— А где он?

— Сейчас придет... пошел за инструментом.

— Хорошо сработано, клянусь,— сказал Эрьян,— хотя нужно признать, что для боевого корабля мал будет...

— А вы чего хотели: спасибо, хоть этот есть... Были тут мастеровые, рыбацкие лодки стругали, ведь были... уста[1] Мартирос был и Хосров из Нор-Баязета... Забрали их на войну, не вернулись... А мы в своей жизни не строили лодок, и нужных материалов недостает... Средние доски, к примеру, из груши, для прочности, а грушу тоже теперь не достанешь...

— Понимаю.

— Мы столяры,— пояснил другой,— нам стол да стул да всякие там двери подавай,— это мы можем, а строить корабль потруднее будет, потому что непривычные еще... Делаем все, что он приказывает, и дело с концом... Вот он, идет... Он вам все объяснит...

Эрьян повернулся. В черной до пят шинели морского офицера, навстречу, с железным угольником в руке, шел высокий, худой молодой человек.

Он заметил Эрьяна и ускорил шаг. Подошел, Эрьян представился, пожал крепко руку. Его привлек взгляд больших, ясных, зеленоватых и наивных глаз молодого офицера. Такой встретишь только у детей да моряков. Взгляд собранный, обращенный вовнутрь. Светло-каштановые с оттенком мокрой соломы волосы; длинное, с запавшими щеками, бледное лицо; тонкий нос и почти бесцветные губы. Знаки различия на шинели поблекли, обшлага и карманы засалены и истерты. На первый взгляд он напоминал скорее бедного провинциального гимназиста, нежели офицера.

Вытянувшись, каблуки вместе, глазами впившись в Эрьяна, он стоял и ждал.

— Я тоже морская душа,— сказал Эрьян.— Капитан дальнего плавания... Честь имею представиться...

— Я счастлив, господин капитан... Офицер его величества флота...

Они по-военному приветствовали друг друга.

На вопросы Эрьяна он отвечал коротко и ясно. Голос был чуть певучий, порой западал и останавливался на басовых звуках, что придавало его речи взволнованность. Говорил он по-армянски с трудом, с иностранным акцентом, примешивая русские слова.

---

[1] Уста — мастер.

Сказал, что приехал из Бессарабии, с отцом, который был там важным судейским чиновником, а ныне находится в Ереване. Бессарабские армяне прислали его отца к правительству Айастана — договориться о переселении целой колонией на родину. Вот уже сколько месяцев они здесь, а переговоры затягиваются, без каких-либо положительных результатов. Чтобы не сидеть без дела, он решил построить этот кораблик. Естественно, в нормальных условиях подобное предприятие выглядело бы смешным, но теперь, когда армия лишена элементарных средств, даже столь несовершенное судно могло бы пригодиться...

— Вот посмотрите сюда,— продолжал он, указывая рукой на дальние скалы над озером,— оттуда, в случае беды, враги могут держать нас под огнем. Берега озера не укреплены. Вооруженный пушкой маленький корабль, который мог бы с помощью какой-нибудь машины быстро ходить, причинит им немалый урон... Это, безусловно, не бог весть что, капитан, но и не заслуживает пренебрежения...

— Все верно... понимаю...

— К сожалению, необходимых материалов нет... Надо работать по системе Робинзона: все самому придумывать, довольствоваться малым...

— Вижу...

Походили, поговорили...

— Завтра праздник,— сказал морской офицер,— рабочие не придут, и я, воспользовавшись случаем, пойду в город, повидать отца. Мне жаль, что вынужден вас покинуть... Отец там один, и раз в неделю я бываю в Ереване...

— Хорошо, если найдется экипаж...

— Какой там экипаж? О чем вы? Пешком хожу. Ежели сейчас выйду, к утру буду там...

Эрьян поразился и непроизвольно посмотрел на его обувь. Истоптанные, залатанные, несчастные ботинки. И брюки внизу обтрепались. Взял его руку и долго пожимал. Хотел сказать о глубочайшем уважении своем, язык присох от волнения. Покраснел. Снова пожал руку.

— Встретимся, побеседуем еще...

Юноша щелкнул каблуками и отдал честь.

— Да, забыл,— бросился следом Эрьян,— хотел узнать, где тут можно переночевать?

— Прошу ко мне, я живу в доме здешней милиции...

Очень скромная комнатка... Меня сегодня не будет. Если хотите воспользоваться, с радостью...

— Премного благодарен...

И вместе пошли смотреть помещение.

6

Сойдя с парусной лодки, доставившей его на остров, Эрьян решил подняться на вершину холма. Оттуда лучше смотрелось озеро.

На полдороге навалился на него ветер, растрепал волосы, толкнул в грудь, отбросил назад. Эрьяну это понравилось.

Хотя уже подоспела осень, трава кругом свежо зеленела. Цветы, вспыхивая яркими сполохами, стелили ковры причудливых узоров. Воздух был напоен пьянящим ароматом.

Мерно звонили колокола нижнего храма. Перезвон падал меж двух скал, и эхо повторяло его.

Добравшись до вершины, Эрьян ступил на утес и посмотрел на озеро. Широко раскрылись глаза, заколотилось сердце.

Севан.

Лазурная гладь, которую местами подметал ветер, казалась бескрайней. Берега, чем дальше, тем больше раздавались вширь и пропадали. Вдалеке, сливаясь с тучами, виднелись тени высоких гор, и за горизонтом обозначался какой-то суровый, трагичный мир. Этот необъятный простор воды словно захлестывал легкие, дышалось легко, свободно.

То было море.

Уступ скалы, на котором он устроился, с одной стороны сбегал к озеру, с другой — круто переходил в склон холма. На минуту ему показалось, будто он на капитанском мостике корабля, который, сбившись с курса, остановился на полпути. Сердце сжалось, глаза стали круглыми, как у морской птицы.

Смерил мысленно дали и, широко раздув ноздри, шумно втянул воздух. Не хватало соли. Приложил руку ко лбу, снова посмотрел. Никаких признаков жизни, никакого движения, нигде ни одной лодки. Далеко, по правому берегу, виднеются вон несколько землянок. А еще

дальше, на склонах какой-то горы, он различил другое поселение. И — больше ничего.

Вода, тучи, безлюдье.

«Армяне,— подумал он,— подобно диким птицам лепятся к скалам. Наверное, там, ближе к Нор-Баязету, зацепившись за ребра гор, на краю ущелий гнездится много других сел. Подумать только, что есть поселения, занесенные снегами, побитые бурями, оторванные на долгие месяцы от внешнего мира. Как похороненные между землей и небом. Безмолвные, одинокие.

Нету сел, потому что нет средств сообщения. Здесь должны ходить корабли, соединяя берега».

Подумал, и все в нем перевернулось. Да, да, здесь должны быть корабли. От волнения чуть не потерял равновесие и не свалился в воду. Теперь уже знал, теперь-то знал, что ему делать.

Здесь будут корабли. Для начала хотя бы один.

Сошел вниз, весело подпрыгивая, как ребенок.

Внизу, в главной церкви монастыря, служили обедню.

Двор монастыря заполнила толпа. Семьи из города, из глубинных сел заранее заняли все уголки. Расстелили на земле карпеты [1] и разложили на скатертях еду, множество бутылок с вином и водкой. Ждали конца службы.

Многие были в церкви, толпились в дверях. Вновь прибывшие, чтобы подойти к амвону и поставить свою свечку, принуждены были расталкивать людей, наступать другим на ноги.

Из церкви доносилось пение. Колокола звонили не переставая. Здесь и там колыхались языки пламени. К запаху ладана примешивался тяжелый запах овец. Они метались из стороны в сторону и блеяли. С отмеченными хной лбами, странно поблескивающими глазами, они смешивались с толпой. Овцы, ягнята также принимали участие в обряде.

На противоположном берегу много народу нетерпеливо ожидало единственную парусную лодку монастыря, чтобы перебраться на остров.

---

[1] Карпет — вид армянского грубошерстного ковра.

С танцами, песнями подходили новые группы людей. В их веселье была какая-то торжественность. Эрьяну захотелось войти в церковь. С трудом добрался он до дверей, бросил монету в кружку, купил несколько свечек, поработал локтями, воспользовался чужой уступчивостью и, высоко держа свечи над головой, продвинулся к иконостасу.

Подумал: «Сколько лет я не бывал в церкви?» Волнение сдавило горло. И чтобы избавиться от него, тряхнул головой и через силу раскашлялся. Необычное это волнение удивило его. Не знал, что в нем дремали таинственные, непонятные чувства.

Вставил свечи в подсвечники, зажег. В ту же минуту опустились на колени певчие, тихо и торжественно зазвучала молитва.

Но Эрьян не вникал в пение, не вслушивался в слова. Он мысленно произносил свою молитву: «Господи, дай мне силы осуществить родившуюся сегодня во мне идею... Ты, кто сотворил это озеро,— дай мне силы и усердия и продли мои дни — привести сюда заветный корабль...»

И тут он заметил, что окружен ягнятами.

Удивленно посмотрел вокруг себя. Ягнят пригнали к престолу для последнего освящения. Сбившись в кучу, они стояли, напуганные светом и пением. Несколько человек хватали ягнят, зажимали их между ног, задирали им головы и старались сунуть в рот щепотку соли. Ягнята противились, вырывались, пачкали со страху земляной пол.

Через час монастырский двор напоминал бойню.

С деревьев, с карнизов, с гвоздей на столбах свисали окровавленные туши. Свежевали, потрошили, делили на части. Готовили для раздачи жертвенное мясо.

Всюду разложили огонь для традиционного хороваца [1].

Бородатые монахи ходили по двору, приветствовали приносящих жертву, старались быть гостеприимными. Изредка, уступая настойчивым просьбам, соглашались выпить вина. Держа стакан двумя пальцами, обращали

---

[1] Хоровац — шашлык.

глаза к небу, благословляли, глотали вино и, обсасывая усы, отходили.

Другие монахи собирали жертвенные шкуры, головы, ножки, которые по праву принадлежали монастырю.

Двор был полон шума, огня, дыма.

Шипели куски мяса, жир капал на угли и вспыхивал. Заманчивый запах хороваца стоял на всем острове.

Приглашали каждого, кто шел мимо:

— Просим, не откажите, пожалуйста... Выпейте-ка этот стакан, отведайте кусочек жертвенного мяса...

— Благодарю, да исполнится обет ваш...

— Братец ты мой, ну присядь, ну на минутку... В такие дни не отказывают... все мы тут христиане, не так ли?

Эрьян не принял ни одного приглашения и собрался уже оставить остров, как вдруг услышал свое имя и удивленный обернулся.

— Господин Эрьян! Господин Эрьян!.. Кто бы мог подумать, что и вы здесь... Какая неожиданность... Послушайте, отец непременно хочет повидать вас...

Эрьян обрадовался. Перед ним стояла старшая дочь хозяина, у которого он снимал комнату в Ереване. Он видел ее раза два-три, да и то мельком. Барышня никогда не сидела дома, а если и сидела, запиралась у себя и учила уроки. В последний класс гимназии ходит, говорила мать, и в этом году должна много работать, чтобы весной сдать выпускные экзамены.

Эрьян с интересом посмотрел на нее и улыбнулся.

Что-то свежее, наивное было в ней, приятное и обаятельное. Черные ли, большие бархатные глаза производили такое впечатление или нежный и вибрирующий голос ее? Коричневая школьная форма, чуть узкая для нее, еще больше оттеняла стройную фигуру. И хотя нельзя было сказать что она красива в полном смысле слова, но была она мила и привлекательна.

Глаза Эрьяна блестели, он явно был рад встрече. Барышня почувствовала это и слегка смутилась. Поднесла руки к волосам, с силой откинула их назад и заглянула Эрьяну в глаза.

Поняли друг друга. Улыбнулись.

— Ну идите,— сказала барышня, кажется, уже повелительным тоном,— ну чего же вы ждете...

Эрьян подчинился.

— Мы даже не знали, что сегодня приедем в монастырь,— говорила она,— отец не хотел... Этот год — не по святым местам разъезжать, говорил он... В последнюю минуту пришли родственники и уговорили отца... А вас тут и вовсе не думали увидеть...

— Я, честно говоря, не знал, что здесь такое торжество... Приехал по делу: выяснить кое-какие вопросы.

Встретили его радостно, с любезными восклицаниями, представили всем. Потеснились, тотчас наполнили стакан и тарелку.

— Пожалуйста, этот кусочек как закуску ешьте, пока горячо... Дочка, где хлеб, где зелень?.. Эта водка своего приготовления, капитан, пейте, это что-то необыкновенное...

— За ваше здоровье...

— Будьте здоровы... Еще один, еще один... Говорю вам, сами водку гнали...

Эрьяну пришлось осушить несколько стаканов.

Сидевший рядом человек — хозяин пиршества — вытянул мясистое лицо, похлопал ресницами и заговорил:

— Вы человек образованный, я вам кое-что скажу, а вы послушайте... Так вот, с научной точки зрения... Этим летом моя дочь, которую вот вы видите... Сирун, дочка,— обратился он к ней,— ты поздоровалась с капитаном?

Девушка с длинными бровями и толстыми губами смущенно посмотрела на отца.

— Как же, познакомились,— выручил ее Эрьян.

— Да, значит, что я говорил... Дочка этим летом вдруг заболела... Заболела, должен вам сказать, серьезно... Так что — дальше сами понимаете — и надежды уже никакой... Мать, та без конца слезы лила, врачи, те — ну знаете, как бывает... ходили, ходили, совещались, брали деньги — завтра снова придем, посмотрим. А все без перемен. Какие там перемены? Чем дальше, тем хуже делалось. Подумал я, подумал и, сотворив горячую молитву, дал обет. Сказал святому: на, поручаю тебе своего ребенка, делай что хочешь, а я сделаю, что должен.— Взял красную редьку, откусил с хрустом и, жуя, продолжал: — Только вы, как человек ученый, наверное, скажете, что это за человек такой, верит в разные штуки эти... Теперь что хотите думайте, факт, что с того самого дня дочка стала поправляться... Чудо какое-то... Истина, как этот божий день...

Эрьян слушал краем уха и смотрел на других пирующих. Повсюду ели, пили. Подняв стаканы, говорили тосты. Где-то пели. Больше всех суетились женщины: прислуживали, наполняли стаканы, подавали блюда с едой, смеялись, поддерживали веселье. По преданию, чем ярче праздник, тем больше радости святому.

Рядом с Эрьяном сидела пригласившая его сюда девушка — Зварт. Пробуждающаяся женственность уже бродила в ней, подобно вину в карасе[1], и потому ее движения были неожиданны и угловаты. Когда смеялась, груди вздрагивали и голос звенел металлом.

— Ах, господин Эрьян, вы ничего не поели,— восклицала она,— ничего не выпили!.. Такой мужчина, как вы, должен служить другим примером... Вы моряк...

И слова перекатывались в ее горле, глаза загорались, и щеки рдели.

— Вы только требуете,— полушутя-полусерьезно отвечал Эрьян,— а сами примера не подаете. Вот почему бы вам не спеть? За другими столами женщины поют. А у вас, несомненно, хороший голос...

Он говорил это, пожирая ее глазами. Зварт чувствовала этот взгляд и тревожилась. Делала все невпопад, не знала, куда деть руки.

— Я? Петь? Ах, господин Эрьян, вы надо мной смеетесь...

— Она такая, стыдится,— вмешался отец,— но если захочет...

Зварт посмотрела на отца широко раскрытыми глазами и запротестовала. Известно, что родители вечно преувеличивают возможности своих детей.

Отец и дочь заспорили.

* *

Позади двора грянула хоровая песня. Нестройно, но бойко.

Все повернулись туда.

— Молодые воины,— пояснила Зварт,— приехали пировать.

— Понятно,— глянув в их сторону, сказал Эрьян,— это всадники, которых я встретил дорогой...

— Погодите, вот выпьют, увидите, какое станут вытворять... Я их хорошо знаю...

---

[1] Карас — большой емкости кувшин для хранения вина, зерна.

— А вы не бойтесь: я здесь, рядом с вами...

И хотя сказал это в шутку, при последних словах голос его заметно дрогнул. Зварт залилась краской и опустила глаза. И оба замолчали.

— Земляки! — кричал взобравшийся на стул молодой человек в очках.— Земляки, позвольте сказать...

— Началось,— обронила Зварт.

— Говорите, говорите,— просили со всех сторон.

Молодой человек на стуле, придерживая одной рукой очки, другой указывая на поющих, срываясь на крик, выспренне говорил о родине, о выпавших на долю нации страданиях, о храбрецах, которые, презирая смерть, защищали и будут защищать каждую пядь окровавленной земли родины...

Предложил наполнить до краев стаканы и одним духом выпить за их здравие.

Многие поднялись и, с полными стаканами в руках, зашумели. Грянуло «ура!».

Парни скромно поклонились.

Старики, молодежь, женщины, дети дружно запели популярную в буржуазной Армении песню. Холодная дрожь прошла по телу Эрьяна. Лица поющих будто светились. Взгляды устремлены были в небо. Печальная эта мелодия звучала как молитва.

«Как хорошо, что и я здесь,— подумал он,— как хорошо...»

Обернулся. Пела и Зварт. Грудным, красивым контральто. Одухотворенное лицо, горящие глаза. Эрьян, захваченный, внимал лишь этому голосу. Пело, кажется, все ее тело. Внезапно он понял, что его увлекает не песня, а Зварт, стоящая рядом,— ее тепло, ее нежность.

На минуту он впал в забытье. Потом очнулся: «Ну, ну, не распускать себя». И чтобы заглушить просыпающееся в нем чувство, не раздумывая присоединился к поющим. Но едва раскрыл рот, как из горла полетели кричащие, фальшивые звуки. Зварт от неожиданности застыла с открытым ртом. Хотела сдержать смех, но не смогла и, пряча лицо в ладонях, затряслась как сумасшедшая. Стоящие рядом скосили глаза на нее, на Эрьяна и, заразившись, сами стали громко смеяться.

Эрьян, который ничего этого не заметил, разошелся еще больше и, подняв глаза, широко раскрыв рот, продолжал петь. А когда обернулся, и старики присоедини-

лись к остальным. Сдерживаемый смех сотрясал их тела. Эрьян сразу понял, в чем дело, смутился и замолчал. Его как по голове ударили. Хотел убежать. Остался. Вытянув шею, будто заметил что-то важное, сосредоточенно посмотрел вдаль.

Кончили петь, все захлопали. Зааплодировал и он.

— Ах, господин Эрьян, вы должны нас простить,— сказала Зварт, вытирая слезы.— Знаете, с каждым так бывает без причины...

— Вы уже прощены, милая барышня, вы давно прощены...

Сказал и снова покраснел.

Сердце Зварт сжалось. Взяла руку Эрьяна и крепко, по-дружески пожала.

— Знаю, ни голоса у меня, ни слуха... Обойден природой,— сказал Эрьян.

Зварт опустила глаза.

— Слушай, как это называть,— вмешался отец,— приехали пировать, а никто не пьет... А ну, давай наливай доверху...

Эрьян выпил еще несколько стаканов, и голова захмелела. Настроение поднялось, и он завел речь о корабле.

— Я о настоящем корабле вам говорю, господин Артем... Одном из тех, что, пыхтя, заваливаясь то на один, то на другой бок, зарываясь носом в волны, ходят по морю, развозят людей или товары... В полном смысле этого слова — корабль... Вот я и говорю, если бы один такой корабль прибыл на это наше озеро да залился гудком своим, зафыркал, забурлил винтом... Клянусь вам... Нет, вы только подумайте, господин Артем, нет, вы немного подумайте, какие огромные может это иметь последствия, какая новая жизнь может начаться... Со своей стороны могу только сказать, что вся программа работ у меня уже в голове. Я старый морской волк, легко решений не принимаю, а если принимаю, значит, знаю, что делаю... Знаю, что трудное это дело и в нынешних условиях почти невозможное. Но я человек гордый и, если за что взялся — даже если смерть выйдет навстречу,— перешагну... Не пустая похвальба... Можете в этом не сомневаться.

— Молодчага... За ваше здоровье...

— Когда вот так говорите, дорогой, сердце радуется... Ваше здоровье...

— Спасибо... А раз так, выпьем за удачу этого начи-



нания... Море — суровая школа; коли человек прошел ее, через все пройдет...

Он говорил, не глядя на Зварт, но Зварт чувствовала, что его слова обращены к ней. К ней еще и потому, что он впал в такие технические премудрости, которые слушателям были совершенно непонятны. Стал объяснять

принципы современной науки о машинах, подробно рассказал о жироскопическом компасе, о радиогониометрических точках и многих новшествах в электротехнике.

Слушали, хлопали глазами. Господин Артем, отец Зварт, задавал редкие вопросы:

— Дорогой капитан, как вы сказали? Радио... что?...

— Радиогониометрические...

— Слушай, выдумают же люди слова...

За этими многосложными словами Зварт слышала другой голос, другие слова.

«Видишь,— говорил этот голос,— видишь, кто с тобой говорит... Да! да! да! он плохо и фальшиво поет... Что поделать, милая барышня, он не тенор, он простой моряк; упорный, сильный, закаленный...»

И этот второй голос пугал ее и захватывал.

Давно перевалило за полдень.

Продолжали пировать. Мужчины, уже разгоряченные, говорили бессвязно, нескладно пели. Отовсюду слышалась музыка. Кое-где танцевали.

Парусная лодка монастыря не стояла без дела. Разгрузившись, она снова шла за пассажирами и возвращалась битком набитая.

Для новеньких снова разжигали огонь и низали мясо на шампуры.

Эрьян, слегка уставший, с интересом наблюдал. Не говорил больше, и другие притихли. Отец больной девушки, уже который раз начинавший свой рассказ, так и не закончил его. Теперь он, положив голову на грудь, тихо похрапывал. Господин Артем силился не закрывать глаза и исподволь поглядывал на одного, на другого. Зварт ушла к своим подругам.

Когда вернулась она, был уже вечер.

— Нет, вы только взгляните, какой закат! — воскликнула она.— Надо посмотреть с вершины холма... оттуда великолепное зрелище...

— Пошли посмотрим,— сказал Эрьян вставая.

— Пошли,— согласилась Зварт, взглянув на отца.

Отец кивнул головой в знак согласия.

Обходя скатерти, перепрыгивая через костры, они добрались до церкви, обогнули ее, стали подниматься к вершине.

Ветер стих.

На озере расплавленным металлом разлился глубокий покой. Вдали горы попрятались за шагающими один за другим пожарами. Со всех сторон катился могучий поток пламени и света.

С правого берега поднялись стаи диких уток и, вытянувшись треугольником, полетели стрелой, исчезли в изменчивых потоках света.

Зварт шагала молча, как в забытьи. Сбегавшая сверху группа девушек обступила ее с криками и восклицаниями и задержала.

Эрьян пошел к скале, откуда утром смотрел на озеро.

Не сетовал, что остался один. Напротив, между ним и новообретенным миром зародилась некая тайна, которую он хотел сохранить только для себя. Еще не знал, в чем она, однако всей силой сердца чувствовал, что она важна для него.

Он прыгнул на камень и собирался перескочить на другой, как услышал свое имя.

Внизу стояла Зварт.

Закат наложил свои краски и на ее лицо, глаза ее горели.

Эрьян на миг окаменел: эта девушка показалась ему неземным видением. Словно она пришла издалека — одетая в свет и мечту. Их взгляды встретились и утонули один в другом.

— Ах, это вы, барышня,— приходя в себя, сказал Эрьян.

Спрыгнул вниз и помог ей взобраться наверх.

Сели и, не говоря ни слова, стали смотреть.

Красный шар солнца медленно заходил за ломаную линию гор, как маска какого-то божества, скрывающаяся после представления за огненно-золотым занавесом. Атакующие небосвод краски казались звуками скрытой музыки: словно били одна о другую литавры света. Озеро, умытое золотым дождем, горело, как гигантский костер, раздуваемый всеми ветрами.

— Как красиво,— чуть слышно выдохнула Зварт.

Отдала глаза свои глазам Эрьяна и замерла.

— Взгляните вниз,— тихо сказал Эрьян.

Зварт посмотрела и, увидев меж скал расселину до самого озера, испугалась и схватила Эрьяна за руку. И уже не отпустила.

— С вами не боюсь,— прошептала она.

Эрьян обнял ее и взял ее руку в свою.

— Да, со мной можете не бояться... что бы ни случилось...

И долго, долго молчали.

Горизонт бледнел. Уже преобладали светло-желтые краски, на которые набегали фиолетовые. Дальние горы отодвигались все дальше. В темнеющем небе неожиданно появлялись просветы и быстро исчезали. Остров понемногу обступали тени.

— Неповторимое зрелище закат,— сказала Зварт,— солнце выходит каждый день и уходит, как герой величественной драмы... Если бы человек мог угадать других тайных исполнителей ролей...

— Они, безусловно, есть, существуют... мы не знаем... Вернее, знаем и не знаем... Есть вещи, которые в слова не облечешь, если назовешь их — убегут от тебя, уйдут...

— Говорят, до Просветителя жили здесь могучие боги...

— Они еще есть, здесь они.

— А я думала, это легенда.

— Легенды порой реальнее действительности. Я точно знаю: они есть, они везде... в озере, у берегов, здесь...

— Здесь?

Зварт тревожно повела плечами.

— Представьте, их присутствие я очень явственно ощутил сегодня утром.

— Где?

— В церкви. Просто удивительно было... Мне показалось вдруг, что, приподыми священник чуточку ризу, из-под нее непременно показались бы копыта козла...

— Ах, господин Эрьян, ну и воображение у вас...

— Ну да... Кто знает, почему приходят в голову такие вещи. В дальних морских странствиях не раз встречаешься с загадочными явлениями. Человек, когда он одинок, хочет, чтобы все вокруг него жило... Разговаривает со всем, и все разговаривает с ним... Вот как!

Замолчали.

— Поздно уже... Темнеет, и отец будет беспокоиться... Я пойду...

Эрьян спустился ниже, протянул руки, и Зварт очутилась на его руках.

— Пустите!

Прижал к груди, поискал ее губы. Нашел. И так застыли.

— Не надо было этого,— подавленным голосом запротестовала Зварт.— Ах, не надо было этого...

Высвободилась из объятий. Быстро привела в порядок волосы, сделала несколько нерешительных шагов, нашла дорогу и бросилась бежать.

Эрьян закрыл глаза, глубоко вдохнул воздух.

Спускаясь к берегу, остановился перед верхней древней церковью. Каким чудом сохранился этот храм, построенный на месте древнего языческого капища? Какие только события не прошли перед ним!

Исчезали государства, вымирали народы и племена, а он остался стоять.

Заброшенный, сиротливый, отверженный.

Крыша покосилась, кладка разъедена стихией. Выбитые окна заложены беспорядочно камнями, двери расшатаны, бревна повалены.

Нищий призрак духа.

Внутри трепетало несколько свечей. Эрьян, чьи мысли были внизу, там, где Зварт, хотел быстро пройти мимо церкви, но остановился перед входом и, не отдавая себе отчета, вошел.

Словно кто-то звал его.

Церковь была пуста. Пахло медовым воском и сыростью. Стал у алтаря — в единственно освещенном месте. Здесь лежало раскрытое большое евангелие с пожелтевшими страницами. В маленьких подсвечниках стояли капающие воском свечи. Слабые языки пламени тревожили темноту, колебля по стенам огромные тени.

Когда глаза его привыкли к темноте, он стал различать на стене изображения божьих угодников. Знакомые образы — длинные тела, обглоданные лица, глубоко запавшие, строгие черные глаза, измочаленные бороды и костлявые, неестественные руки. У некоторых в руках книги.

Эрьяну показалось, что лики эти, отделившись от стены, незаметно надвигаются на него.

В эту минуту что-то подвешенное под крышей шевельнулось. Может, летучая мышь... Глянул вверх. Ничего не увидел, взглянул на лики, их расширенные глаза заворо-

жили его. Затащили его взгляд в себя, втянули. И уже не мог сдвинуться с места. В нем началась глухая борьба: сознание теряло ясность.

Две свечи покосились, вспыхнули, погасли. Тьма сгустилась. И вдруг в глубине церкви послышались шаги. Эрьян обернулся и опешил. Перед ним стоял Петрос Марк.

— Здравствуйте, кэптн! Здравствуйте!

Протянул смуглую волосатую руку и сердечно приветствовал Эрьяна. Ладонь была холодная и рука — об этом Эрьян вспомнил уже после — неестественно длинная.

— Увидел, как вошли, и подождал, пока вы кончите свою молитву... Поистине это знаменательные места, для общения с ними стоило пройти, пересечь тысячи километров, как прошел я... Знаменательные, необыкновенные места...

— Рад, господин Марк... не ожидал.

— А я ждал встречи с вами... Я вас ждал, как вот эти святые лики ждали меня и вас... испокон веков. Неизмерима глубина души, и безграничны ее возможности...

Засмеялся себе под нос, и в ту же секунду лицо приняло выражение маски, вышедшей из древней гробницы.

Петрос Марк был в сером в желтую полоску костюме, сшитом на английский манер. Брюки были слишком подтянуты, а пиджак, тесный в плечах, плотно прилегал к телу и казался не по нему сшитым. Выделялся высокий воротник. В руке он держал соломенную шляпу с очень широкими полями.

Странным было то, что все отвлеченное в нем — о чем он говорил — не соответствовало его манере одеваться. Словно костюм этот был с чужого плеча. Однако голос звучал убедительно, громко, иногда глухо. Но особенно убедительными были его очень черные, очень блестящие глаза, которые — чем бы это объяснить? — были схожи с глазами этих вот святых угодников. Жаждущие, захватывающие.

Когда он говорил, шея вытягивалась. Горящие свечи клали тени вокруг выступавших на его лице скул, рисовали впадины под глазами, выделяли челюсть и резче подчеркивали кадык. Волнуясь, чуть заикался.

— Скажу вам, кэптн, и вы поймите: на свете все обращается вспять, возвращается к самому себе... Солнце, звезды, человек... Минуту назад, стоя там, в глубине, ду-

мал: люди проходят мимо многих событий, не придавая им значения, не замечая их... А между тем все явления взаимосвязаны,— все явления, большие и малые, в равной мере важны для вселенной...

Замолк и уставился в глаза Эрьяну. Склонил голову. Желая прервать молчание, Эрьян захотел сказать что-то, хотел показать, что слова Марка ему понятны.

— Ну... разумеется...— начал он громко и неуверенно,— да, если хорошенько подумать...

— Дайте закончить мысль, потом вы свое скажете,— оборвал его Марк.— Во-первых, должен признаться вам: в этой нашей стране я часто чувствую себя чужим... И внешне и внутренне. Эта жизнь мне чужда. Не то, что ожидал, не то... Думаю, причина в том, что, когда живешь вне своей родной среды, все видишь другими глазами... Не скажу, что всегда правильно, но шире и глубже видишь... Издали смотришь на родную страну, как с горы наблюдают равнину, горизонт твой широк... И смотришь глазами прозревшей души... Не как один из немногих, не как обыкновенное лицо, а как личность. Но, кэптн, возможно, все это вас и не интересует...

— Что вы, что вы, прошу вас... То есть как не интересует, очень даже интересует.

— Благодарю вас... Я сказал... как личность... Надо же различать, не так ли? Надо же различать... Личность, как носитель объективного духа, непознаваема и надвременна... Она — некое данное единство, более емкое, более глубокое, чем наше повседневное сознание. Она — некое сидящее в нас неизменное начало, веления которого решительны и в какой-то мере вечны... Не знаю, сумел ли вам объяснить?..

— Продолжайте, послушаю еще...

— Благодарю вас... У обыкновенного человека различные данные... Один такой! Другой этакий! Откуда мне знать? У одного природные способности, жизненный опыт, сила, призвание, у другого — недостатки, слабости, отклонения, продиктованные внешними условиями... Хочу сказать: это — лицо. Личность — другое. Она — в глубине, под слоями нашего повседневного опыта, нашего каждодневного «я». Она постоянна, как негасимый светильник. И в этом-то весь вопрос: подлинная человеческая сущность должна дойти до этого светильника, должна распространять его свет... Я забыл ваше имя, кэптн...

— Ара Эрьян.

— Благодарю вас. Очень хорошее имя, очень хорошее. Значит, будем знать, Ара Эрьян: этот свет — дорога. Есть на далеком Востоке мудрые мыслители, и есть среди них один, к роднику мудрости которого я всегда иду жаждущим, и зовут его Лао-цзы[1]. Слыхали? Итак, говорил Лао-цзы, когда теряют дорогу — остается добродетель; когда теряют добродетель — остается нравственность; когда теряют нравственность — остается закон; когда теряют закон — остается привычка. А привычка — всего лишь внешность нравственности, и от привычки ведет начало вырождение. Лао-цзы сказал: сперва — дорога. Дорога — личность. Правда, интересно?

— Не знаю. Мне что-то не очень понятно...

— Теперь скажу главное: я много ходил по этой стране, бывал в городах и селах, слушал мужчин и женщин, и каждый раз сердце мое сжималось... Армянская нация, господин кэптн, потеряла дорогу и сохранила только привычки... Потеряла душу и сохранила форму... Мы побеждены.

Сложил руки на груди, и смуглое лицо его омрачилось.

— Я говорю это, потому что встретил вас здесь, в этом удивительном месте, где нам суждено было встретиться, поговорить, подумать. Поймите: я пришел издалека, с тяжелым сердцем, изжаждавшийся и измученный... сам за собой бежал... и вот увидел — растеряли традиции... рассеялись по свету... А говорят — нация, говорят — страна!

...И, не приезжая сюда, я знал настоящую страну нашу... Я знал ее не как физическое пространство, а как некую светлую и единую жизненность... Думали ли вы об этом когда-нибудь? Физики могут считать пространство нейтральной территорией, вмещающей тела и движения. Без взаимности, без единства. Если и мы станем так думать о стране, значит, пришел нам конец и дорога наша закрыта...

— Хорошо,— сказал Эрьян, заинтересованный.— А мы как должны понимать нашу страну?

— Скажу, кэптн, скажу... Есть страны, не обремененные

---

[1] Лао-цзы — китайский философ VI—V веков до нашей эры.

ные духовными традициями, они молоды и деятельны. Есть и другие страны, где каждое природное явление обусловлено духовным, каждое человеческое движение участвует в этом духовном и каждый жест, даже каждое произнесенное слово приобретают высший смысл. Однако такие страны ныне стары и немощны. От нашей страны тех времен, когда она еще не утратила своей духовности, когда не было еще разлада между физическим пространством и его обитателями, сохранились единственные свидетельства в виде древних строений, в одном из которых стоим мы с вами.

— Как символ веры? Христианства?

— Нет, нет, намного больше... Они пришли из дальнего далека и значат больше, чем обязательная для нас религия... Они возведены из света армянских гор и скал, они представляют духовное единство страны и указывают дорогу, о которой мы говорим... Я бывал всюду, и всюду я искал их... Кое-где они еще стоят, как застывшая в камне песня, где-то их изранили века, ветры и люди, однако, целые или полуразрушенные, они являют собой некую духовную предпосылку, без которой нет и не может быть никакой жизни... Обнаженная ясность этих линий, в которых полет, сила, откровенная цельность, обретена после долгих и жестоких битв.— Задумался на минуту.— Цель каждого племени,— продолжал он,— распространять человеческое, светлое... Армянский собор был первым решающим шагом к этой цели. Была поднята лестница, но готовых подняться не оказалось... И вернулись ночь и хаос...

— Не наша вина... история!.. Внешние условия,— возразил Эрьян.

— Знаю, вошло в привычку так говорить. Неверно это... Буду прям, надвигаются новые бедствия, события больно бьют нас, и мы, изумленные и огорченные, спрашиваем — за что?.. За что? — вот в чем вопрос...

— За что? — прошептал Эрьян.

— За что?.. Еще недавно вы с волнением смотрели на эти лики святых... Я следил за каждым вашим движением, и если подошел к вам, то лишь потому, что сам тоже переживал секунды такого волнения... За что? — спрашиваете вы. За что?.. Спросите у них, и они вам ответят... Мое почтение, кэптн, мое почтение...

И Петрос Марк исчез. Растаял в темноте.

Эрьян смахнул со лба капли холодного пота и метнулся вон.

В нижнем дворе монастыря играла музыка, танцевали, хлопали в ладоши.

Горел огромный костер. Подхлестываемые легким ветерком, языки пламени бросали на танцующих и окружившую их толпу тревожные тени. Сверху все это казалось нереальным, почти как во сне.

Сошел вниз, захотел поглядеть на танцующих, чтобы отделаться от тяжелого чувства после путаных речей Петроса Марка. Хотя Эрьян не все понимал из того, что тот говорил, и не принимал его идей, эта неожиданная встреча нарушила его душевный покой.

Плясали.

Хозяевами ночи были музыканты. Острый зов зурны плыл над островом. Тмбук поддерживал его редкими ударами. Удар, молчок, опять удар.

Танцоры, заправив черкески за пояс, зажав в зубах обнаженные клинки, поигрывая в правой руке кривыми саблями, крадучись двигались так, будто сейчас, в этой тьме, подбирались к вражескому стану — напасть врасплох.

Замирали, вставали на носки, вглядывались куда-то в даль, кружились и, прочертив в воздухе саблей, снова скользили вперед.

Но вот музыкальные инструменты беспокойно оживились. Ведущая мелодию зурна запрокинула петухом гребень и по лестнице звуков поднялась на две ступеньки, прокричала, чуя приближающуюся опасность, взмахнула крыльями и позвала на помощь. Тмбук, с колотящимся сердцем, поддержал ее.

Танцоры прислушались, поняли. Выгнув спины, затряслись всем телом, выбросили вверх руки и, в радости, что смогут наконец показать свою удаль, мелко-мелко забарабанили ногами по земле.

Стоящие вкруг, ритмично хлопая, подбадривали их.

Танцоры воодушевились. Заскользили быстро-быстро взад-вперед и вот запрыгали, заходили и, ринувшись в атаку, налетели на воображаемых врагов. Разгоряченные, поиграли в воздухе сверкающей сталью, рубанули налево, направо и победителями пошли вокруг своих жертв, пошли в мужественном танце.

Эрьян наблюдал восхищенный. Где он, Петрос Марк, этот безумный философ? Пришел бы, увидел: танец тоже своего рода архитектура, и в нем отражены дух народа, его сила и молодость. Пусть придет Марк и увидит сам: можно ли сказать, что стар и дряхл этот народ?

А танец чем дальше — сложней и взволнованней.

Пляшущий свет костра расцвечивал танцующих. Языки пламени и за ними следом тени скользили по саблям, клинкам, лицам и все увеличивались, ширились. Движенья двоились, тени метались, ломались, взлетали вверх-вниз.

— Таш-таши! Таш-таши! — хлопками вторила толпа, увлеченная красивым зрелищем.

Большие миндалевидные глаза женщин горели. Хлопали что есть силы, наполняли воздух криками, старались поймать взгляд танцора.

— Таш-таши! Таш-таши!

Вскоре один из танцоров, стройный блондин, отделившись, закружился на месте, оглянулся, подкрался к одной из девушек и заходил перед ней, быстро-быстро перебирая ногами. Остановился, взялся обеими руками за висевший на поясе кинжал, сдвинул ступни, поклонился и широким жестом руки пригласил ее в круг.

Девушка вспыхнула, отодвинулась, движением головы отказала. Танцор сделал новые круги и снова вернулся к девушке. Стоящие сзади, подбадривая, подтолкнули ее. Девушка томно подняла руки, подалась всем телом и мелкими, скользящими шажками, склонив набок голову, поплыла, плавно водя руками, и дрожащей статуей застыла.

Желая обратить на себя внимание девушки, танцоры зашлись в бурном и жарком поединке. Один за другим бросились к ней, стали ходить вокруг, выписывать труднейшие па, заскользили и стали ждать, когда она пожелает сделать выбор. Вот и последний юноша взлетел и опустился,— девушка, словно испугалась чего-то, широко раскрыла дрожащие руки и очнувшейся над водой стремительной дикой уткой взмыла, поплыла.

Юноши все разом бросились следом.

Эрьян — потому что было не очень светло и перед ним стояло немало народу — поначалу не видел лица танцовщицы. Но когда она пронеслась почти что рядом,— с удивлением узнал Зварт.

Пришел в восторг, но вместе с тем опечалился. Опечалился от зависти: словно что-то угрожало самому дорогому.

Но как прекрасна была в эту минуту Зварт, как прекрасна!.. Танец преобразил ее. Ее гибкое тело лучилось, пело. То она напоминала одинокую птицу над вершинами гор, то нимфу на берегу, освещенную луной. Вот она поднялась на носки, торжественная и серьезная. Скользит и, кажется, не касается земли, томится, мечтательно раскачивается.

Эрьян жадно искал ее глаза.

Но, захваченная танцем, Зварт проносилась мимо, не замечая Эрьяна. Опьяненная невесомостью своего тела, ближе к воздуху, чем к земле, она почти порхала, уклоняясь от преследующих ее духов. А когда, перемахнув через высокие языки пламени, кто-то из парней наконец отрезáл ей путь, она ветерком поворачивала назад, наклоняясь то влево, то вправо, или, расправив руки, прокладывала себе дорогу в группе танцоров и, снова свободная, скользила, удаляясь. «Никому не дано взять меня!.. никому!..» — как бы говорили ее движения.

— Таш-туши! Таш-туши! — скандировали собравшиеся.

— Вот это девушка, а! — слышались восклицания.

— Огонь! Просто огонь! Для такой девушки и чуда совершить мало будет, клянусь! — войдя в раж, драл горло какой-то парень.

Танец окончился. Шумно хлопали.

Тут же начались другие пляски. Эрьян, воспользовавшись перерывом, выбрался из толпы, бросился искать Зварт.

Зварт сидела у скатерти вместе с танцевавшими с ней парнями. Как раз пили за ее здоровье. Высокий, широкоплечий юноша, с лицом, исполосованным красными шрамами, сероглазый и рыжеусый, подняв бокал, говорил, обращаясь к ней.

Зварт, с пылающим лицом, опустив глаза, улыбаясь, слушала.

Сердце Эрьяна сжалось. Захотелось скорее уйти. Прошел, скрываясь за деревьями, спустился к воде. Необъяснимая меланхолия овладела им. Была бы возможность — немедленно покинул бы остров и, подобно молодому морскому офицеру, следуя за звездами, пешком

отправился б в Ереван. Бродил бы среди ночи, среди суровых и грозных теней гор. Сердце его разрывали противоречивые чувства. «Черт подери,— подумал он,— надо сосредоточиться, собраться с мыслями».

Впечатления и переживания последних дней налетели на него, как неожиданный ветер на море... Надо было крепче сжать в руках руль, не спускать глаз с компаса... Ветер — признак близкой опасности... И в конце концов, он прибыл сюда по делу. Надо же было, чтоб их глаза встретились, чтоб эта девушка вдруг заняла такое место в его сердце...

Набрал полные пригоршни мелких, гладких, разноцветных камешков и погладил их. И получил от этого почти физическое удовольствие. Озеро тихо плескалось у его ног. Он расчувствовался.

— Здравствуй, милый Севан,— прошептали губы.

Сказал, и сердце наполнилось несказанной радостью. Как хорошо, что озеро это так велико, так широко и глубоко. Народ имел право назвать его морем. Севан был не просто огромным синим зеркалом, заброшенным высоко в горы. Он мог быть и бурей с могучими легкими, мог дышать штормами...

Море!

Конечно, сравнительно небольшое: ну и что из того? Все равно — бездна, часть большой бездны, готовой проглотить Айастан... И эти горы, эти скалы, как это ни странно, частицы той же большой бездны. «Не как физическое пространство, а как некую единую жизненность»,— говорил этот странный Марк. Теперь понятно, что хотел он этим сказать. И еще говорил: «где каждое природное явление обусловлено духовным...» Понятно теперь и это. Да, Петрос Марк, да, наша страна — эти горы, скалы и равнины и это море — в самом существе нашем, в нашей тяге к целостности. А народ, Петрос Марк, всегда молод душой и силен, если только он един и стоек в выражении своего свободолюбивого духа.

Сомнений нет. События, которые нас настигают, готовились в нас многие годы. Так, его прошлое, годы странствий на морях привели его сюда. И кажется теперь, что его мучения, его неудовлетворенность, его нескончаемые поиски внутренней силы вот-вот близки к разрешению.

Не так ли, Севан, милый? Не так ли?

Вопрос в том, что наша повседневная скука, бесконечная цепь налетающих на нас мелких забот мокрой губкой стирают главную линию нашей жизни, которая возникает в нас и связует дни и ночи, голоса и молчание. Мы не видим ее. Чувствуем и не улавливаем. Не читаем начертанную в нас пламенными буквами великую книгу.

По крайней мере, прозрения редки. Бывает — в дни глубочайшего одиночества — внутреннее это начало озаряет вдруг наше сознание и, увы, тут же исчезает.

Вот он на Севане. Внешне кажется это случайностью. В действительности же — это необходимость. Озеро ждало его, и он, Эрьян, должен был прийти к нему.

Озеро давно принимало участие в процессе его внутреннего становления. И если он приехал, то приехал встретиться с самим собой. Приехал претворить себя полностью.

...На берегу напротив, вдоль горизонта, медленно светлело.

Луна.

К небу прилепилась блестящая медная пластинка. Озеро затянуло металлическими отблесками. Искрящимися ножницами ветвей деревья нарезали на свету серебряные листья.

«...А также,— продолжал думать Эрьян,— неожиданная эта встреча с девушкой... Под одной крышей находился с ней несколько дней и ночей и ничего не знал, ничего не видел, и вот... Как красива была Зварт!»

Звезды отступили. Все задернулось, впало в забытье. В ту же секунду из-за деревьев послышалось слитное топанье сотен ног. Донг-донг, донг-донг, донг-донг! Словно подземные духи барабанили по острову. Металлический чей-то голос запел. Группа подхватила припев. Топот рос. Глухой, сильный, упорный. И снова зазвенел голос солиста.

Этот голос упал Эрьяну в сердце и всколыхнул его. Поднялся, пошел во двор монастыря и стал наблюдать. Армянский хоровод. Женщины, мужчины, старики, молодые, взявшись за руки, волнообразно ходили вправо и влево, скользя вперед и назад, топая ногами, подпрыгивая,— танцевали и пели.

Зварт, переводя дыхание, бросилась к нему:

— Ах, господин Эрьян, где вы были? Искала вас повсюду... Ну, пошли, присоединяйтесь к нам...

— Я не умею танцевать,— сказал Эрьян, отступая. Он говорил неправду, потому что ловко танцевал и любил народные танцы.

— Идемте, прошу вас. Увидите, как это просто...

Потащила за руку в круг.

— Вот так: раз правой, два левой... раз правой...

Ноги Эрьяна машинально последовали движениям других. Через минуту все его тело стало легким, как если бы его подхватил ветер. Показалось, что строения, церковь, остров и озеро, слитые воедино, закружились и запели.

Зварт раскраснелась, глаза расширились. Ее тело раскачивалось, подобно иве, тронутой ветерком.

...Раскачивались и луна, и крапленное серебром небо.

7

Почти каждый день к двум часам Эрьян направлялся к большому зданию гимназии. С карманами, набитыми картами, расчетами, планами, справками, он ждал, устремив нетерпеливые глаза на ворота, откуда обычно выбегала Зварт.

Не проходило и десяти минут, как тихая улица наполнялась шумом, криком, гвалтом. Это выбегали ученики дикой ордой. Бегали, прыгали, играли, дрались. Улица чуть утихала, когда выходили учащиеся старших классов. Эти большей частью, окружив учителей, горячо спорили, шутили, громко смеялись.

Эрьян, увидев их, поворачивался и медленно удалялся. Не хотел, чтобы знали, что поджидает Зварт, и Зварт не выказывала никакого нетерпения: продолжала беспечно разговор, не торопилась. Но когда доходила до угла улицы и замечала удаляющегося и все оглядывающегося через плечо Эрьяна, сердце начинало колотиться сильнее. И теперь, уже не в силах скрыть своего нетерпения, прижав к груди учебники, с горящими щеками, быстрым шагом нагоняла его.

Эрьян обнимал ее глазами.

— Ну, говори скорее, какие новости? — спрашивала Зварт и тянула его за руку.

— Посмотрим... изучают. Долго говорили с секретарем министра. Толковый человек... Дело в том, что все

забирает армия... Стеснены... извне денег не поступает, а в стране голод. Я, разумеется, разъяснил всю важность моего предложения... Товары перевозить, перебрасывать людей... ясно ведь? Представил нашу подробную памятную записку: сказал — прочтут. Как знать?

— Значит, хорошо, очень хорошо.

И снова вопросы. Все хотела знать.

И о себе рассказывала.

— Знаешь, на уроке тригонометрии выглядела довольно жалко... Не могла ответить на самые простые вопросы... Учитель был взбешен... «Вместо того чтобы заниматься посторонними делами, могли бы уделить время своим урокам». Когда он это сказал, весь класс стал смеяться. Какие негодники...

— Ничего, пусть смеются. Наступит день, увидят. А уроки, что и говорить, следует готовить. Сегодня вечером будет время, посидим вместе.

На улице знакомые с интересом расспрашивали:

— Ну, расскажите, как дела подвигаются? Вам удалось что-нибудь сделать?

— Хорошо... Уверен, должно получиться,— бодро отвечал им Эрьян.— Пытаюсь убедить.

В городе уже говорили о плане Эрьяна. Кто одобрял, а кто был против, одни верили, другие нет.

Скептики чуть щурили глаза и хитро улыбались.

— Послушайте, скажите-ка толком. Что это за затея с кораблем? И скажите, пожалуйста, кто этот человек, Эрьян? Откуда взялся? Сегодня кому не лень торгуют патриотизмом...

Эрьян, который по наивности и простодушию рассказывал о своем деле всем, нервничал и сердился, слыша подобные разглагольствования скептиков.

— Что это такое? Коли так, брошу, уеду...

Зварт обращала к нему свои большие, красивые глаза и утешала:

— Они такие... это порода такая. Не стоит обращать внимание: мелкие людишки, пусть говорят что угодно.

Голос дрожал от волнения.

Эрьян слушал ее и снова брался за дело. Ходил из учреждения в учреждение, объяснял, убеждал, спорил.

Пусть знают только: сам он заинтересован в этом лишь морально. Смешно было ждать от подобной затеи материальной выгоды. Просто хотел помочь своей стране.

Известно ведь: когда хотят заселить пустующие земли, прежде всего создают пути сообщения.

— Об этом, господин Эрьян, какие могут быть разговоры... Все мы в принципе согласны с вами. Но ведь окиньте взглядом границы наши, взгляните на эту нищету внутри...

Время шло. Ничего не менялось. Эрьян приходил в кабинеты чиновников, снова и снова твердил свое, доказывая необходимость организации пусть самого скромного судоходства на Севане. Он говорил с такой убежденностью и подъемом, что должностные лица не находили сил выпроводить его сухим отказом.

— Может быть, вы правы. Зайдите через несколько дней, посмотрим, что можно будет сделать.

Из кабинетов выходил, вытирая пот со лба. Бродил по улицам, разговаривал сам с собой, да так, что многие прохожие думали, что прибывший капитан тронут малость.

Останавливались и с грустью смотрели ему вслед.

По вечерам приносил на круглый стол географические карты и, собрав вокруг всю семью Зварт, рассказывал о мореходстве, о выгодах его. Мечтал вслух о времени, когда поведет первый корабль по водам Севана.

Керосиновая лампа от потолка бросала неровный свет. Со стен смотрели спрятавшиеся в полутень удивленные глаза католикоса Хримяна, Лорис-Меликова и Лазарева. Огромные часы в углу временами издавали похожие на скрип телеги звуки.

Стоящая рядом с Эрьяном Зварт, побродив мечтательными глазами по карте озера, радовалась, оглашала комнату громкими восклицаниями. Отец, господин Артем, ткнув костистым указательным пальцем в точку на карте, делился не относящимися к делу воспоминаниями молодости и злился, когда его перебивали.

— Но ведь все, что я говорю, может однажды пригодиться. Не понимаете!

Мать, госпожа Арусяк, уставшая от дневных забот, накинув на плечи большую шаль, силилась не закрывать глаз и не зевать.

Эрьян, запустив в волосы правую руку, нахмурив лоб,

бегая глазами по карте, рисовал картины недалекого будущего.

— Итак, корабль уже на воде, у берегов Еленовки, пары подняты. Третий гудок. Еду! Еду! Вращается винт, вода бурлит, и вот пошел...— Глазами скользил по лицам присутствующих, счастливо улыбался.— Отчаливаем... Народ на берегу поднимает шум, приветствуя нас... Идем мимо острова. Монахи столпились на холме, опешившие, восхищенные. Вблизи если посмотреть, их губы дрожат, шепчут псалмы и молитвы, а глаза... глаза — точно маяки. А корабль весело, весело бежит, рассекает воду, острым носом рубит мелкие волны, прокладывает дорогу. И вот мы выходим в Большой Севан, в широкую часть озера...

Зварт волновалась вместе с ним. Не будь родителей, она обняла бы его, прижалась к его широкой груди.

— И вот мы в нашем море,— продолжал Эрьян.— Небо, вода, вдали — убегающие безлюдные берега. Но минутку: тут могут быть возражения. Как вы думаете, какие могут быть возражения, а?

Ждал. Ждали все.

— Могут спросить: а подойдет к берегу, куда он пристанет, корабль-то? Не так ли? Вопрос естественный и логичный... А мы об этом уже думали и ответим: вот, взгляните, на этой карте указана выступающая коса... небольшой полуостров. Здесь мы вобьем бревна, сделаем насыпь, накатим камней — будет пристань, и корабль сможет подойти к берегу. Ну как?

— Такие вещи вам и знать лучше,— с достойной скромностью заметил господин Артем,— в морских делах мы не много смыслим...

— Ах, был бы здесь мой Манук,— вставила госпожа Арусяк,— он бы вам дал такие сведения. Вот уже два года нет ему покоя: с одной войны на другую кочует.

— Мамочка,— возражает ей Зварт,— Манук сухопутный офицер, а ты хочешь, чтобы он в морских делах разбирался.

— Разбирается! — стояла на своем мать.— Мой сыночек, умереть мне за него, во всем разбирается.

Эрьян терпеливо ждал, когда кончат, и снова продолжал:

— Дело в том, что глубина озера не во всех местах измерена... А это очень важно, очень! Представьте, мож-

но ведь сесть на мель, напороться на какой-то глупый обломок подводной скалы. И потом иди, тащи осла из грязи, как любят у нас говорить. Плохо дело, плохо! Надо будет замерить кое-где глубину, нанести на карту, тем более что наше озеро не похоже на море, полно чертей...

— Точно так: говорят, озеро — это женщина, а море — мужчина. А женщина, сами знаете...— шутил господин Артем.

— Это уже новость... Теперь озеро стало женщиной... Боже, чего только не прицепят к женщинам,— полушепотом жаловалась госпожа Арусяк.

— Мамочка, папа же шутит, не видишь?

— Знаю я его шутки!.. Говорит, озеро кишит чертями, а сам, спроси его, не в дружбе ли с теми чертями?..

— Погодите, погодите,— поднося руку ко лбу и повышая голос, вмешался Эрьян,— есть один очень важный вопрос...

Так продолжалось долго. Потом глаза господина Артема застывали, ничего не воспринимая, а неодолимые зевки госпожи Арусяк начинали угрожать воодушевлению Эрьяна.

— Ну ладно, об остальном поговорим завтра...

Семья расходилась.

Зварт шла в свою комнату, садилась за раскрытые учебники и, зажав голову в ладонях, думала совсем о другом. Ночь и щемящие сердце чувства набегали на нее сладкой истомой. Тело напрягалось. Глаза грезили.

Эрьян шагал по комнате из угла в угол. Был поздний час, не спалось. Знал: если ляжет, будет ворочаться часами. Опускал револьвер в карман и на цыпочках выходил на улицу.

Тьма крепко обнимала его.

Одинокие шаги гулко отдавались по тротуарам. Далеко, как всегда, неизвестные люди методично расстреливали ночь. Порой выстрелы подходили так близко, что он останавливался, инстинктивно тянул руку к карману, ждал.

Тяжелые тени беженцев, притулившихся у стен, тихо двигались. Долетали глухие крики. Словно ночь, катаясь в мучениях, задыхалась.

Несмотря на это, небо кишело звездами.

Чем дальше, тем больше торопил шаги. Грудь давило, и мысли путались.

На углу новой улицы, куда свернул, со столба слезилась тусклая лампа. Вдоль стен шевелились тени.

— Милый господин, подайте милостыню...

— Милый господин, не дайте умереть... помогите нам...

Из вскрытых светом лампы этих могил торчали костлявые руки, высовывались лица с запавшими глазами.

Эрьяну хотелось поскорей пройти, не видеть.

Он шел в городской клуб, где надеялся встретить людей, полезных для его дела.

Состоятельное сословие города отказало здание своего клуба новосозданному буржуазному парламенту. Клуб перешел в другое помещение.

Эрьян входил сюда впервые.

У дверей клуба светила большая лампа. Человек на дверях пристальным взглядом провожал посетителей. Эрьян прошел по длинному полутемному коридору, открыл какую-то дверь и в нерешительности остановился.

Запахи дыма, хороваца, кожи и вина толкнули его назад. Отдавало винным погребом. Тем не менее подавил отвращение, шагнул и, сощурив глаза, осмотрелся. Сквозь сизый дым ничего не мог различить. Пошел дальше. Глаза стали понемногу привыкать. Осмотрелся.

Довольно просторный зал — полустойло, полуказарма. С почерневших стен свисали несколько ламп и скрещенные флаги буржуазной республики. За множеством столов играли в карты. Слабый свет и бросаемые им тени вытягивали лица, носы собравшихся, желтили их, обнажали вокруг толстых губ глубокие морщины, втянутые щеки. Глаза игроков горели. Бегающие, ненасытные, темные. Заметил и их руки — ловкие, нервные, вздрагивающие.

Играли сосредоточенно, увлеченно. То шумно спорили, то кипятились.

— Двадцать миллионов...

— Пятьдесят миллионов...

Денежные знаки республики катились в пропасть.

В глубине зала, за столом, уставленным бутылками и закусками, сидело много офицеров. Ели, пили без шума и без обычной живости: словно по принуждению.

Случалось, поднимался один и по-русски говорил речь. Безуспешно пытаясь изобразить искренность и воодушевление, вовсю старался приукрасить ее пышными

хвалебными словами. Другие, отложив вилки, внимательно слушали.

Эта и следующие за ней речи были адресованы сидевшему во главе стола — невысокому, чернявому человеку. Этого человека в полувоенном-полуштатском называли «командующий» или «герой». И каждый раз, когда к нему обращались так, глаза его сверкали, он выпячивал грудь и улыбался.

Женщина рядом с ним, с миндалевидными глазами, мясистым лицом и полными влажными губами, пожирала его взглядом, восторгалась.

«Герой» по временам следил краем глаза за игроками, будто говорил: «Видите? слышите?»

Кончалась речь, офицеры, как один, подымались и заученно-механически кричали «ура!».

Садились и продолжали есть.

— Десять, двадцать миллионов,— орали игроки.

— Кавалерийская дивизия приветствует храброго командира, который...

— Ура! ура! ура!

«Герой» вскакивал с места, махал клинком вправо-влево, кланялся.

Эрьян, придавленный впечатлением, отошел. Проходя меж столиков, с удивлением заметил, что кое-кто из игроков смотрит на него со скрытым любопытством. Что-то нашептывают своим соседям и хитро улыбаются. Недобрые были улыбки. Когда это повторилось, он разозлился и, сунув руки в карманы, сердито глянул на шептунов.

Заметили и уткнули глаза в карты.

Эрьян походил, оглядел внимательно всех и, не найдя тех, кого искал, решил уйти.

Это общество хищников было отвратительным.

Не успел выйти — со всех сторон потянулись к нему руки за милостыней. Лампа у входа выхватила лица. Дряблые, морщинистые лица подростков; худые руки — одни кости.

Бросил им бумажных денег.

И началась такая драка, такой гвалт. Мальчишки стали тузить друг друга. Если кому удавалось схватить



бумажку — остальные собачонками налетали на него, кусали, бросали на землю и, сцепившись, катались, продолжая борьбу. Другие, протягивая к Эрьяну руки, продолжали плаксиво вымаливать.

Эрьян смекнул, что, если тотчас не уйдет, избавиться от них уже не сможет. И, оттолкнув детей, пошел быст-

ро, свернул за угол на первую же улицу и, заметая следы, спрятался за толстой стеной какого-то дома с воротами. Знал, что мальчишки будут преследовать его.

Не прошло и нескольких секунд, а его уже искали.

— Стойте,— сказал один,— он должен быть где-то здесь... Скорее займите все углы и смотрите, чтобы не ушел... Новый человек, видно... Карманы набиты...

Эрьян улыбнулся, выглянул из-за стены. Это сказал бледный от чахотки верзила с хриплым голосом и впалой грудью. Его друзья, которых нельзя было разглядеть, тотчас исполнили приказание, разбежались и заняли перекрестки ближайших улиц. А он сам, вместе с остальными, стал обыскивать ночь.

Эрьян вжался в стену.

Но уже через несколько секунд жилистый малец с бритой головой чутьем, присущим лишь попрошайкам, ясновидцам да охотничьим собакам, учуял, на цыпочках босых ног подкрался к воротам и, заметив Эрьяна, зашумел:

— Вот он, господин, здесь он, здесь...

Все бросились к нему.

Эрьян вышел из своего убежища и спокойно пошел. Равнодушно, безразлично. Хотя и знал, что уличные эти мальчишки могут сыграть с ним и не такую шутку.

Они шли за ним толпой. Умоляли, плакались. В то же время старались обойти его со всех сторон и отрезать пути отхода.

— Добрый господин, христа ради, подайте что-нибудь...

— Господин, подайте милостыню...

— Один миллион, господин, всего один миллион...

— Нет у меня больше,— запротестовал Эрьян.— Все, что было, отдал... Ну, уходите!.. Уходите, говорю вам!.. Стыдно...

— Нам ничего не досталось, господин, всё другие забрали.

— Завтра... сейчас у меня нет денег, понимаете?..

— Нам ничего не досталось... Бог свидетель, нам ничего не досталось... Жалко, что ли, господин, подайте миллион.

Обступили плотно: шагу не сделать.

— Отойдите, вам говорю! Отойдите!..

Эти босые оборванцы, с большими глазами, осипши-

ми голосами, упорно шли за ним, дергали за край пиджака и сужали вокруг него кольцо. И число их росло с каждым шагом. Откуда они только брались!

Когда дошли до конца улицы и Эрьян, пользуясь темнотой, захотел оторваться от них, парни стали угрожать. Уже не просили, а требовали:

— Лучше отдай, от нас не уйдешь...

Стали шуметь, кричать, глухо рычать ругательства.

Проходя мимо полуразрушенного дома, попытались втолкнуть его туда. Было ясно: готовили нападение. Несколько подростков держали его за руки, в то время как другие, сжав маленькие кулачки свои, смотрели на него свирепо, злыми глазами.

— Божий человек, говорим, ничего нам не досталось...

Эрьян почувствовал себя в западне. Пришла брезгливость: что-то липкое пристало к телу и сковало его.

— Уйдите! уйдите!..

— Лучше дай что-нибудь, лучше дай...

Эрьян резко остановился, сильным рывком высвободил руки, отскочил назад и, доставая из кармана револьвер, заорал:

— Отойдите, или стреляю...

Толпа от неожиданности отпрянула, заколебалась и, видя, что не стреляет, снова пошла на него.

— Ладно, господин, ну если хотите убить нас, убивайте,— притворно плаксивым голосом сказал тот высокий, который, кажется, и был их предводителем,— убивайте!.. Сирот бить не бог весть какая храбрость... После турецкого ятагана только армянская пуля может нас избавить... Бейте!..

Несколько человек зарыдали в голос.

Эрьян опустил револьвер.

— Говорю же вам, нет при мне денег... Поймите! Завтра вот встречу вас, опять дам что-нибудь...

Почувствовал угрызения совести. Что за мысль была такая — угрожать револьвером этим несчастным подросткам? Подошел к ним и хотел спрятать оружие в карман. Только хотел сделать это, как острая боль пронзила руку. Двое запустили ему в руку зубы, другие вцепились выше, пытаясь овладеть револьвером. Кто терзал пиджак, а кто, обвив ноги, пытался свалить его.

Завязалась глухая борьба.

Свободной рукой Эрьян нанес несколько ударов, вре-

зал налево и направо, пнул ногой и, когда наконец вырвался, отскочил и стал стрелять в воздух.

Парни рассыпались.

— Мерзавцы! Мерзавцы! Подойдите только, я вам покажу.

Ему ответили камнями.

В окне ближайшего дома посыпалось стекло. В грудь ему ударился камень. Побежал и свернул за угол. Камни продолжали лететь. Спрятался под воротами, в углублении. Камней стало больше. Поднял револьвер и снова стал стрелять в воздух. Ему ответили дружным хохотом. И этот хохот отозвался эхом в пустынности улицы.

Эрьян задрожал всем телом.

Показалось ему, что весь этот город, вся эта ночь и все это небо, сплющившиеся под тяжестью тьмы дома, покосившиеся и ослепшие фонари, подпертые бревнами двери, эти разбухшие от сырости окна, эти полные трусливого молчания улицы и переулки — все, все, что обступило его как дурной сон, с хохотом катится, издевается над ним, издевается над всем, над жизнью...

— Вот так. Надо смеяться! Надо смеяться! — сказал кто-то и засмеялся.

Эрьян изумленно обернулся. Сгорбленный коротышка старик. Длинные руки растопырены в стороны, как крылья. Тонкие ноги. Голова сплющена. Он изредка поднимал лицо, показывая похожие на рану глаза, широкий рот с отвислыми губами, который никогда не закрывался.

Эрьян в ужасе отшатнулся. Старик подался вперед, подошел к Эрьяну вплотную, продолжая смеяться.

— Кто вы? Что вам надо? — прошептал Эрьян и отодвинулся снова.

— Так,— ответил старик,— так... посмеиваюсь... Не узнаете? На улицах я играю на дудочке... Меня каждый знает... Я — дударь республики.

Поднес дрожащую руку к груди, пошарил и выудил из-под рубахи маленькую дудку.

— Таким я родился. Играю...

Задрал лицо, и в глазах его вспыхнули два светлых огонька.

— Играю!.. О делах мира сего, о страданиях, о горе... Вот послушайте...

— Нет,— взмолился Эрьян,— ради бога, в такой час... Разве время играть?..

— В такой час?.. А где оно, время?.. Нет больше ни ночи, ни дня... Есть великий плач, великая скорбь... Они бродят по миру и кричат: играй о нас, играй о нас, играй о нас... Вот вы послушайте...

— Нет, прошу, нет...

И Эрьян повернулся и побежал.

И пока бежал, этот коротышка старик был рядом. Говорил, хохотал, жаловался.

И так до самого дома.

8

День выдался ветреный и дождливый.

Холодный и какой-то бешеный ветер подхватывал на лету капли дождя, бросал их пригоршнями на стены домов и крыши, завывал в дымоходах, потом, вихрясь по перекресткам, налетал волнами.

И хотя Эрьян уезжал в Батум завтра вечером, сегодня чуть свет поднялся. В свою старую дорожную сумку уже несколько раз складывал вещи, доставал снова, опять складывал. Ходил по комнате из угла в угол, поглощенный мыслями.

Он знал, что впереди много забот, много трудностей его ждет. И все же радовался, что наконец уедет. По крайней мере, первое действие драмы, им самим вызванной к жизни, подходило к концу. Уж очень устал от бесконечной беготни по заваленным случайной мебелью и заполненным случайными людьми канцеляриям. Устал от просьб и обращений к призванным на шаткие государственные посты и ничего не смыслящим в деле бывшим учителям, студентам, писарям. Везде старые столы с зеленым верхом, шаткие стулья, уродливые кресла, сидящие за редкими пишущими машинками говорливые, кокетливые девицы да лица с мрачными бровями, ленивыми движениями и скрытными взглядами.

Его стало уже тошнить от этих канцелярий с удушающим дымом и крикливыми голосами, когда однажды, проходя улицей мимо низкого и непривлекательного строения, на пороге которого стояли двое солдат, он заметил старого знакомого.

— Ба! Кого вижу! — воскликнул он.— Ты, Перонян,

здесь? Как это нигде, ни разу я не встретил тебя, дорогой мой актер?

— Какой там актер? Не до этого...— ответил тот с грустной улыбкой.

Перонян был человек лет сорока, широкий в плечах, рослый, с большой головой, мясистым лицом и медвежьей походкой. Нос у него был круглый, черты лица резкие и голос глухой, бездонный. На сцене он играл царей и почтенных старцев. Единственной страстью его было хорошо поесть и хорошо выпить.

«Честный человек и хороший товарищ»,— говорили о нем.

— Какой театр по нынешним временам? Трагедии сошли со сцены прямо в нашу жизнь... Всюду пахнет порохом, всеобщая обездоленность, политические диковины... Наш скромный театральный зал оккупировал парламент, где прибывшие из провинций безвестные люди произносят шекспировские речи, в то время как я бросил сцену и служу новосозданной республике.

Повздыхал.

— Республике служишь?.. Да чем же ты занят? — спросил Эрьян.

— Видишь здание, где стоят солдаты?

— Вижу...

— Я там заведующий...

— А можно узнать, чем заведуешь?

— Брат,— смутившись, сказал Перонян,— как это тебе объяснить? В этом богом забытом здании была старая типография, где некогда печатали объявления, маленькие юморески и календари, а теперь... ты только не пугайся... теперь правительство забрало ее и печатает деньги республики...

Сказал, покраснел и расхохотался.

— И самое прискорбное в том,— добавил он,— что для печатания этих денежных знаков нет бумаги... Представь себе, нет бумаги, да. Вот уже два дня бьюсь, думаю, думаю... Это проклятая машина: что ни подложи ей — все пожрет... Ну сущий дракон! Не насытить никак. Министерство финансов без конца требует новых серий: миллионы, миллионы, миллионы... И до того дожили, что сегодня бумага стоит дороже отпечатанных на ней денег... Двоих в Тифлис послал за бумагой, но и там грузинское правительство запретило вывоз, потому что сами

без конца печатают... В безвыходном положении, придется самому ехать и тайком вывезти... Вот так...

Эрьян не удержался от смеха.

Перонян посмотрел на него грустными глазами, кашлянул и сам засмеялся.

— Вот не знаешь: смеяться или плакать...

— В такие времена живем,— сказал уже серьезно Эрьян,— что начни человек плакать, так и не перестанет... Давай лучше пойдем, посидим где-нибудь, поговорим...

— Видишь ли, у меня свидание с самим главой правительства.

— С председателем? — заинтересовался Эрьян.— Если бы и мне удалось с ним встретиться... Брат, просто мучение какое-то...

И, взяв Пероняна под руку, пошел быстро-быстро, рассказывая о своем плане и всех трудностях.

Через полчаса были у председателя.

Невысокого роста, подвижный, с белой бородкой, тихим голосом и пожелтевшими от табака усами человек слушал их внимательно, расспрашивал: что да как. Подумал, покурил, опять подумал и продиктовал секретарю рекомендательное письмо к консулу в Батуме.

— Большего сделать не могу,— сказал он, подняв руки к небу.— Желаю удачи...

— Вот видишь! — воскликнул Перонян, когда они вышли из кабинета.— Тебе легче будет достать корабль, чем мне бумагу... Завтра выезжаю в Тифлис.

— А я завтра же — в Батум.

— Отлично. Полдороги вместе проведем...

От волнения всю ночь не сомкнул глаз.

Должен был вернуться в Батум, должен был снова увидеть пристань, старых знакомых, старых друзей и еще свой танкер...

Должен был увидеть Дашеньку.

Дашенька!.. А Зварт?.. Одна напоминала ему море. Бескрайний простор, гудки пароходов, шум машин, тепло прощальных минут... Другая — озеро. Одиночество, смотрящее синими глазами в небо, очаровательное видение на высоте двух тысяч метров...

Сидя на постели, стал ждать рассвета.

Больше не терпелось.

Растворил окно и выглянул. Холодный ветер ударил в лицо. «В горах выпал снег»,— подумал он.

Ждать не любил. А ждать надо было до вечера. Поезд отходил раз в день и, случалось, даже не отходил вовсе. А еще бывало, отходил и до места не добирался.

Все было неустойчиво в этой стране.

Наконец решил зайти за Зварт в гимназию. Небо затянуто и мрачно. Дует ветер. Ветер с долгим дыханием, обнимает, мнет, кусает.

На улицах безлюдно. Редкие прохожие жмутся к стенам, торопятся.

Беженцы скучились в воротах домов. Кое-где на перекрестках они развели огонь и грелись вокруг него на корточках.

Что будут делать, когда нагрянут настоящие холода? Даже теперь много смертей. Каждое утро приезжают на телегах и убирают с улиц трупы. Эрьян не раз видел это... Трупы, прежде чем бросить в телегу, раздевали. И часто дрались из-за этих лохмотьев. Чем дальше, тем тяжелее шла телега: груда голых тел росла, торчали в стороны желтые ноги и руки...

Эрьян ускорил шаг и подставил лицо ветру. Дошел до гимназии — бомбой взорвались голоса учеников. Нетерпеливыми глазами окинул улицу. Младшие классы. Зварт не было.

— Мальчик, а мальчик, скажи, восьмой уже вышел? — спросил у проходившего ученика.

— Нет,— вздернув нос и хлопая глазами, ответил малыш,— у них еще урок... моя сестра учится с ней в одном классе.

Сказал и убежал.

Эрьян собирался уже повернуть назад, как увидел бегущую к нему Зварт.

— Удрала, удрала из класса! — кричала она еще издали.— Сегодня ты уезжаешь... У нас мало времени...

От холода и волнения щеки ее раскраснелись. Взяла Эрьяна под руку, крепко прижалась.

— Не могу представить, как тебя оставлю,— сказал Эрьян, глядя в ее наивные, большие глаза.— Трудно даже на время расстаться с тобой... Еду ради нас, ради успеха нашего дела... Ах, милая, если удастся мне, если удастся...

Зварт обхватила его руку обеими руками и стиснула что есть силы.

— Вот придет весна, сдам последние экзамены... А к тому времени и ты воротишься с ним...

— С кем?

— С кем же еще? С нашим кораблем. И я уже буду вольная гражданка... Лишь бы, бог дал, новых бедствий не случилось...

— А какие могут быть бедствия?

— Кто знает? В школе сегодня говорили о войне. Вот уже сколько лет воюем, все воюем...

— Спрошу об этом Пероняна: он в курсе всех дел. Вечером заедет за мной, в сопровождении двух солдат... А коли что случится, знай, сразу же приеду к тебе... Давай поговорим о другом, хочешь?

— Хочу.

К их радости примешивалась грусть.

— Куда идем? — спросил Эрьян.— Домой?

— Нет, не домой,— запротестовала Зварт.— Знаешь что, давай пойдем на Бульвар.

— На Бульвар? В такой холод?..

— Мне нравятся жалобы осеннего ветра в деревьях... потом, в такую погоду там никого не будет — только ветер, шум деревьев да мы...

— Ты настоящая поэтесса...

— Я люблю нашу страну. Не променяла бы ее ни на одну другую... Вот пойдет снег: под снегом мир меняется, кажется — небо сходит вниз и обнимает все своими белыми крылами...

— В Батуме всегда солнце, когда не льет. А как зарядит дождь, конца ему нет. В так называемых субтропиках климат мягкий, но непостоянный... Нет, я предпочитаю наш суровый, бодрый и добрый климат...

— Ну постарайся вернуться скорее, насладимся нашей зимой.

— Не от меня же это зависит. Найти корабль, купить, погрузить на платформы, ввезти в Армению и ждать весны, чтобы поднять в горы... Как подумаю, страшно становится.

— Страх? Не ожидала от тебя...

— Ну, иногда страх умножает силы...

Дошли до Бульвара и, к своему удивлению, отметили,

что он далеко не безлюден. Группками, как всегда, стояли люди и говорили, спорили.

— Ну раз так,— обиженным голосом сказала Зварт,— лучше уйдем.

— Нет, погоди, узнаем, о чем говорят... Бульвар — это барометр ереванцев.

Постояли, послушали.

— Не понимаю,— горячился небольшого роста человек в летах,— не понимаю, чего ради все надо видеть в черном цвете? От нашей делегации в Париже получено письмо: пишут, Вильсон заявил, что освобождение армянских провинций дело ближайших дней и Вильсон самолично будет решать вопрос о границах... Турецкие палачи должны быть наказаны, награбленные богатства — возвращены, и Америка возьмет Айастан под свой протекторат. Союзные правительства обещали самым торжественным образом и свои обещания выполнят: на этот счет сомнений быть не может. Представьте только, такая страна, как Америка...

— Не даром же столько крови пролито...

— Я и говорю... Когда державы обещают — выполняют...

Люди стояли, слушали — верили. После таких ужасов и огорчений они нуждались в слепой вере для поддержания своего существования. Разглагольствования местных говорунов украшали огненными флагами еще не утраченную надежду.

— Нет, столько крови, столько жертв не может пропасть даром...

Ветер шумел в деревьях.

На близком отсюда здании парламента неспокойно полоскался трехцветный флаг буржуазной Армении.

— Ну, пошли,— предложила Зварт,— все время об одном и том же говорят.

— Подойдем еще к той группе, пожалуйста. Интересно ведь...

В конце главной аллеи стояла большая группа.

Горланили какие-то люди, прибывшие с Северного Кавказа. Высокий человек, худой и нервный, горячо и напористо говорил:

— Как жаль, что история ничему нас не научила, как жаль... Мы жуем гашиш, который бросают нам другие... Когда мы поймем, что так называемые великие

державы, несмотря на все их красивые заверения, лгут как собаки? Они предавали нас в прошлом и будут предавать... Люди божьи, вы разве забыли всю историю так называемого «армянского вопроса» и кровавые события недавнего прошлого, когда истребили треть нашего народа? А что произойдет завтра, когда события забудутся и люди устанут и захотят все забыть?.. Так и знайте, нас продадут, предадут и очернят еще... Что ни говорите, а наше единственное спасение — Россия...

— Постой, постой!

Возразил ему сиплым голосом нетерпеливый человек, сердито поводя глазами, трясясь всем телом:

— Россия!.. Это какая Россия?.. Царя Николая или та, которую мы с тобой видели в Кисловодске, Пятигорске, Екатеринодаре в разгуле анархии, в битвах и страданиях?

— Убивать извергов и грабить воров — не преступление, а святой долг,— отвечал другой.— Рабочая революция должна быть беспощадной к эксплуататорам и паразитам, не то какая это революция...

— А Брест-Литовск?..

— Когда с ревом проносится буря, не время думать о разбитом кувшине! Пора уже прозреть, мир меняется: рушится старое, готовя почву новому... Мы забываем свою историю... Много веков назад, во имя нового учения, мы сами все разрушили, сожгли на этом месте, где теперь стоим... Разрушили наши капища, бросили наземь идолов, убили жрецов, перевернули вверх дном древнюю и богатую культуру и стали исповедовать писанную чужим языком религию... Во имя этой религии наш народ веками боролся, приносил бесчисленные жертвы, проливал кровь, ставя под угрозу свое физическое существование... А это христианство, ради которого мы сражались веками, на деле обернулось водевилем... Взгляните на христианскую Европу! — какое жалкое зрелище... Нет, мы должны присоединиться к тем, кто хочет изменить этот изъязвленный мир... Отвернемся от тех, кто предал нас, спекулируя на наших чувствах, кто торговал нашей кровью.

На эти слова никто не возразил.

— А что, правду говорит,— шепнула Зварт.— Если и с Россией порвем наши отношения, с кем тогда?.. Мы так одиноки...

— Можно слово сказать? — обратился Эрьян к оратору.

И вдруг сильно разволновался. Кровь ударила в голову, и забыл все, что хотел сказать. Не было привычки публично произносить речи, да еще в присутствии Зварт. Покраснел и, открыв рот, посмотрел по сторонам.

— Я о том...

С силой надвинул шапку на брови. Озлился сам на себя, что стоит вот, как ребенок, и ничего сказать не может.

— И прежде всего,— выкрикнул вдруг,— я все эти великие державы...

Выругался. Произнес грубые слова, забыв о том, что невдалеке стоит Зварт.

А выругавшись, вспомнил, что хотел сказать.

— Хватит,— продолжал он,— хватит надеяться на других... Веками нас усыпляли... Веками нам говорили, что придет он, христианский мир, избавит нас от неверующих... Придет Запад, придут французы и накажут турка... Обещаниями убаюкали народ, ослепили... Просто удивляюсь, что и сегодня продолжают повторять то же самое... Повторяют те же слова, несмотря на беды, разочарования, несчетные жертвы... Ждем Америку, ждем Францию...

— А что делать, если не ждать? — спросил стоящий кто-то рядом.

— Я говорю: свободную родину мы должны создать собственными руками. Мир — неумолимое поле битвы, бурное море, и мы должны объединить наши усилия и отстоять наши права... Я — моряк: когда над океаном воют ветры и вздымают волны с гору и грозятся,— не ждут же капитан и его команда помощи других? — а прилагают все усилия и так ведут корабль, чтобы не пошел он ко дну... Страна наша — корабль; нужны усилия, ум и воля удержать на поверхности, довести его до места собственными силами...

— Говорите, драться,— вмешался человек, прибывший из России,— а что мы делали до сих пор, если не дрались? Вот уже сколько лет проливаем кровь, деремся на всех фронтах, и теперь, когда час победы близок, наши так называемые боевые союзники, заделавшись волками, делят меж собой страны, а мы стоим перед новыми опасностями...

— Выходит, значит, что война еще не окончена и надо продолжать...

— Продолжаем! А то как же?

— И еще хочу сказать,— продолжал Эрьян,— пока надо довольствоваться тем, что имеем... Упрочим то, что имеем... Величие народа ведь не зависит от величины его земель?! И малые страны способны на великое чудо...

Из толпы послышались протестующие возгласы. Вперед вышел молодой человек в очках и сердитым голосом возразил.

— Это, простите, нет! — сказал он, возбужденный.— Мы не можем оставить врагу земли, где лежат наши предки, наши родители, наши мученики... Этим мы оправдаем убийц... Нет, это нет!.. Вам, кавказским армянам, не понять этого, потому что вы не видели, не пережили всего, что увидели и пережили мы... Мой отец, мои братья и родственники — все там лежат без погребения и ждут суда справедливости...

Юноша бередил всеобщую рану.

— Конечно, это так,— задумчиво ответил Эрьян.— И я бы хотел освобождения всей страны, но, друг мой, пустыми помыслами ни родины, ни государства не создать...

— Если не помыслами,— снова вспылил юноша,— чем же тогда создается родина? Если любовь, внушенная нам родными землями, не призовет нас к подвигу, какой дурак пойдет освобождать их, жертвовать собой...

Прибывший из России терпеливо слушал. Затем он заговорил об экономических и политических факторах, о том, как сложен вопрос о полной самостоятельности малых народов. И всячески старался подкрепить свои слова научными, как он говорил, данными.

— Этот спор еще может долго длиться, милая Зварт,— шепнул ей Эрьян,— лучше уйдем, и так времени мало осталось...

— Да, пошли,— согласилась Зварт.— Знаешь, этот человек из России кажется весьма подготовленным и серьезным...

— Может быть... пропагандист, наверно...

Погуляли, поговорили без слов. И ветер им не мешал, и темные, пустынные улицы их не пугали.

— Эти люди, стоя на холоде, еще спорят,— вспомнил Эрьян.— Неспокойные, озабоченные, изголодавшиеся по

родине... Знаешь, теперь я люблю каждый камень нашей нищей страны.

— Злюка!

— Почему?

Зварт прижала голову к его плечу и не ответила.

Когда сворачивали с главной улицы, сильный ветер с воем обвил их. Эрьян сомкнул руки за плечами Зварт, и губы его коснулись ее губ.

Под руку, противясь ветру, веселые, пьяные полнотой чувства, они бесцельно бродили.

— Стой, не забыть бы... Надо купить чего-нибудь в дорогу...

Зашли в магазин.

— Удивительна эта наша страна,— заметил Эрьян,— хлеба не достать, а рыбы ишхан, икры, шамайки[1], коньяка, вина — сколько хочешь. Деликатесы царского стола и черная обездоленность...

— Вот видишь, рыба идет из твоего Севана,— пошутила Зварт.

— Прошу без шуток на этот счет... Ты представляешь, каким был бы этот край, не будь Севана... Это озеро, поднявшееся на две тысячи метров над уровнем моря,— величайшее сокровище. Упавший в воду кусочек неба, кусочек света... Несмотря на лютые морозы, оно зимой никогда не замерзает целиком, чтобы люди могли круглый год пользоваться его дарами. И что́ были бы низинные поля без него? Не росли бы шестьдесят сортов нашего винограда, наши сочные персики, налитые золотым соком абрикосы, сливы, яблоки, миндаль... Ведь это он, Севан,— не так ли? — опустил край берега своего и направил звонкую, веселую Зангу к Араратской долине... Это он испаряется и живительным дождем поит поля и сады...

— Ты так говоришь об озере, что начинаю завидовать...

— Не понимаешь: оно и ты для меня навечно связаны... Я нашел вас вместе, в один и тот же день, и вместе полюбил вас. Очень. Всем сердцем, всем существом... И если,— прибавил он серьезно, глядя Зварт в глаза,— если однажды я потеряю одного из вас, потеряю и другого. Понимаешь?..

---

[1] Шамая — название рыбы.

— Немного сложно... Больше чувствую, чем понимаю.

— Поймешь однажды... Удивительная штука эта наша жизнь! Вечно недовольны, вечно беспокойны, беремся за тысячу дел, боремся, мучаемся, порой из-за незначительного мучаемся, гонимся за примелькавшимися явлениями... жертвуем этим... жертвуем тем... А зачем?.. Хотим сами себя вновь обрести, воссоздать нашу утраченную цельность. В часы одиночества, на море, над этими вопросами я задумывался... Знаешь, одиночество хорошая школа...

Сказал и смутился. И чтобы скрыть смущение, громко рассмеялся.

Зварт прижалась к его плечу.

— Ты знаешь много такого,— сказала она,— чего не знаю я. Подожди, придет день, и я буду знать.

— Вместе узнаем. Ладно?

— Ну конечно, вместе...

На своей улице встретили Пероняна.

— Ба! Куда пропал, ищу тебя...— крикнул тот издали.

— Приятно слышать, а что случилось?

— Просто хочу узнать, едем ли сегодня вечером?

— То есть как? — удивился Эрьян.— Давно готов и жду.

— Есть новости, о которых не стоит говорить на улице. Плохие...

— Если опасно,— широко раскрыв глаза, вмешалась Зварт,— ехать не надо.

— И ничего страшного, и ничего такого нет,— успокоил ее Эрьян, входя в дом.— Если ты позволишь, только на минутку. Государственная тайна...

— Ты знаешь, за Улуханлу, вдоль железной дороги, появились разбойничьи банды. Нападают на проходящие поезда... Несколько пассажиров было ранено и убитых двое... Как узнал об этом, так сразу и к тебе...

— Правительство принимает меры?

— Да, да.

— Раз так, чего нам опасаться? Кто труслив, не должен трогаться с места. Здесь одни разбойники, между Гори и Батумом — другие... Такое уж время. Ты как решил?

— Я, как должностное лицо, вынужден ехать. Без бумаги республика не может жить,— добавил он, смеясь.

— А я еду добывать для народа корабль. Значит, едем. Оружие есть?

Перонян отвернул полу пиджака и показал маузер. Эрьян тем же движением показал на свой револьвер.

— И еще,— прибавил Эрьян,— беру с собой три бутылки коньяка.

— Какого года?

— Не знаю.

— Значит, неважный. Я с собой везу несколько бесподобных бутылок, оставшихся от Ноя.

— Отлично. Тем более что и закуска есть.

— И, значит, разбойники нами побеждены!

— Да, никакого сомнения быть не может. Только по дороге на вокзал не забудь прихватить с собой несколько солдат — оградить нас от местных разбойников.

— О том и думаю.

Через час весь дом шумел. Говорили все разом.

Зварт, чуть бледная, старалась скрыть волнение. Все улыбалась.

— Ну, не задерживайся долго... Не так ли? Не задерживайся!..

— Будь спокойна, милая Зварт... Самому не захочется долго там сидеть...

Вслед фаэтону плеснули водой. Обычай — пожелать доброго пути.

Смеркалось. Холод усилился. Город был тих и безлюден.

— Не хотел там говорить,— шепнул Перонян,— положение напряженное теперь у границ Грузии... Будем надеяться, переедем границу...

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

Уже вечерело, когда Эрьян пришел в кофейню «Веселых моряков». В его отсутствие Батум не изменился. Те же люди, та же неопределенность, та же грязь. Ему не терпелось возвратиться сюда. А сейчас, по приезде, никакого особенного восторга не испытывал. Чувствовал себя безучастным, чужим. Все отодвинулось куда-то. Внутренние духовные связи были прерваны. И даже море и старый его танкер уже не пробуждали в нем былой тоски и воспоминаний о мире, в котором в свое время он любил жить.

Бывает, что человек возвращается в покинутый на долгие годы дом. Дом, в котором звенел смех его молодости и где он так много пережил, где достались ему и радость и печаль. Дом, в котором он оставил живую частицу души. Подходит к нему с замиранием сердца. И что же? — крыша провалилась, сад погиб, все под слоем серой пыли. Дом опустел. В нем после него жили другие. Звучали другие голоса. Все теперь чуждо ему.

Такие чувства испытывал сейчас и Эрьян. Прошлое увязло в тумане неопределенности.

Дашеньку еще не навестил. И не искал даже. Прошел по всей длине мола и с досадой смотрел на лениво покачивающиеся, оставшиеся без работы большие и малые суда. Безработные корабли! А там, за пазухой гор,

лежит на спине Севан, глаза приколоты к небу, просторный и пустынный,— ждет.

Подозвал официанта, заказал вина.

— Если кто спросит, скажи, я здесь,— поручил официанту.

Выпил и вытянул ноги под стол, руки в карманы.

Второй день он в Батуме. Времени не терял. Днем бегал, ночи не спал, обдумывал положение. Все подробно разузнал. Дело трудное. Намного труднее, чем он представлял себе в минуты воодушевления. Консул, которому предъявил рекомендательное письмо, несмотря на любезный прием, кажется, не обрадовался. Вежливый, но чересчур уж практичный и дотошный человек. «Милейший капитан,— сказал он,— в эти дни мы нуждаемся не в корабле, а в зерне, медикаментах, одежде... Вы же своими глазами все видели...»

Из старых интеллигентов. Без полета мысли, без риска. Вынужден был снова, как в Ереване, излагать все сначала, приводить доводы. И в конце концов, было же у него письмо от главы правительства. «Такие письма,— ответил консул,— каждый день получаем. Отдать приказ легко, а деньги достать трудно. По крайней мере, спорить излишне: я даю слово помочь вам в пределах возможного...»

Так вот.

Выпил еще. Положил руки на стол и стал их разглядывать. Носком правой ноги побарабанил по полу. И снова выпил.

Надо было как-то выбираться из тупика. Придумывать средства, хитрить, изощряться, строить комбинации. Надо было непременно одолеть все трудности. Перонян обещал в нужную минуту пустить в ход связи.

Какой сумасшедший мир и какое странное положение! Вспомнил нападение на поезд в пути.

Пули сыпались в открытые окна. Он и Перонян и все, кто был в вагоне, бросились на пол. Миновали опасный участок. Улыбаясь, расселись по местам. Словно ничего не случилось. Откупорили бутылки, поели, провозгласили тосты. А там, вдали, шла перестрелка...

— Дорогому капитану нижайшие поклоны!..

— Ах, Федор Пантелеевич, рад, что вы пришли... Я ждал вас... Ну, садитесь, садитесь... Эй, хозяин, стопку...

Федор Пантелеевич потер руки, улыбнулся малень-



кими серыми глазами, покачал сердито головой, сел и залпом осушил стопку, наполненную Эрьяном.

— Так!.. Так!..

Он покашливал тем изнуряюще мелким кашлем, который дерет горло. В такие минуты его уши и щеки краснели, глаза сужались. Как будто мерз. Когда глотал

слюну, шея вспухала и лицом походил на испуганную птицу.

— Ну, еще одну,— предложил Эрьян, подливая.

— Будьте здоровы!..

— На здоровье!

Федор Пантелеевич некогда занимал важный пост. Был управляющим большого судоходного товарищества. Многими делами он ведал, много зарабатывал и тратил тоже без счета. Революция и последовавшие за ней события поставили его в тупик. В один день все изменилось, и он, как сам говорил, «остался висеть в воздухе». Подлинные хозяева товарищества сбежали бог весть куда, дороги закрылись. Местные сменяющиеся власти присвоили лучшие корабли, а служащим никто ничего не платил. Не было работы, не было денег. Остался беззащитный и растерянный. Остался управляющим без товарищества. Ждал, как и все, что положение изменится. Промышлял чем-то на жизнь, и, видимо, чем-то темным. Эрьян об этом знал.

— Ну, выпейте и эту...

— Нет! Нет! Нет!

— Федор Пантелеевич, не говорите — нет! В такую сырость человек без водки не выдержит...

— Это вы верно. Без водки никак.

Эрьян продолжал подливать.

— Э, безумство — на безумстве,— философски изрек Федор Пантелеевич.— Когда человек хочет в один день разрушить созданный веками уклад и строй, ничего путного не получается...

— Оставим эту грустную тему, Федор Пантелеевич, скажите лучше, как идут ваши дела?

— Какие могут быть дела? — ответил тот.— Положение знаете какое ведь? Один мрак. Неизвестность.

— Вы правы,— жуя, согласился Эрьян.

— Мрак. Пытаюсь защищать интересы товарищества, пока увидим, как обернутся события. Трудно!

Сказал и взял сардину.

— Что вы хотите,— вставил Эрьян,— не может же человек лбом стену прошибить? Власти нет, закона нет, ничего нет.

Бывший управляющий сунул в рот редиску и разочарованно вскинул руки.

— Я, что ли, не вижу этих трудностей? — продолжал

Эрьян, вновь наполняя стопки.— Как подумаю, так и разбирает меня зло... Ах, лучше об этом вообще не говорить. Лучший выход — терпеть и ждать. К счастью, есть еще на свете люди вроде нас: честные, знающие дело. Позвольте сказать, Федор Пантелеевич... Совсем недавно так говорил я о вас в Ереване, с председателем совета министров...— сказал, сам не понял, как вышла из него эта ложь, и, чтобы не выдать себя, прямо посмотрел ему в глаза. Тот смутился, потупился.— Точно так... Теперь скажу, в какой связи...

Придвинулся со стулом к бывшему управляющему, потянулся к нему и многозначительно продолжал:

— В последнее время правительство Айастана пригласило меня исследовать озеро Севан и сделать доклад о его ресурсах. Ну, сами понимаете, мы — я, как и вы,— люди моря: где есть воды хоть немного, хотим уже корабли водить... Скажу честно, Федор Пантелеевич, что просторное это озеро настоящее сокровище, полное всяких благ... Вы, как деловой человек, можете понять меня...

— Любопытно,— тихо сказал бывший управляющий.

— В высшей степени. Мне кажется, пока они там нуждаются в нескольких маленьких судах — перевозить людей и товары. Говорю, маленьких, имея в виду сложности транспортировки, но не очень мелких. Озеро большое, рейсы могут длиться долгие часы, и ветры свирепые... Слыхал, что какие-то американские капиталисты интересовались... Зачем оставлять другим, зачем?.. Вот так, за разговором, забыли о стопках, а...

...Пока Эрьян медленно и задумчиво наполнял стопки, управляющий, кажется, уже смекнул, что речь идет о деле, возможно, очень выгодном. Но решил не проявлять интереса. Держа в руках вилку и нож, старался есть рыбу движениями спокойными и безразличными.

— И так обстоят дела...— продолжал Эрьян, сам удивляясь своей хитрости,— так обстоят, что во время долгой беседы с председателем совета министров упомянул и ваше имя... Трудностей, конечно, много. Но хочу заметить, что это наше предприятие может оказаться перспективным и выгодным во всех отношениях.

— Понимаю,— сказал управляющий,— понимаю. Выходит?

— Выходит... вы один можете мне помочь... Я, так сказать, покупатель. В вашем товариществе много судов,

которые привязаны к пирсу, ржавеют... Завтра какая-нибудь власть одним приказом может отнять их... Подумайте.

— Вы ставите меня в затруднительное положение,— наскоро, заглатывая слова, сказал Федор Пантелеевич.— Я, как вы знаете, остаюсь ответственным директором товарищества, однако сложилась странная ситуация... О продаже судов никогда и речи не было, но, с другой стороны, никто не знает, что может случиться... Большая ответственность... Скажу только, что я полон симпатий к вашей стране и хотел бы что-нибудь сделать для вас.

Неопределенно развел руками, закашлялся, покраснел и, сжавшись на своем стуле, умолк.

Эрьян понял, что его предложение показалось соблазнительным для собеседника, и продолжал дальше его уговаривать.

— Федор Пантелеевич,— сказал он, подумав,— я понимаю ваши колебания. Но, с другой стороны, в такие времена вы обязаны взять на себя какую-то ответственность и спасти по возможности собственность товарищества... Мы не знаем, что может случиться завтра... Многие говорят, что большевики, если победят там, спустятся на Кавказ... И корабли отберут, и вас отстранят...

— Не может быть, Деникин не позволит...

— Что греха таить, сомневаюсь... В последнее время белые всё отходят... Даже если они и победят, пройдет много времени, так много, что оставленное без присмотра имущество испортится. Еще немного, и эти суда будут стоить не дороже лома...

— Это, к сожалению, так. Что могу поделать?

— Я не имею права давать вам советы, вы в своем деле лучше меня разбираетесь. Но, осмелюсь сказать, будь я на вашем месте, пожертвовал бы одним ради спасения остальных.

— Как?

— А просто. На вырученные за один корабль деньги имел бы возможность нанять людей, купить масла, почистить машины, подкрасить, где надо, и вообще организовать надлежащий уход. Но это, конечно, ваше дело... Скажу со всей откровенностью: есть у меня и два других предложения... вот...

Рука поползла к боковому карману пиджака и ничего не достала оттуда.

— Ну, что поделать? — бросив на стол кулаки и придавая голосу окончательную решимость, сказал он.— Не выгорело так не выгорело. Главное — наша дружба, которая остается неизменной. Еще по стопке.

Этот ход конем подействовал. Эрьян подумал, что он поистине актер.

Федор Пантелеевич не ожидал столь резкой перемены. Опустил глаза и, как пойманный на ошибке человек, неуверенным голосом запротестовал:

— Нет, нет, дорогой капитан, так не стоит... Мы же как старые друзья разговариваем, по душам, в открытую... Я не сказал, что отказываю, я просто обрисовал трудности... А ну, скажите, в какой валюте будете платить?

— Это вопрос второстепенный... По крайней мере, не бумажными миллионами, не дензнаками закавказских республик... Товаром, золотом...

— Корабль уже выбрали?

— Да. «Альбатрос».

— Отличный выбор, одно из последних наших приобретений: совершенно новый.

— Преувеличиваете: три года ему.

— Два с половиной. В Одессе строился. Мощный дизель, и вообще — новейший в этом бассейне.

— Сколько просите?

— Сейчас не могу сказать, нужно хорошенько подумать.

— Хорошо, где вы ужинаете сегодня? Приглашаю...

— Добро. Кончим бутылку.

— Потребуем другую.

— Она будет моя.

— Это нет, это уже нет. Сегодня день — мой... Вы должны мне позволить, и прошу, о таких мелочах не будем спорить. Мы же моряки: да или нет?

Распив еще бутылку, они пошли по улицам под ручку, шатаясь, бессмысленно смеясь и рыгая.

Пошли на берег моря, попробовали петь.

После песни Федор Пантелеевич вдруг взгрустнул. Меланхолически он высказал несколько философских мыслей о человеческой судьбе и о России. Собрал морщины на лице — поплакать, но слез не вышло — и, потому что слез не вышло, озлился на мир. Стал громко ругаться и орать: «Да здравствует царь!»

Около полуночи, сидя в ресторане, снова ели и пили.

Оркестр балалаек скреб сердца, будил воспоминания.

Пожарские котлеты. Кахетинское вино. Красный редис.

Песня, шум.

Странные типы с кирпичными лицами. Мужчины с невероятными усами, с жадными, бегающими, горящими глазами. Девушки, торгующие дешевым шиком, с волосами, отданными перекиси, водянистым взглядом, нежными и унылыми руками. Из-под одежд несло бедностью и мускусом.

Осколок разбитой России, населенный истрепанными снами, веселился. Но каждый кусок, каждая стопка вина отдавали горечью.

Чувствовали: издалека, потрескивая, приближался гигантский пожар. Завтрашний день наполнен был безнадежностью и кровью. Знали — и делали вид, что не знают.

И зал надрывался натянутым смехом, напускной беспечностью, пьяными криками.

Взмокшая женщина с резиновыми губами, прижимая руки к полной груди, пела цыганскую песню. Балалайки дружно ныли в аккомпанемент.

Федор Пантелеевич, крепко сжав в руке вилку, прикрыв глаза, слушал песню и вздыхал. С его усов капало сальце. В минуту высочайшего волнения он выпячивал нижнюю губу и шумно обсасывал усы. Его голова подрагивала, как голова мертвого зайца, и унылый голос без конца повторял:

— Россия!.. Расея!.. мученица Расея!..

И тыкал вилкой, выискивая что-то на блюде.

Оркестр осыпался дождем металлических листьев и шелестел, как искусственный лес. Сердца подпрыгивали, вспыхивали взгляды.

Селедка под луком. Шашлык из барашка. Армянский коньяк.

Мясистые, разгоряченные лица со вздутыми венами. Рыцарские позы, широко расставленные ноги, стиснутые на позолоченных кинжалах руки.

— Касим-бек, ваше дражайшее здоровье...

— Господа, тост за Касим-бека.

Люди вставали. Оркестр переходил на туш.

Касим-бек, старый разбойник, который при турках

кого только не обобрал, легким кивком головы выражал свое удовлетворение, улыбался и жестом предлагал поставить на соседний стол несколько бутылок вина.

Федор Пантелеевич, склонный к монархизму, привык смотреть на местные народы свысока и чувствовал себя стесненным, придавленным. Мурлыча под нос ругательства, комкал нервной рукой край скатерти, продолжал есть.

— Ах, капитан,— говорил он упавшим голосом,— когда наши вернутся, все опять переменится. Эти, которые трепетали перед любым городовым, теперь осмеливаются... Ну, что говорить...

И пока балалайки подбирали стоны волжских берегов, Федор Пантелеевич прятал лицо в ладони и так сидел. Его мучили выпитое вино, все эти блюда и придавленность выбитого из привычной колеи человека.

И Эрьян смотрел на все это грустными глазами. Его мысли были далеко. Что происходило там, в родной стране?!.

Инстинктивно рука потянулась к внутреннему карману пиджака — не пропало ли письмо от Зварт? Сколько раз на дню читал он это письмо, и им овладевала тревожная нежность, смешанная с тоской. Конечно, жизнь жестока, безжалостна, но, бывает, из-под нависших над нами тяжелых туч иной раз засияет луч надежды или любви и осветит наше усталое чело.

— Да, Федор Пантелеевич,— сказал он, ощутив вдруг потребность высказать это переполнявшее его чувство,— дни приходят и уходят, как говорится в одной из песен моей страны, но наши судьбы связаны с неведомыми нам силами. Если у человека есть какое-то дело, он должен его выполнить во что бы то ни стало...

— Это истинно так! — воскликнул собеседник.— Верная мысль. Как вы сказали?.. Дни... ах, оставим дни и поговорим о ночах. Скажите, капитан, скажите со всей искренностью: вам удается спать по ночам?

Спросил и устремил на Эрьяна полные ужаса глаза.

— Мне? Да. Стоит только закрыть глаза, засыпаю.

— Вы счастливый человек. Я — нет.— Уронил голову на грудь, подумал и, широко раскрыв исполненные страха и муки глаза, продолжал: — В том-то и дело: не могу уснуть... Поверите? Страшная мука это... ужасная мука... Ничто не помогает: ни лекарства, ни выпивка. Часами

считаю овец, бредущих воображаемыми полями, молитвы шепчу, декламирую басни Крылова — не помогает. Только тяжелеет голова, только начинаю зевать — как входит он...

— Кто?

— Не знаю... Он! Вы можете подумать, капитан: Федор Пантелеевич сегодня хватил лишнего. Он болтает, рассказывает невероятные вещи... В то время как — нет, капитан, нет! — все, что говорю вам, истинная правда, и вы первый человек, которому об этом рассказываю. Вы должны знать, что в квартире я один-одинешенек. Семья осталась в России. Жена поехала в Москву сынов повидать и осталась там. По этой причине один и живу. Сплю в комнате, что выходит на улицу, без балкона. Ложась, запираю двери, закрываю окна и ставни, потом иду в свою спальню и там тоже закрываю двери, окна. И даже, для большей безопасности, задвигаю дверь столом, а на него ставлю стулья... И тем не менее он приходит...

— Кто? Кто приходит?

— Я сказал вам, не знаю. Странный незнакомый человек. Входит, одной рукой быстро и ловко сворачивает козью ножку, приклеивает к нижней губе, но не закуривает. Потом мелкими и быстрыми шажками ходит по комнате, сует всюду нос, внимательно все разглядывает, изучает, исследует, переходит с одного предмета на другой, открывает книги, не читая захлопывает, останавливается перед портретами, бросает на них беглый взгляд, проходит, возвращается в другой угол комнаты и опять в спешке, точно забыл что-то, ходит, смотрит, изучает... Вы не можете себе представить, какой это нагоняет ужас на меня... Маленький человек с желтой бородкой... Вздутый живот, набрякшие щеки... Напоминает скорее ведущего сидячий образ жизни чиновника... Да, точно, чиновника. Оставляют гнетущее впечатление его ноги... Бесформенные, уродливые и чрезвычайно легкие и быстрые... И еще: никогда на меня не смотрит. Лежу в постели, широко раскрыв глаза, затаив дыхание. Ну хотя бы поинтересовался мной! Нет! Я для него не существую!.. Но поймите! — пока он рассматривает разложенные на столе мелкие предметы — щетку, зеркало, ручку, чернильницу, пока он, руки за спину, вытянув голову, останавливается на миг и проходит, и снова останавли-

вается, и опять проходит,— кровь стынет в жилах, сердце стучит так сильно, что слышу его удары, волосы встают дыбом и проступают на лбу капли холодного пота... Потому что я чувствую, явственно чувствую, что его смотрящие в сторону глаза на самом деле проникли в меня и обыскивают мою душу... Говорю вам, это страшные часы, которые словами не передать... И каждый раз, когда удается провести ночь вне дома, я радуюсь... Не хочу возвращаться домой, не хочу!..

«Что это — достоевщина? — подумал Эрьян.— Наверное, человек этот серьезно болен».

Склонив голову, Федор Пантелеевич ждал от Эрьяна ответа. Эрьян сказал:

— Все, что вы рассказываете, дорогой друг, выглядит более чем странно. И мне случалось видеть просто ошеломляющие сны (вспомнил свой сон по пути в Айастан). Не надо так близко принимать к сердцу! Все мы, стечением обстоятельств, дошли до болезненного состояния... наши нервы не выносят ни малейшего раздражения... Главное, Федор Пантелеевич, иметь в жизни место, цель... Нельзя жить пассивно, надо что-то делать, к чему-то стремиться, надо действовать... Только это может спасти нас...

— Действовать, капитан? Действовать среди такого безвластия? К чему-то стремиться, говорите?.. Не видите, что ли? — все рушится, все обращается в прах... Я всю свою жизнь трудился, надрывался, мучился, чтобы достичь положения в обществе... А теперь, взгляните...

Вытянул руки в зал. И, сотрясаясь всем телом, с искаженным лицом, глазами навыкате, стукнул кулаками об стол, поднялся и злым и смешным голосом завопил:

— Да здравствует Россия! Да здравствует царь!..

Все обернулись на него.

— Да! Да здравствует! Да здравствует! Да здравствует!..

— Тише! Тише там...

— Вон! Вон!.. Выгнать его!..

Поднялся страшный шум.

В зале была разнонациональная публика. Сидевшие за ближним столом аджарцы презрительно смеялись. Двое грузин поднялись и, демонстративно закатывая рукава своих черкесок, пошли на управляющего. Эрьян

вскочил, закрыл его собой и, сжав кулаки, замер. В эту минуту из глубины зала выскочил сухощавый человек в смокинге и очень вежливо попросил прекратить инцидент. Это был хозяин ресторации. Сразу оркестр заиграл шумный марш, все сели по местам, голоса утихли.

Посидев еще немного, Эрьян, желая избежать неприятностей, расплатился с официантом и предложил своему сотрапезнику потихоньку собираться домой.

Шли медленно, задумчиво, молчали.

Федор Пантелеевич тащился удрученный, будто нес на плечах непосильный груз.

Останавливался, кашлял, шел, опять кашлял.

Когда дошли до угла улицы, где находилась его квартира, он забеспокоился. Без конца поправлял галстук. Костистыми пальцами трогал его истрепавшиеся концы, нервным рывком одергивал. И так довольно долго.

Вдруг с решительным видом протянул руку Эрьяну, пожал сильно несколько раз, повернулся по-военному, подошел к подъезду дома, остановился и в голос зарыдал.

Эрьян бросился к нему:

— Ну! Ну, Федор Пантелеевич, что с вами?.. Федор Пантелеевич, ну не стоит, право! Ну, ну!..

Плач этого человека в летах расстраивал его и обезнадеживал.

— Федор Пантелеевич, прошу вас. Ну, что вы...

Долетал шум разбивающихся о берег волн. За печными трубами на крышах виднелись звезды.

Федор Пантелеевич наконец успокоился. Постоял еще немного и вбежал в дом.

Эрьяну не хотелось спать.

За день столько было всякого, перебирал все в уме. Несомненно, удача близка, но многое остается еще темным.

Несчастье в том, что он затеял дело с человеком неуравновешенным. Что было на сердце у этого Федора Пантелеевича? Горе, разочарование. Его преследовали привидения. Правда, его ли одного? Сегодня призраками полон мир.

Размышляя так, в этот поздний час он пошел к морю.

Плотная волна ветра обдала лицо, и он ощутил в себе

бодрость. Надвинул картуз на уши, выкатил грудь и бодро зашагал к молу.

Однако чужие драмы, слезы, раздражительность не должны трогать его. Не сиделка же он и не психиатр. Приехал по простому нужному делу. Надо преодолеть все трудности и получить корабль.

Корабль! Корабль!

Человек выпил и расплакался. Не спал по ночам, дурные сны видел. Великое дело! Подумать, а что творится на улицах Еревана, по всей Армении?

Да, управляющий... Эта маленькая трагедия не должна ослабить его воли. Пусть каждый делает то, что может, и будет тем, кем может.

И будь что будет!

Тревожные волны хлестали ночь, с грохотом откатывались. За ними шли другие, следом еще, точно приговорены были они к нескончаемой каторжной работе. А море поодаль, полное звезд, качало дольку луны.

Ах, будь что будет!

Остановился, посмотрел. Приложил козырьком руку ко лбу и снова внимательно посмотрел.

Вдалеке, на приколе, стоял корабль.

Пошел дальше по вдающемуся в море молу. Знал, как неосторожно ходить по этим местам в ночное время. Из-за рубля человека убивали, и не было такого утра, чтобы близ пристани не находили несколько трупов.

Достал револьвер и пошел дальше.

Корабль.

Чем дальше уходил он вперед, тем сильнее был ветер, толкал его назад, вытянув длинные руки. Опустил голову и, как баран рогами вперед, продолжал путь.

Вот они, привязанные канатами десятки парусных судов, с плеском стуча друг в друга и качая верхушками мачт, скулят. Вот и другие суда. Большие, малые, одинокие, печальные.

Чем ближе к краю мола, тем сильнее ветер. Чтобы добраться на качающийся невдалеке «Альбатрос», надо цепляться за избиваемые волнами камни. Скользкие и опасные. Не так-то легко.

«Альбатрос». Четко виден его силуэт. Корабль невысокий, но длинный и стремительный. Нос — два сложенных концами крыла белой птицы. Красивый, великолепный, чуть женственный. Близость корабля ощутил, как

сладкую боль любви. Подумал о Зварт. И сейчас же о Дашеньке. Да, Дашенька... «Альбатрос» напоминал ее. Вспомнил, как недавно ночью, возвращаясь домой, на одной из центральных улиц услышал песню. Посмотрел и обмер.

Женщина, взяв под руку двух мужчин, веселая, со сбитой набок шляпкой, растрепанными волосами, качала головой и пела. Все трое, сильно пьяные, шагали вразкачку. Натыкались на стенку и снова шли.

— Митя, дай поцелую тебя! — говорила женщина, вытягивая губы к мужчине справа.

— А меня, а меня? — говорил другой.

Женщина целовала и другого.

Эрьян не хотел верить глазам своим. Не грезил ли? Стиснул кулаками лицо, протер глаза и внимательно посмотрел.

Сомнений не было: она, Дашенька.

Острая боль тисками сдавила тогда его сердце. Ускорил шаги, задыхался...

Всю ночь думал о Дашеньке. Что могло с ней случиться? Терялся в догадках, винил себя в том, что, вернувшись, не навестил ее.

Да, какое-то внутреннее чувство, образ Зварт все время удерживали его... Но теперь он решил наутро непременно навести справки о Дашеньке. Расспросил кельнершу в кафе, где раньше часто бывал с Дашенькой, и с радостью узнал, что недавно к ней приехали ее братья, от которых она долго не имела вестей,— Дмитрий и Алексей, и была бурная встреча в ресторане. Так вот кто этот Митя и тот, другой...

Понял все. Да, все, и ту ночную сцену...

Дашенька оставалась в его сознании все той же милой Дашенькой. Но навестить ее не решился. И теперь, стоя на молу, где часто они гуляли вместе, мысленно прощался с Дашенькой навсегда.

Долго смотрел.

Мысли переметнулись. «Альбатрос» на Севане! Вот отчаливает от Еленовки, вот идет в виду острова, вот рассекает голубое зеркало воды, радостно гудит...

Поговорил с кораблем, сказал много ласковых слов.

Поднялся по валу. Подставил ветру спину, посвистывая, возвратился.

Далеко какой-то маяк хлопал синим глазом в пустоту.

Была луна.

2

Эрьян знал Тифлис — административный центр Кавказского наместничества — в прежние дни, когда по возвращении из далеких странствий, пока грузили корабль, он с несколькими товарищами приезжал сюда развлекаться, мотать сбережения.

Давно ли это было?

Крепко запомнились ночи до утра в нависших над Курой духанах, в подвальных ресторациях, полуосвещенных, дышащих хоровацем и винами, где веселье доходило до последнего градуса, где под журчание тара звучала песня, то радостно, то философски грустно. Вино лилось, танцевали девушки, развешивая в воздухе свои красивые руки, раздавая сердцам пламя своих больших черных глаз.

В те дни Тифлис был вместилищем живущих вечными каникулами зажиточных бездельников. Праздничный, насурмленный, официальный, беспечный.

Дворец наместника на стыке Головинского проспекта и Дворцовой улицы, многочисленные военные церемонии, смены караула, парады, пышные и жеманные женщины и толпы фланеров, которые с утра и допоздна совершали один и тот же бесцельный путь по проспекту.

Тифлис рыбы локо, кахетинского вина, козинаха.

Красивейшая часть города — Сололак — запружена была блестящими каретами, запряженными лучших мастей лошадьми. Они, быстро проносясь, привозили и увозили женщин с большими томными глазами, богато одетых мужчин.

Жизнь обильная, легкая колыхалась под пение беззвучных свирелей.

Заполненные покупателями кондитерские выставляли невиданных размеров пряники и сахарные головы. Перед магазинами, на лотках, высились стопки полотна и бархата. Толпившиеся вокруг них женщины ощупывали нежными пальчиками шелка, разглядывали разноцветные ткани. Шуршанье шелка. Запахи духов. Женщины — грузинки, армянки, русские, турчанки, персиянки, черкешенки,— красочная и нарядная толпа.

Чтобы добраться в старую часть города, нужно пройти узенькими, кривыми улочками. Внизу площадь — мейдан, как ее называли тифлисцы,— открывала глазам картины иного рода. Лениво присевшие верблюды с задранными толстогубыми мордами как будто солнце жевали. Волочащие сухие ветки кудлатые козы. Опустившиеся на корточки, с мечтательными глазами и ленивыми движениями, дымящие длинными трубками пришельцы с Востока.

Острый запах серы, сушеного винограда, помета. Нищие и равнодушные собаки. Попрошайка с ввалившимися глазами и дрожащими руками. Азия. А наверху вроде была Европа. Отраженная в кривых зеркалах Европа.

Ереванская площадь — с выкрашенным в красный цвет зданием городской управы. Центральная улица города — гордость всей страны — Головинский проспект. На нем в воскресных нарядах встречаются все народы и племена Кавказа. Приезжали и себя показать и время провести.

Обаятельный, притягательный Тифлис, где можно было хорошо поесть и выпить, жил за счет провинций, дорого платил за свою беспечность и веселье. В глухих городках говорили о нем с восторгом, глотая слюну, трепетно дыша.

Эрьян второй день в Тифлисе. Он приехал выхлопотать у грузинских властей нужные бумаги, дабы избежать произвола мелких должностных лиц и возможных осложнений при переброске корабля. Теперь он видел город другими глазами.

И это Тифлис?

Усталый, озабоченный Эрьян прогуливался по пустынным улицам, ожидая открытия министерских канцелярий.

Уже десятый час, а город еще дрыхнет. Магазины и кофейни закрыты. Тощие лошади извозчиков бьют копытами о мостовую, и спины их вздрагивают. Милиционеры ходят взад-вперед. Холодно.

«Словно наступило утро после длившегося всю ночь маскарада»,— подумал Эрьян.

Жалел, что приехал. Нашел бы лучше общий язык с местными чиновниками. Трудное осталось позади. Корабль погружен на товарные платформы и уже был бы

в пути, если бы мелкие, злые людишки не чинили препятствий. Со всех сторон требовали взяток. Все деньги, что были при нем, роздал. Распродал многое — и тоже роздал. Нет! Чем больше давал, тем больше просили.

Жизнь в городе проснулась необычно.

Из здания на центральной площади выбежали солдаты, разбились на группы и заняли перекрестки.

Эрьян смотрел с удивлением. Накануне на вокзале видел ту же картину. Перед всеми дверьми стояли плотными группами милицейские чины. Проверяли паспорта, допрашивали, обыскивали — русских и армян. То были порядки меньшевистской Грузии.

«Как все забывается, меняется,— думал Эрьян.— Волны разбушевавшегося моря выбрасывают на поверхность незаметных, мелких людей. Создаются так называемые руководители. Мгновенно забываются все те ценности, ради которых боролись годы, и забываются клятвы в верности высоким идеалам. И в ход пускаются те деспотические методы, которые были раньше. Эти люди говорят о братстве, равенстве, справедливости, а поскреби их — и покажется озлобленный и завистливый националист. Произвол властителей — обыски, аресты, тюрьма, ссылка».

И это Тифлис?

Вот наконец люди.

Несколько заспанных торговцев не спеша отворяют свои магазины.

Показывается и клочок синего неба. Показывается, вспыхивает в нескольких окнах и тут же исчезает за тучами.

Серо и холодно.

Где этот «Стакан чая»? Он условился встретиться там со знакомыми.

Нашел наконец — «Стакан чая» был открыт.

Невдалеке патруль останавливал прохожих, проверял документы. Опрятно одетый, пожилой человек в очках громко возмущался. Один из стражников, со сморщенным лицом и длинными руками, подошел к нему, выругался, ударил по лицу. Очки почтенного человека полетели, разбились, упала с головы шляпа, на побледневших щеках выступила кровь.

Эрьяна била дрожь.

Человека увели.

Стоявший рядом господин смотрел с омерзением.

— Дикость,— сказал он.

— Не понимаю, чего от них хотят? — поинтересовался Эрьян.

— А чего же еще... Это называется национальной политикой меньшевистского правительства...

Эрьян прошел в зал.

Красивое, чистое кафе. Обслуживали барышни и дамы из зажиточных и знатных семей, якобы в благотворительных целях. Народу было не так много. Однако, пока подали заказанные чай и печенье, кафе быстро заполнилось. Будто в определенный час все назначили тут друг другу свидания.

Осмотрелся внимательно.

Догадался сразу, что бо́льшая часть посетителей — бежавшие из России интеллигенты — художники, литераторы. По лицам угадывалось и жестам. Желтые, худые лица, блуждающие взоры. Растрепанные длинные волосы, высокие лбы, тихие голоса и самые невероятные костюмы, которые только можно придумать. Было в них нечто комическое и в то же время жалостное. Все знали друг друга. Без конца говорили и спорили.

Эрьян сидел грустный, подавленный. Сцена, которую наблюдал на улице, еще была жива в памяти.

— Барышня, можно еще чаю?

— Конечно...

Красивый, звучный грудной голос девушки понравился ему. Кафе напоминало больше салон для приемов. Эти интеллигенты-беженцы старались соблюдать присущие предреволюционному обществу правила приличия — утрированную вежливость, прикладывание к дамской ручке.

И кельнерши обслуживали посетителей так, будто знатные дамы принимали у себя званых гостей. Шуршали нарядами из одного конца зала в другой, обдавая духами, выставляя напоказ открытую грудь, холеные, белые руки.

Инстинктивно глянул на свои руки и спрятал. Потом сразу же положил их на стол. Чего ему стыдиться? Натруженные руки. Последние недели он этими руками, да, этими вот сильными руками почистил машины, смазал,

покрасил, навел блеск на корабле — все засверкало. Нет, чего ему было стыдиться?..

— Милый человек, будет тебе кулаки выставлять... Драться собираешься, что ли?

Перед ним стоял Перонян.

— Клянусь, так глазеешь, будто сию же минуту набросишься на этих неженок... Ну, ладно, ладно, без оправданий, лучше вот познакомься с моими друзьями. Айк Шушан, художник... Кара, поэт-футурист... Султанян, литератор... Словом, как видишь... все музы...

— Рад, очень рад... Вот кого не ожидал тут встретить. Садитесь, прошу, садитесь...

— Тебя представлять нет нужды,— сказал Перонян, когда все сели.— О тебе уже знают, был разговор... Адмирал Севана... ты человек известный...

— А как же! — воскликнул Кара.— Много о вас хорошего слышали. Ваша футуристическая душа, ваше дерзкое предприятие в нынешних условиях...

— Ладно, не захваливай,— прервал его Перонян.— Не хвали ты его: человек он скромный, встанет и убежит...— И обращаясь к Эрьяну: — Скажи-ка, брат, как ты здесь очутился?.. Ждали тебя в Ереване...

— Долгая история. Столько препятствий!

— То есть...

— Просто большие трудности, волокита. Корабль купил и даже погрузил на платформы...

— Об этом в Ереване говорили...

— В Ереване? Откуда узнали?

— Всё узнают. И дальше?

— Дальше железнодорожные чиновники стали мешать по-всякому. Предпринимали все, лишь бы корабль не уехал. Потому я здесь... Думаю подать прошение. Однако уже не надеюсь...— Рассказал о виденной утром сцене.— Не хочу иметь дела с этими людьми.

Замолкли.

— Ужасно! — печально отметил Айк Шушан.— То, что еще вчера было для всех светочем, озаряющим души, сегодня — ничто. Все кубарем летит в дикость. Человек возвращается к животным инстинктам, становится волком.

— Это только подтверждает,— вставил всегда готовый возразить Кара,— что те духовные ценности, о кото-

рых ты говоришь, не отвечают требованиям новой действительности.

— И таким образом все находит оправдание...

— Не оправдываю, но хочу быть чутким к переменам, к новому. Жизнь, изменяясь, ставит перед нами новые требования, и мы должны быть готовы к ним. Мы должны суметь выковать новое оружие... Вот!

— Но, дорогой, ты совсем о другом говоришь...

Айк Шушан из-под очков иронически улыбнулся Кара. Не выносил его. Кто этот кривляка? Подобие другого подобия. Возникло в Европе литературное течение — футуризм, которое, видимо, имело там какое-то основание. Некоторые русские художники, усвоив внешние формы этого течения, создали собственное течение. Оно не лишено было странностей... Красили себе носы, щеголяли морковными венками, капустными орденами. Злили буржуа и очаровывали истеричных девиц. Кара усердно подражал. Носил длинные, цветные рубашки, афганскую шапку, высокие ботинки и считал себя апостолом новой жизни. А апостолы всегда немножко смешны.

— Ты совсем о другом говоришь,— повторил Шушан уже серьезно.— Все, что мы видим сегодня и критикуем,— не новое, а старое, гримасы древних масок... Высунувшиеся из глубин истории чучела...

— Забываешь, что мы в буре. Когда страна потрясена, люди теряют головы. Бегут туда, куда не следует, делают то, что в обычных условиях показалось бы смешным.

— Это несомненно так...

Зал постепенно захватывала публика. Новые посетители устраивались у занятых уже столиков, образуя большие группы, забивая проходы.

Дым. Гомон.

— Страшно смотреть,— сказал Эрьян.— Заметно, что эти люди многое перенесли. Растерянные взгляды, поджатые губы.

— Россия просеивается через гигантское сито: тяжелые зерна остаются, остальное — добыча ветров...

— Беженцы...

— Если хорошенько подумать,— воскликнул Султанян,— бегство — унижение. Человек никогда не должен оставлять свою родину, даже если его жизни грозит опасность. Беженец, в конце концов, только получеловек.

— Бежали от голода, лишений.

— Вот именно: боятся лишений. Но посмотрите, они уже похожи на гонимые ветром мертвые листья. И одного не понимаю: если миллионы людей мучаются, почему художники не должны быть с ними?

— Совершенно согласен,— сказал Кара,— совершенно согласен. Нужно иметь смелость принять действительность такой, какая она есть, принять и сделать ее предметом искусства.

— От этого не уйти,— согласился Эрьян.— Надо остаться, стоять на своем. Все мы ответственны за происходящее. И за будущее тоже...

— Просто удивительное зрелище эти беженцы,— после недолгого молчания снова заговорил Айк Шушан.— Смотрите, ведь это очень разные люди, здесь не одни художники да поэты. Приехали они — голодные, растерянные, забитые. Но быстро освоились, открыли множество лавок. Продавали и покупали все. Обменивали деньги, копили золото, серебро, драгоценности. Прошло немного времени, объявились новые дамы. Со звучными, трескучими фамилиями: баронессы, графини, княгини. Со сказочными веерами, любезными улыбками. Они стали покровительствовать художникам и поэтам...

— По традиции...

— Да. Под этим предлогом они открыли ночные клубы, где принимали вас благороднейшим образом, с почестями, снисходительными улыбками, и где вы могли встретить знаменитостей, о которых в свое время читали в газетах Петербурга или Москвы. Вам предлагали обязательную чашку чая. Подавали сладости. Одна из дам пела вполголоса. Беседовали об искусстве, спорили.

— А что в том плохого?

— Ничего. Даже очень хорошо. Плохое начиналось потом. Вас приглашали сыграть в рулетку... на благотворительные цели. Вы, естественно, принимали предложение, оставляли там свои последние копейки, кое-как выбирались оттуда...

— Вот в чем дело...

— Тифлис сейчас этим живет. Ночные клубы, красивые русские княгини, известные художники. Недавно был вечер, где один из поэтов читал свои новые стихи. Полно народу. В глубине зала — маленькая сцена. Раскатистые аплодисменты. Поэт вышел на сцену в длинной рубашке

бухарского шелка, с выкрашенным кончиком носа, с насурмленным под паяца лицом, с манерами третьеразрядного актера. Далеким и глухим голосом, мечтательно произносил непонятные слова. Дамы пришли в восторг, аплодировали, окружили поэта, пожимали ему руку, целовали. Потом — неизбежная рулетка... Рулеткой все кончается...

— Противно все это...

— К счастью,— сказал Перонян,— в этом отношении наша страна никому не подражает. Бедны мы и имеем честь оставаться наедине со своими проклятыми вопросами да трагедиями. Мы живем тяжко, настороженно: внешние враги, малярия, тиф, голод... И наши беженки — не княгини... Будет день, и мы из бед наших выкуем новую красоту: создадим глубокое, большое искусство...

Смолкли.

Каждый как бы изнывал под непосильным грузом. Мыслью вернулись в Айастан. Помолчали.

— Вы заметили, как прекрасна та высокая барышня, что подала нам чай? — спросил Шушан, как бы очнувшись от мыслей своих.

— Действительно...

— Из хорошей семьи. Образованная, воспитанная, тонкого вкуса.

— Она с первой же минуты привлекла мое внимание,— воодушевившись, сказал Эрьян.— Классически сложена, совсем как греческая статуя...

— Однако же... Нет, лучше не стану портить впечатления.

— Что ты хочешь сказать?.. Безнравственна?..

— Нет, нет, не то. Не смотрите на нее все сразу, не то догадается, что речь о ней.

— Ну ладно, говори, в чем дело?

— Взгляните, левое плечо ее всегда чем-то прикрыто, скрывает руку... Видите ли, эта рука заметно короче другой...

— Да?.. Как жаль ее!

— Послушай, а для чего ты об этом рассказал?

— Это вы настояли... И потом, хотел сказать, что каждое счастье скрывает какую-то рану, которую мы не видим. Говорили о нашей стране и наших бедах... Думаю: искалеченную красоту ничем не вылечить, а из

жизни, полной страданий, можно создать высшие духовные ценности...

— Не всегда,— вмешался Султанян,— не всегда... Длительные физические муки притупляют и приводят к апатии. Страдание прекрасно, когда оно питает творчество, окрыляет души, зовет к полноте жизни. Данте поднялся из мрака своего времени, он эхо наимрачнейшего периода Италии. Эхо и судья.

— Да, потому, что его гений, конечно же, связан с духом его народа. Он беспощадный судия во имя величайших традиций этого народа,— добавил Шушан.

Кара вскочил. Выразил протест:

— Традиции! Традиции! Отбросим навсегда эти истрепанные, дряхлые слова. Оглянитесь вокруг: жизнь сломя голову метнулась вперед, она мчится выпущенной из ружья пулей, а вы тут еще толкуете о традициях. Пришло время понять, что если сегодня мы оказались в таком плачевном положении, то потому лишь, что учили нас невежественные люди, бездарные учителя. Мы слышали всегда одно и то же: наше славное прошлое, наши добродетели, наше христианство. Саак, Месроп[1], создание письменности, светильник Просветителя, мудрость дедов, куст инжира в родном селе и заквашенный бабушкой мацун... Так нам пели, а каков результат?.. Результат налицо: мы не способны осмыслить современность, события, которые давят нас, время, которое мчится вперед. Что скрывать? — наши писатели несут бо́льшую ответственность за это наше неведение, чем кто-либо...

Ответил ему Султанян:

— Ну вот, ты опять горячишься, Кара. Конечно, ты прав, критикуя наших воспитателей: в этом, кажется, мы все с тобой согласны. Говорить о традициях, как эти господа говорили, признак сонливости и тупости...

— Именно так...

— Маленькие человечки произносили речи от имени нации. Старались скрыть свою посредственность за повторяемыми из века в век пустыми формулами. Старые идеалы свое сослужили и давно уже ничего не значили, отклика в умах не находили... Это ясно как белый день.

— Браво!

---

[1] Саак Партев и Месроп Маштоц: первый — католикос, покровитель новой письменности, второй — создатель армянского алфавита.

— Это так. Но не будем забывать о другом важном обстоятельстве: в жизни каждой нации прогресс означает не что иное, как новый возврат к ее сущности — к тем нравственным истокам, которые вскормили и определили ее. К тому чистому и прозрачному духовному источнику, откуда берут начало ее основные добродетели и на которые опирается ее воля к существованию. С этой точки зрения каждая подлинная революция настолько же ведет нас вперед, к новому, насколько она возвращает нас назад, но не к тому, что так несовершенно называют традицией, а к тому, что составляло духовную сущность нации, побудительный мотив ее зарождения и становления. И смена поколений и прогресс равно основаны на такой вот преемственности. Не знаю, понятны ли мои мысли?

Слова Султаняна напомнили Эрьяну речи встреченного в Айастане Петроса Марка. «Будь он здесь, не преминул бы высказаться. Кто знает, с каким подъемом спорил бы с этими людьми, которые с пеной у рта произносят туманные речи, а на деле...» Как простой человек, Эрьян был далек от подобных мыслей... И думал: «Претенциозными этими идеями не только не залечить ран родины, но и обыкновенной хижины не построить».

Подумал, горько усмехнулся.

— Знаете, встретил в Айастане,— начал он, но ему не дали продолжить. В эту минуту все повернули головы к ближайшему столику.

Невысокий юноша, выпучив по-лягушечьи опухшие глаза и размахивая короткими руками, громко декламировал нечто на непонятном языке. Потом кривил рот, мяукал кошкой, пел по-птичьи, кудахтал, блеял, рычал, выл... Прижимая руки к груди, вертел корпусом, глазами, растягивал бесцветные губы и — свистел, посвистывал, стараясь выразить таким образом какое-то душевное волнение, даже горе.

— Други, чего он разошелся? — удивился Эрьян.— Больной, что ли?..

— Нет,— серьезнейшим тоном ответил Кара,— просто поэт из литературной группировки, которую называют «Сорок градусов». Этот парень, мой друг, гениальный творец международной звуковой поэзии. Он читает поэму под названием «Скорбь матери на могиле сына». Красивое и впечатляющее произведение. Настоящее но-

ваторство — новая поэтическая форма, новые выразительные средства.

— Вот тебе на! — воскликнул Шушан, оборачиваясь к Султаняну.— Ну совсем в духе твоей проповеди — возвращение назад, обратно к варварству, дикости...

Все засмеялись.

— Это только свидетельствует,— невозмутимо ответил Султанян,— что всякую истину можно довести до абсурда... Я говорю о первичном духе народа, о первоначальном духовном взлете, а не о хождении на четырех лапах...

— Не будем спорить,— вмешался Перонян,— время идет, есть дела, и потом, надо обедать, не так ли?.. Пошли.

На улице Эрьян взял Пероняна под руку, подождал, пока остальные ушли вперед, и стал расспрашивать:

— Во-первых, зачем ты опять в Тифлисе?

— О чем спрашиваешь? Не знаешь, что ли?.. Теперь уже не только бумаги, но и типографских красок нет.

— Понял. А положение в стране?

— Плохо. После твоего отъезда еще больше осложнилось. Только разрешился конфликт с меньшевистской Грузией, нагрянули события в Карабахе... Турки не оставляют нас в покое... Исламистскими идеями они заразили часть азербайджанцев. И стычки не прекращаются.

— А кто за это все в ответе? — спросил Эрьян.

— Наши беспомощные руководители. Им не хватает гибкости, государственного ума... Вечные инциденты на границах, а у наших солдат ни одежды, ни обуви нет...

— А что союзные державы?

— Представь, ни слуху ни духу. В Европе и в Америке теперь вовсю орудуют старые политические волки — бессовестные, жадные. Союзники состязаются меж собой в измене и предательстве, обласкивают вчерашних врагов, вооружают их, чтобы потопить вчерашних друзей... Мы маленький, обескровленный народ, и в нашей стране ни нефти нет, ни золота. Мы не представляем для них ни малейшего интереса.

— А ваши,— спросил Эрьян,— что думают?

— Наши?..— сказал Перонян.— Цепляются за министерские кресла, лишь бы удержаться... Никого не заботит бедственное положение народа.

Пошли молча.

— А кроме этого... как там... друзья, знакомые?

Голос Эрьяна дрожал. Перонян улыбнулся:

— Понял, о чем ты. Редко вижу ее. Она пишет, наверное, да?

— Изредка... Месяца два назад настаивала, чтобы приехал, на два дня хотя бы, но не мог я тогда — самая горячка была... После еще два письма получил, но что-то, кажется, изменилось... Не как раньше...

— Если не ошибаюсь, твою комнату кому-то сдали.

— Сдали? Кому?..

Эрьян побледнел.

— Не знаю,— продолжал Перонян.— Студент, кажется: помогает Зварт сдавать экзамены. Их видят вместе... Да, еще...— акцентируя слова, добавил,— каждый раз, когда встречаю ее, она всегда спрашивает о тебе. Помню, как обрадовалась, когда рассказал ей о корабле...

В этот час улицы заполнила разношерстная фланирующая публика.

Группы юношей, гимназистки — всюду, на каждом углу.

Толпа непрерывно двигалась: половина вниз, половина вверх.

Интеллигенты с всклокоченными волосами, в немыслимой одежде. С затянутыми на черкеске ремнями, выкатив грудь, танцующим шагом шли горцы и провинциалы. Колышущие жиром женщины и мужчины, словно проглотившие палку.

Черная человеческая река текла до здания градоначальства, там растекалась, потом, сужаясь, двигалась к бывшему дворцу наместника и снова текла обратно. Эта жвачка безделья длилась довольно долго.

К трем часам все расходились по своим квартирам. Ждали вечера, когда снова выйдут и, с видом отдыхающего после трудов человека, пройдутся — от дворца наместника до градоначальства и от градоначальства до дворца наместника.

— Не выношу мещанства,— сказал Эрьян,— мир пошел вверх дном, а эти люди даже не изменились.

— Южная беспечность. Они знают, что все временно, что кто-то, обутый в железные ботинки, идет издалека, приближается...

— Судя по лицам, не скажешь.

— Имущие классы, они всегда такие. Жили чужим трудом и завтра — кто бы ни пришел — будут его трудом жить. Тунеядцы.

— А знаешь, думается иногда, как хорошо, что нам выпала другая судьба. Суметь все заново построить, сказать прошлому «нет», созидая, вновь создавать себя. Да, Султанян в чем-то прав, вновь обрести наивные детские глаза и увидеть мир таким, будто в первый раз его видишь...

— Забыть тридцать веков истории?

— Не говорю — отречься, но забыть — это да! Отныне не оглядываться, понимаешь, не смотреть назад. Начать новую духовную навигацию... Дерзать...

— Вот поговори об этом с политическими деятелями...

— Как бы не так... Торговцы льготами, ростовщики, эксплуатирующие ситуацию.

— Ведь и на них величайшая ответственность.

— Не возражаю. Знаю одно: мелки и ограниченны — и потому край наш так задыхается.

— Что, еще не проголодались? Идите быстрее...

Эрьян иПеронян поспешили за остальными.

3

Все пятеро нырнули в духан под старым домом.

Жирный, круглый, с толстыми усами хозяин подбежал к ним, показал разложенные на прилавке рыбные и другие блюда, принял заказ и проводил их в зал.

В сдавленных тяжелыми сводами комнатах было довольно темно. Из выходящих на тротуар окон свет проникал скупо.

Чья-то наивная кисть выписала по стене картины в ряд: невероятные пейзажи, портреты видных армянских, грузинских, русских писателей.

Грубые фаянсовые блюда. Жирная пища. Густые вина цвета крови. Крепкая сливовая и виноградная водка.

Столовая, как всегда, была заполнена интеллигентами. Выпуклые лбы, лица неудавшихся дервишей и апостолов, изборожденные щеки, остренькие маленькие бородки и глаза — эбеновые шарики.

Ели с большим аппетитом.

Со стороны посмотреть, подумал Эрьян, святые, а

едят, словно животные. Человек — животное. Благороднее всех ест крестьянин: завернутый в лаваш горный сыр — пища простая и благородная.

В глубине комнаты, за круглым столом, шумная компания. Гладкие лица, поджатые губы, горящие хмельные глаза,— армянские артисты.

Когда Перонян вошел, один из этой компании — здоровый, с ленивыми движениями борца и затуманенными глазами — вскочил, подошел к нему, поцеловал и, обращаясь ко всем, загремел во все горло:

— Перед вами, господа, передвижная казна республики Айастан... В свое время. Ну... когда в Венецианском дворце я был Отелло, он был дожем. Теперь, увы, он всего лишь распорядитель отпечатанных на бумаге воображаемых миллиардов...

Последовал дружный смех.

— Ты пьян, Тигран,— строго оборвал Перонян.— Не знаешь, что мелешь. Иди на место и, прошу, оставь меня в покое... я с друзьями.

— Иду, иду.

И, продолжая про себя смеяться, человек пошел на свое место.

Шутка обидела Пероняна.

— Вот люди,— сказал он,— которые не только далеки от родины в ее трудный час, не только не забывают пить свое будничное вино, но еще посмеиваются над теми, кто служит родной стране по мере своих сил.

— Противно! — воскликнул Эрьян.

— Ничего противного,— чуть заикаясь, вмешался сидящий за соседним столом человек.— Нельзя требовать, чтобы люди е-е-ехали в Ереван и спали на улицах. Невозможное дело найти п-п-простую комнату, не говорю уже о г-г-голоде... Пра-авительство должно было позаботиться об артистах.

Перонян не ответил.

— А что, верно... Все, что говорит,— верно,— поддержал другой.

— Был у них маленький театр,— остро взвизгнул третий,— так они заняли его под парламент. В таких условиях зачем артистам ехать туда, не понимаю? Было бы это в сбор урожая, ладно, а зимой куда, в такой мороз?

Эрьян пытался держать себя в руках. И не сумел.

— Лучше оставайтесь, где сидите. Верно, в Айастане нет места... там нет места для паразитов...

За столами поднялся шум. Заговорили все разом.

— Как? что он говорит? Паразиты?.. Мы?..

— Я не позволю, чтобы какой-то господин оскорблял людей, которые всю свою жизнь посвятили национальному искусству!..

— И у нас д-д-дети есть...

— О каком театре может идти речь, когда на улицах мрут?..

— Не до актерства, теперь время воинства, войны... Здоровые люди могут выполнить свой долг...

Реплики сыпались довольно долго.

— Хочу надеяться,— обращаясь к своим друзьям, зло сказал Эрьян,— что завтра, когда все войдет в русло, вот перед этими людьми закроют двери страны... Что за предубежденность такая? Критикуют, требуют, презирают...

— Жалею, что зашли сюда,— добавил Перонян.— Болото, люди, больные духовной малярией...

Обедать кончили. Большая часть посетителей ушла, а Эрьян и его друзья остались.

— Я насмотрелся за свои поездки. Иной армянин, когда бросает свои горы, становится другим, утрачивает какие-то важные особенности национального характера. Пусть числом будет нас мало, не это важно, но будем целиком такие, какие мы есть на самом деле...

Эрьян сказал это с жаром.

— Трудные вопросы,— задумчиво произнес Перонян.— Однажды сама жизнь решит их. Однако не стоит забывать и того, что, если завтра удастся создать устойчивое государство, армяне со всех мест придут...

— Это ничего, пусть придут, воздух родины их излечит,— сказал Шушан.

— Уверен?..

— Сложно все это,— воскликнул Султанян,— сложно... Наше племя, как и все ныне живущие племена на свете,— смешанное. В течение веков в Айастан приходили и уходили другие племена и, естественно, оставили след в нашей крови.

— Ты прав,— согласился Перонян,— даже физически мы отличаемся: возьмите хотя бы различные провинции наши, не говоря уже о Западной Армении и других местах...

— Да, армяне, они разные. Нет ни одной чистой нации, но есть все же национальный характер, национальный образ мышления...

Султанян внезапно умолк, положил руки на стол, склонил голову набок. Затронутые здесь проклятые вопросы давно мучили его. Он, как и многие другие, хотел честно заглянуть в себя, понять и осмыслить современность и свое место в ней. О, каким путем можно отречься от недостатков нации и вновь обрести те добрые силы, которые подготовят ее к новой жизни?!

— Сложные вопросы,— продолжил опять Султанян,— настолько сложные, что человек просто теряется... Часто после долгих поисков кажется, что вот наконец ты нашел заветный ключ, который откроет двери истины... А хорошенько прикинув умом, сопоставив свою идею с самой жизнью, вдруг видишь, что есть много факторов, подспудных сил, которых ты не учел, что ты снова перед загадкой. Неразрешимость ее обескураживает, удручает. Вопрос о том, что мы в своих рассуждениях часто в расчет берем отдельные индивидуальности и совершенно забываем о массе, о простых людях, которых большинство, они и составляют нацию. Да, они определяют нацию...

— Есть еще язык...

— Да, и язык. Но когда центростремительная сила убывает, когда нет в стране притягательных начал, усиливаются центробежные элементы. Они все извращают: язык, религию, национальность, чувство родины. Все ценности становятся условными. В этом настоящая трагедия...

— Так возникает призрачный национальный дух армянских колоний.

— Да! Нация прекращает свое существование. Ее место занимает какое-то подобие нации. Язык вырождается.

— Пишут словами-трупами,— прибавил Айк Шушан,— создают неживые арго.

— Искусственные, лживые псевдоязыки. Величие Абовяна в том и состоит, что когда он вернулся из Германии в лоно своего народа, то заговорил с ним его же языком, пусть грубым и неотесанным. Но зато — никакой фальши, никакого украшательства! И создал блестящие литературные произведения, необходимые как хлеб... Наш бедный крестьянин не высаживает на своем поле

кусты роз, а сеет хлеб... Между тем венецианские монахи и господа из других колоний, не имея даже поля, выделывают искусственные розы: красивые, но бумажные. Так исчезли краеугольные камни... Нет у нас господствующего национального образа мышления. И нет объединяющей духовной силы, воодушевляющей нацию, утверждающей ее.

— Друзья, выпьем хотя бы,— предложил Эрьян, заказывая бутылку вина.

— Твое здоровье, Султанян... Как хорошо ты сказал: «Нет объединяющей духовной силы».

Султанян выпил и с минуту молчал, словно вслушиваясь в растущую в себе сумятицу голосов.

— Человек иногда боится думать,— продолжал он,— боится излить в слова то, что глухой волной бьет в его сердце... Вот поднялись массы, высвободились новые могучие силы, перепутались границы, родились новые аппетиты и новые требования. Мир потрясен бурей, а скопившиеся на горизонте тяжелые тучи вещают нам о еще новых, еще более страшных бурях... Нам нужно пройти через эти бури: пройти и выстоять. А выстоять можно, только обладая твердой позицией... Хотим — не хотим, а кровь наша льется. Но во имя чего? Смерть, принятая во имя высокой идеи,— духовный маяк, озаряющий жизнь... Но где эта идея?

— Не можешь сказать, что мы не боролись... Известны подвиг и сопротивление нашего народа,— вставил Перонян.

— Я не отрицаю этого... Я говорю, мир пошел вверх дном, человечество утратило равновесие. Идущие снизу мощные силы бросились в бой — обрести новые жизненные возможности. Все, что казалось прочным, сегодня трещит. Государства рушатся, меняются, перекраивается карта мира. Для нас это не новость: наша история всегда была страшной, и мы всегда жили на грани смертельной опасности. А не вымерли,— потому что в час опасности мы вновь обретали себя — нашу основу, наше единство, наше духовное лицо...

— Слушайте, да вы ничего не пьете! — запротестовал Эрьян.

Ему явно не нравились подобные абстрактные рассуждения и мрачные прогнозы.

— То есть как не пьем?

— А стаканы-то полны...
— Твое здоровье...

В комнате по соседству тоже сидели люди и тоже пили.

Один пел вполголоса печальную восточную песню. Как скорбь, идущую из самого сердца.

— Баяти[1] поет,— сказал Перонян.

— Что?

— Баяти. Персидскую песню...

Молча внимали.

— Мы тебя прервали,— сказал Айк Шушан, обращаясь к Султаняну.

— Я все высказал...

— Вопрос в том,— вмешался Кара,— как обрести это единство, о котором ты говорил? Армяне очень разные — ты сам признал. Возьмем, к примеру, константинопольца и поставим его перед карабахцем... даже язык нисколько не схож...

— Канарейка и ястреб...

— Метко подмечено...

Засмеялись.

— Это несерьезное возражение... Такие различия есть у всех народов: например, сицилийцы и венецианцы...

— Естественно, это даже составляет богатство народа... Всевозможные типы, всевозможные говоры... «Давид Сасунский» создавался во многих провинциях, на многих наречиях...

— Но Давид Сасунский не воспет на константинопольском армянском...

— Это представить трудно: константинопольский армянский язык и наш эпос о Давиде Сасунском... Между ними пропасть.

— Эти люди жили там веками, при Византии даже правителями были и все же не построили в армянском стиле ни одной церкви...

— Это удивительно, не правда ли?

— Константинопольские армяне составляют колонию.

— Но ведь и во Львове была колония, не так ли?

— Не то,— сказал Султанян,— не то. Оставим Кон-

[1] Баяти́ — жанр восточной народной песни.

стантинополь... Наш героический эпос создавали многие провинции на своих диалектах, но вдохновлялись они единой доминантой. Это главное. Герои поэмы подняли в сердце народа властный голос: создать лучший и справедливый мир, жить и бороться. Дух везде был един.

— Но ведь в духовный мир народа, племени обычно входят различные духовные течения: разные мифы, разные божества...

— Человек гор, человек равнины...

— Фракия, Урарту...

В соседней комнате больше не пели.

Молча пили.

— Основные исторические типы армян сохранились,— продолжал Султанян.— Крупными штрихами можно приблизительно определить их. Прежде всего фракийский тип. Фракийские армяне прошли всю Малую Азию всесокрушающей бурей. Лучники, каменотесы, канатоходцы, бегуны. Бойцы, завоеватели. Их боги были хмельными, питавшимися кровью богами. Фракийцы почитали героев, огонь, солнце, горы.

— Их следы и сегодня можно увидеть в Тикоре, Багаране. Поистине сдвигали с места скалы... циклопический труд,— добавил Перонян.— Смотришь, и голова идет кругом...

— Да. Но есть и другие... Это, говоря по сути, писари, бухгалтеры, торговцы, путешественники, иногда художники, грамотеи. Они занимались обменом товара, заимствовали ценности у других, хранили и украшали капища, храмы.

— Отличные дипломаты...

— Богатые, миролюбивые. Лишенные, однако, полета, лишенные жертвенности. Без героев. Без смелости. Боящиеся божеств коленопреклоненные молельщики. Раболепные и хитрые. Ковровая пыль...

— Беда в том, что, когда страна оказалась в опасности, они удрали, разбежались по всему свету...

— И чужеземцы по ним судили о нашем народе...

— Да, пойди разъясни чужеземцам, что это только часть армян, что труженики наши всегда оставались на своих землях, в своих горах, боролись, созидали, отстаивали себя.

В соседней комнате снова пели.

Сидевшие за столом тихо отбивали пальцами такт, а широкоплечий, высокий мужчина, заправив полы черкески за пояс, танцевал.

Там ли ти бл
Бл ли ти там
Ти бл ли там...
Там-та-бтам...

Пели, отбивали такт... Танцоры менялись.

Минуту все смотрели в ту сторону.

— Кавказ! — улыбаясь, сказал Кара.

— Да, о чем говорили...

— О национальном типе.

— Да,— сказал Султанян,— пришло время различать типы.

— Легко сказать... Попробуй, различи.

— Не легко. Оглянитесь на наше прошлое и наберитесь смелости.

— Наша история закрытая книга...

— Но если мы не поймем ее, кто же поймет? Наши христианские историки все исказили и даже подделали, чтобы утвердить библейское мировоззрение...

— Это было ужасным преступлением...

И Кара горькими и беспощадными словами высек клерикалов.

— Оставим это,— продолжал Султанян, терпеливо выслушав Кара,— не это главное сейчас... Когда мы вглядываемся в свое прошлое, нам ясно одно. За тридцать с лишним веков армянская нация прилагала сверхчеловеческие усилия для создания своей культуры, но всегда она оставалась на полпути, не могла завершить начатое дело... Ассирийцы, римляне, византийцы, монголы, персы, арабы, турки приходили и разрушали все, что мы строили, грабили нас, уносили лучшее...

— Когда все рушится,— вставил Перонян,— соседи растаскивают последние камни твоего дома...

— Правители Турции разрушают великолепные памятники архитектуры в наших провинциях, чтобы от армян и следов не осталось,— вставил Айк Шушан.

— Это старые раны, о которых не стоит вспоминать,— сказал Султанян.— Перонян прав: когда нации ослабевают, их презирают и грабят. Когда мы снова крепко станем на ноги, число наших друзей сразу же возрастет.

Прежде подумаем о себе, нам следует духовно возродиться, а там увидим...

— Только вот, Султанян, ты говорил о сверхчеловеческих исторических усилиях наших создать истинную культуру... Тебя перебили,— сказал Кара.

— Да, я хотел сказать,— продолжал Султанян,— эта культура — душа... Не материальные ценности, не грубая сила, а духовность: озаряющий и обогащающий жизнь светильник... Итак, если хорошо изучите нашу историю, увидите, что с самого начала, от легендарных дней Ара́ Прекрасного, мы искали этот свет души...

Солнцеподобный царь Ара
Не принял сердца Шамирам,
С посланцем тьмы затеял бой —
И пал с пробитой головой... [1]

Кара продекламировал эти строки из своего стихотворения и посмотрел Султаняну в глаза.

— Да, так,— кивком головы подбадривая Кара, продолжал Султанян.— Легенда об Ара и Шамирам — о борьбе двух начал. С одной стороны, Ара — сильный, ловкий, смелый, светлый провидец, цельный и могучий бог солнца, одаряющий людей счастьем; с другой стороны, Шамирам — зной ассиро-вавилонских пустынь; голубка и змея, золото и преступление, храм почитания луны...

— Забываешь, что побежден был Ара,— заметил Шушан.

— Так и должно было быть. По закону трагедии герой должен погибнуть, быть увенчанным смертью, чтобы возродиться. Солнце заходит для нового восхода...

— Романтично,— заметил Перонян.

— Для нас, но не для нашего народа,— ответил ему Султанян.— Наш народ никогда не отступал от этого солнечного начала. Прежде всего не забывайте, что Зороастр родился в одной из армянских провинций, в Карабахе, и мы, вместе с парфянами и персами, веками его почитали. И христианство мы восприняли по-своему. Для нашего народа Иисус — солнце. Иисус — это воскресший Ара. Свет, огонь. Наш крестьянин хранит в своем очаге негасимый огонь, клянется солнцем, почитает свет и молится лицом на восток...

[1] Здесь и далее стихи в переводе А. Сагратяна.

— Это верно,— согласился Перонян,— в народе говорят: «солнце мое», «твое солнце свидетель», «да угаснет очаг твой»...

— И еще говорят,— заметил Кара,— «человек — бог»...

— Человек обязан стать светом, стать богом. Наверно, у наших предков были духовные силы для достижения этих высот духа, силы, которые мы утратили.

Умолкли.

В соседней комнате опять пели. Звучала жалобная восточная мелодия.

Человек с бородкой, зажав голову руками, слушал. Лицо покраснело, глаза опухли.

Все были пьяны.

Эрьян, который не вникал в речи, произносимые за столом, отдался песне, наполнил стакан, выпил и сильно взгрустнул.

Вспомнил Зварт.

— Будь что будет,— сказал и обвел глазами товарищей,— будь что будет, а пока выпьем...

Засмеялись.

— Что, я не так сказал? — смутился он.

— Нет, я вспомнил, что тебя зовут Ара...— сказал Перонян.

Эрьян вспыхнул.

— Ты тоже скажешь...

— Это все хорошо и даже очень красиво,— сказал Кара, обращаясь к Султаняну,— но повседневная жизнь, ее требования... объективные условия...

— Знал, что непременно всплывет этот вопрос,— ответил Султанян.— Объективные условия, исторические законы... Они есть, безусловно, существуют, и, однако, пусть не покажется странным, если скажу, что племя бухгалтеров и дьяков переоценивает значение этих факторов.

— Я дьячок? — удивился Кара.

— Нет, нет, не о тебе речь,— успокоил его Султанян.— Говорю вообще... Ну, возьмем хотя бы нашу историю: если бы доминировал только экономический фактор, мы бы давно подчинились персам, арабам или

туркам, а ведь наша история полна последовательных трагических актов во имя торжества христианской веры.

— Ну и пессимист ты! — воскликнул Перонян.

— Прошли времена, когда можно было, уединившись в своих горах, жить традиционной нашей жизнью... Сегодня все в мире взаимосвязаны, и каждый народ обязан внести свой вклад в бюджет человечества,— сказал Шушан.

— Очень верно,— согласился Султанян.— В этом-то и вопрос: какие у нас ценности, чем мы можем принять участие в жизни человечества... Сегодня мир гонится за материальными благами и во имя их присвоения разрушает все подлинные ценности...

— Разрушили и наш дом,— сказал Эрьян.

— Да! Наступила эра машин. Против машины — машина, против завода — завод. Сегодняшние боги — железо, сталь, цемент. Мы, маленькие народы, тоже примем участие в этой гонке. Век машинизации, век индустриализации! Машины, заводы, железо, сталь, цемент... А куда денутся общечеловеческие ценности, духовность человека, его нравственность... Нет, если мы, армяне, хотим быть верны своим изначальным идеалам, мы должны отстаивать эти ценности.

— Это же голая лирика! — сказал Перонян.

— И пусть лирика,— ответил ему Султанян,— пусть чистая лирика. Она так же реальна, как любовь и смерть, и, по крайней мере, не менее важна для жизни, чем железо и цемент...

В соседней комнате дрались.

— Братец, я не так сказал... Я сказал...

— То есть как не так сказал, говоришь?.. Нет, видали такое? Пришел, за мой стол сел, мое вино пил...

— Братец, я не так сказал... Я сказал...

— То есть как не так сказал, говоришь?

И человек с бородкой, пошатываясь, выпучив воловьи глаза, бил себя в грудь и кричал.

Длилось это несколько секунд. Потом снова сели и продолжали пить.

Перонян, поднявшийся, чтобы лучше разглядеть разыгравшуюся в соседней комнате сцену, вдруг заметил вошедшего знакомого и позвал его:

— Мартик, иди к нам.

Близорукий человек с короткой шеей, седеющими волосами подошел, подал каждому руку, подсел к столу. Это был редактор местной армянской газеты. Своими близорукими глазами безразлично окинул каждого, спросил:

— Что, кутили?

— Нет, так просто, беседовали...

— Может, выпьешь?

Головой мотнул — нет.

— Никак, друг,— пошутил Перонян,— дела у тебя плохи...

Редактор не ответил. Закурил.

— Что пьете? — спросил он машинально.

— Кахетинское...

Умолк. А потом спросил:

— Знаете?

— Что?

— ...Там опять горячие дела...

— Где это «там»?

— Где же еще? В нашей почтенной стране...

— Будет тебе! Пугаешь, да? Ты зря не мели...

И Перонян недоверчиво посмотрел ему в глаза.

— Нет, клянусь, это правда... только что телеграммы пришли...

Все потянулись к нему.

— Всеобщая мобилизация объявлена,— продолжал редактор бесстрастным голосом.— Военное положение... Сбор оружия...

— Война?

— Подогреваемые турецкими агрессорами, темные слои мусульманского населения в районах Беюк Веди, Шарура и Нахичевана напали на наши войска и продвигаются к Зангезуру.

— Турецкие военачальники давно готовили эту операцию...

— Спешат. Хотят поставить мирную конференцию в Париже перед фактом.

— Вот так дела...

— Нужно немедленно вернуться! — взволнованный, воскликнул Эрьян.

— Об этом надо спросить в представительстве рес-

публики. Газеты скоро выйдут — все станет известным, и, наверное, многие поедут...

Все посетители столовой собрались вокруг редактора. Шумели, комментировали, волновались.

Ругали державы.

Эрьян и его товарищи решили немедленно идти в армянское представительство за подробными сведениями.

На улицах армяне вырывали друг у друга свежие газеты. Лица были встревоженны. Везде стояли группами. Говорили, спорили, волновались.

— Слушай, пять лет уже, пять лет, пять лет такое продолжается...

— Говорят, оружия нет... Только и говорят: оружие, оружие, оружие...

— Здесь оружия полно, только грузинские власти не разрешают перевозить.

— Не понимают, что если нас победят, то и они побеждены... Турки на все Закавказье зарятся...

И голоса уходили вглубь и дрожали.

Эрьян и его товарищи шли молча, торопились.

«Что теперь будет с кораблем? — думал Эрьян.— Что будет с Зварт? А ведь я обещал приехать к ней в случае опасности. Нет, надо ехать в Армению».

У армянского представительства толпился народ. В большинстве своем молодые люди, готовые записаться в солдаты.

Двери закрыли, и никого не пускали внутрь.

После долгих препирательств со швейцаром Перонян, как правительственный чиновник, сумел вместе со своими товарищами пройти в посольство.

В коридорах ждало много народу. Говорили тихо, шепотом, точно в доме лежал покойник. Изредка быстрым шагом проходили чиновники. На вопросы отвечали неопределенно, пожимали плечами.

Посол совещался с французскими и английскими офицерами.

— Вот и Аракел! — воскликнул Перонян и подбежал к одному из проходивших секретарей.

— Кто хочет уехать в Айастан,— сказал секретарь,— может свободно ехать. Хотя на наши запросы Ереван пока не ответил.

— А что союзники? — спросил Перонян.

Секретарь развел руками и грустно улыбнулся.

— Не надо возлагать больших надежд. Эти люди представления не имеют о нас и о нашей стране. И еще надо бы вам знать: оружия у них здесь нет и, в лучшем случае, они обратятся в Европу за подмогой. Можете себе представить?..

Никто не проронил ни слова.

— Теперь говорите — что решили? — обратился к товарищам Эрьян.— Я решил ехать немедля.

— Я тоже,— сказал Перонян.

— И я,— добавил Султанян.

Остальные переглянулись и ничего не сказали.

— Сперва узнаем, что ответит Ереван,— уже у выхода сказал Айк Шушан.— Сперва узнаем...

На улице расстались.

— Значит, через два часа встретимся на вокзале,— предложил Перонян.

Эти два часа показались Эрьяну бесконечными.

Поспешил в гостиницу, уплатил по счету, взял сумку и, посмотрев на часы, решил идти к вокзалу пешком.

От Головинского проспекта свернул направо, по спуску вниз, постоял на мосту через Куру.

Мутная река. У берегов — рыбачьи лодки. Пустые больше. И только в одной сидел человек: забросил удочку и терпеливо ждал. Эрьян любил рыбаков да пастухов.

Прошел мост, свернул на Михайловскую. Длинная улица.

Его удивляло, что люди шли спокойно, не спеша, когда там, в Ереване, было так тревожно.

Корабль! Зварт!

Шел быстро. Почти бежал.

Посмотрел на часы: оставался еще час.

Корабль! Зварт!

Перед одним из магазинов — корзины с фруктами. Особенно хороши были яблоки. Большие, холодные, красные, блестящие.

Решил купить.

— Почем фунт?

Торговец фруктами — долговязый, болезненный человек с гноящимися глазами.

— Два миллиона.

— Два миллиона? — поразился Эрьян.

— А что стоят сегодня деньги? — ответил торговец.— Ты сперва на эти фрукты посмотри, потом на эти деньги.

Взял со стола пачку грязных смятых бумажек и засмеялся.

Эрьян быстро вышел. Торговец выбежал следом и, став на тротуаре, помахал руками:

— Разве это дело?

Дело... дело... дело — отдалось эхом у Эрьяна в ушах.

Маленькие домики. Узкие грязные улочки. Вправо, снова вправо. Острый запах хаша[1]. Еще рыбы, еще уксуса.

Дело... дело... дело...

Корабль! Зварт!

Перонян уже стоял перед зданием вокзала. Улыбался.

— Опоздал...

— То есть как?

— Напрасно пришли на вокзал...

— Нет. Был опять в посольстве, видел телеграммы из Еревана. В людях нет нужды. Напротив, не хотят лишних ртов. Оружия просят. Да, добрая весть для тебя... А ну, погляжу, пляши!

— Ну, что?

— Видел грузинского министра: говорили о твоем корабле... Все распоряжения отданы, так что ни к чему тебе ждать здесь... Я бы на твоем месте тотчас же уехал бы в Батум...

— А если забудут о своем обещании?

— Я буду здесь и напомню.

Зашли в привокзальный буфет.

— Выпьем чего-нибудь...

— Выпьем...

— А я-то думал, завтра будем в Айастане...

— Бывает так. Собираешься на север, а едешь на юг...

— Крепкая водка...

— Закуси...

---

[1] Хаш — наваристый суп из телячьих ножек.

Корабль! Зварт!

— Через час отходит батумский поезд. Советую уехать.

— А если Ереван в опасности?

— Фронты от Еревана далеки. Уверен, несмотря на все трудности, наши приостановят врага.

— Будь здоров.

— Удачи нам!

Все Закавказье представлено было в буфете. Грузины, армяне, азербайджанцы, аджарцы, осетины, русские, персы, абхазцы...

За одним из столов сидела группа отбывающих в Айастан молодых армян.

— Посмотри-ка на них,— сказал Перонян.— Печальны они все, расстроены...

— Пей.

— Твое здоровье. Увидимся в Ереване, вместе с твоим кораблем.

— Дело... дело... дело,— сказал Эрьян.

— Что это?

— Так... Будь здоров...

Колокол загудел в ночи. Человек в форменке громовым голосом пригласил в поезд. Толпа, вдруг забеспокоившись, забегала.

Зварт!

Батумский поезд, громыхая, отошел.

4

Разверните карту, положите палец на Армянское нагорье.

Холод. Снег. Безлюдье. Ветер — с разорванной грудью, с завываниями. Истоптанные буранами поля. Здесь и там одинокие высоты. Холмы с замершими деревьями. Белые равнины. Отвесные скалы. Пропасти, отзывающиеся ледяными голосами.

Край одиночества и безмолвия.

Уснувшие на склонах гор, по шесть месяцев мертвые села. Вырубленное в скалах жилье, приставшие к вершинам холмов храмы, где полыхает пламя неслышных молитв.

Дрожащие всем телом маленькие поселения.

Сидя перед очагами, старые бабки бьют себя в грудь костлявыми кулаками и высохшими губами молятся.

— Святой Саргис и святой Карапет, святая Анаит и святой Аракел...

Ночь. Отовсюду доносится гул оружия.

Идет он с ближних полей, холмов, склонов гор. Доносится, отдается многократным эхом, растет, мешается с воем ветра.

— Святой Саргис и святой Карапет...

И пока бабки дрожащими руками ворошат огонь и, молясь, дуют на пламя,— в утренних сумерках просыпается село. Селяне несут корм коровам, беседуют со скотиной. Коровы жуют жвачку и слушают, и, отворачиваясь, радуются одним глазом. Собаки фыркают и — глупо счастливые — лижут коровам морды. Потом лают на ветер. Выбегают, уши кверху, разрывают снег и, поджав хвост в страхе, вбегают обратно.

Голоса орудий слились с воем ветра.

Селяне, озабоченные, поднимаются на крыши и из-под руки обыскивают пространство. Снег, ветер. Трещат пулеметы.

— Винтовка...

— Не винтовка, бог с тобой, пушка...

Внизу, по кромке ущелий тянется крестный ход.

Села пустеют. Мужчины, женщины, коровы, ослы, проваливаясь в глубокий снег, подставляя головы ветру, уходят.

Со всех сторон идут солдаты. Лезут в гору.

Враги укрылись за скалами и стреляют по ним. Стреляют и с холма напротив. Хотят окружить продвигающийся вперед армянский полк.

Турки перешли границу: им противостоят вооруженные крестьяне.

В Зангибасаре бои!

Эчмиадзин под угрозой!

Армяне! беритесь за оружие!

На фронт! на фронт!

Со всех сторон огонь, ливень пуль, поднятые в воздух снарядами села.

Вся провинция Карс грохотала брошенной в пасть ветров огромной пустой жестяной коробкой.

Горели леса Сарыкамыша.

Снег смешался с кровью.

А идущие по вершинам гор облака ничего не слышат. Ветер проглатывает рев орудий. Скалы тихо звенят. В бездонных ущельях просыпаются тревога и злость.

Разверните карту...

В Ереване двери домов на запоре. Холод. Никто не осмеливается выйти. Разведенные на углах улиц костры давно погасли: зола остыла.

Колокола церквей звонят в мерзлую пустоту. Небо нависло тяжелое, неподвижное.

В подворотнях беженцы так плотно прижались друг к другу, что кажутся одним многоруким телом. Когда лихорадит одного, вся эта масса тел шевелится, точно упавшее на спину, агонизирующее чудовище.

Но понемногу небо раздвигает занавески на своих окнах. Ветер отряхивает лапти о двери. Люди позевывают и смотрят в пустоту.

Это час, когда умирающие испускают последний вздох, когда беременные женщины выставляют животы и душат крик, когда старухи высохшими губами раздувают угли в самоваре и трубы казарм играют подъем.

В нижней части города мечеть, выложенная цветными плитками, молчит. Ни один муэдзин не призывает аллаха.

В отдалении — древняя церковь Святого Креста, она склонилась к ширящемуся вниз полю, по которому бежит шумливая Зангу, и озабоченно смотрит в это белое пространство. Одиноко гудит колокол.

Небо проглотило все горы. С крыш сыплется снег.

Монахи протирают глаза и дрожащей рукой зажигают керосиновые лампы. Голодные. Молятся.

В казармах звучат короткие команды. Труба рвет воздух, звенит на последней ноте и умолкает. Шаги отбивают по земле — раз-два, раз-два!

Третий полк уходит на фронт.

Перед большими воротами, откуда должны выйти солдаты, несколько женщин, в летах уже, дрожа от вол-

нения и холода, хотят в последний раз увидеть своих сынков. Озабоченными, острыми глазами ищут по рядам. Находят, бегут за ними. Старые, скрюченные, смешные.

Впереди, на коне, едет молодой офицер. За ним, выставив живот, шагает толстый полковник. То и дело поправляет плохо затянутый ремень.

Гремят барабаны. Оркестр готовится играть. На подходе к маленькой площади, куда должны прибыть высшие армейские чины, министр, вдруг взрывается сверкающая медь оркестра, и город оглушен звуками марша.

Испуганные вороны взлетают с деревьев, выбрасывая в небо черные флажки своих крыльев.

Солдаты замирают.

Площадь пуста.

Матери, скучившись, замотав головы шалями, мерзнут, тревожно всматриваются в остервенелые глаза своих детей. А глаза солдат отвечают им горькой улыбкой.

Толстый полковник ходит беспокойно взад-вперед, наконец ему удается затянуть ремень.

Идут! Идут!

Офицеры бегом занимают места перед строем. Команды. Барабаны, трубы.

Идут от здания парламента.

Команды.

Среднего роста господин, с заспанными глазами и в очках, подняв воротник пальто, упрятав руки в карманы, возглавляет группу высших офицеров, которые шагают, слегка покачиваясь, звеня шпорами.

На офицерах серые шинели, блестящие ботинки, широкие и позолоченные погоны. На других — япунджи, папаха, кривая серебряная шашка. А кое-кто в сапогах, коротком пальто, высокой меховой шапке.

Министр вступает на площадь. Оркестр гремит торжественным маршем. Толстый полковник, круглый и подвижный, подходит к нему, щелкает каблуками, рапортует.. Министр слушает. Снимает шапку, подставляя лысую голову ветру. Выходит вперед. Громко приветствует полк и быстрыми движениями потирает застывшую лысину.

Солдаты, широко открыв рты, как бы заглатывая воздух, отвечают как положено...

Матери стоят прикрыв глаза, зябнут.

Группа офицеров обходит строй и строгими глазами оценивающе осматривает каждого солдата с ног до головы.

Потом министр возвращается на середину площади, поигрывая шапкой в руке, говорит напыщенную патриотическую речь. Матери расстраиваются совсем: начинают плакать, прижимать руки к груди.

Беспризорники выбегают вперед — поглазеть. Прыгают на месте, чтобы согреть босые ноги, и, не выдержав холода, убегают.

Речи закончились.

Бьют барабаны, гремит оркестр, взмывают над строем знамена. Команды. Полк направляется к железнодорожной станции. Матери, сжав посиневшие губы, сгорбив спины и путая шаги, бегут за полком, хлопая по земле шлепанцами.

На опустевшей площади остаются одни вороны.

Ветер стучит металлическими крыльями.

Аппараты Морзе прошивают пространство вестями.

«...В районе Каракурта бой длился всю ночь тчк Тридцать убитых сто двадцать раненых тчк Село в наших руках тчк В окрестностях Веришана предприняты новые вылазки...»

«...Сегодня вечером в семь двадцать пять заняли Башкеой Бегкеой Мкетсет тчк Турки ждут подкреплений тчк Острая нехватка снарядов тчк Нужда в медикаментах и врачах тчк Мороз 39 градусов тчк Захватили три орудия десять пулеметов 64 винтовки...»

«...Зангибасар тчк Села очистили без потерь тчк Люди без обуви и особенно без табака тчк Шлите деньги и патроны тчк Моральный дух высок стужа лютая тчк Нехватка теплых носков можно портянки тчк Ожидается наступление...»

Аппарат Морзе стучал не переставая.

Солдаты пили чай. Ругались: обещанное англичанами обмундирование не поступило!

В городе открываются магазины.

Кунжутное масло окаменело в бочках. Каурма из баранины не отковыривается. Водопроводные трубы полопались. Подвешенные к потолку низки воблы одеревенели. Печные трубы гонят дым обратно: невозможно дышать.

Школы закрыты. Нечем топить. Руки у детей опухли; плачут и дерутся.

Молодой офицер — представитель великой державы — в полупальто из дорогого меха, в толстых спортивных ботинках, с лыжами на плече, неторопливо поднимается по улице Астафян. Доходит до верхнего плато, становится на лыжи, катит вниз до мечети и снова поднимается вверх по улице.

Розовощекий и синеглазый.

Всем улыбается.

Все отвечают улыбкой и думают: «Вот, Европа развлекается...»

Чахоточный скрипач, живущий на той же улице, восторженными глазами провожает лыжника из окна своей комнаты.

«Вот настоящий маркиз,— мечтательно думает он.— Да, маркиз...»

Быстрыми движениями потирает руки о грудь, снимает со стены скрипку. Хочет сыграть рондо или менуэт. Хочет доставить удовольствие воображаемому маркизу.

А канифоли нет. Волос на смычке рвется, смычок не задевает струн, не извлекает звуков.

Холодно в комнате. Скрипач кашляет, отбрасывает скрипку и трет пальцы о пиджак.

— Маркизы Ватто и Шардена. Рондо! Менуэт!

Забирается в постель, натягивает на голову одеяло и проклинает Европу.

За что армяне проклинают Европу? Получено же пять мешочков хинина и литр йода.

5

Дома на берегу Севана завалены снегом, закованы в лед.

Микаэл Туманян сидит у керосиновой лампы, греет руки.

На дворе мороз обжигает огнем. Работы прекращены. Корабль, почти готовый, лежит трупом: ударишь молотком — стонет, трещит.

«Предположим, я на Дальнем Севере,— думает Туманян.— Надо дождаться весны».

Постель. Несколько книг. Немного консервов.

Одиночество.

Каждый раз, когда ветер завывал над крышами и пошатывал стены, он мыслями уносился в Балтийское море. Красивый военный корабль, на котором он служил, режет острым носом неспокойные волны, легко скользит, вытянув свой чуть подрагивающий металлический корпус.

Стоя на втором мостике, он смотрит на набегающие волны и думает о красивой девушке, с которой встретится сегодня на балу, устроенном высшим обществом Кронштадта в честь офицеров флота.

В семь часов должны быть у пирса.

Новый парадный мундир его давно отутюжен. Корабль пришвартуется — кончится его дежурство. Кинется в каюту и быстро-быстро, как все другие офицеры, умоется, побреется, причешется, оденется.

И вот залитый светом зал в цветах.

Музыка, красивые женщины. Прибывшие из Петербурга высокопоставленные гости. Адмиралы. Сверкающие мундиры, звон серебряных шпор, золоченые аксельбанты.

Первый танец начался. Молодой офицер с их корабля руководит танцами.

«Jnvites vos dames!» [1]— звенит его громкий голос в этом шуме.

Туманян поспешно проходит сквозь ряды, с улыбкой останавливается перед Соней Дашковой, щелкает каблуками, приглашает к танцу.

— А я вас искала, не нашла,— кладя ему на плечо руку, говорит Соня.

— Моряк всегда верен своему слову,— отвечает ей Туманян. И, обхватив ее, легкую, быструю, гибкую, вылетает на середину зала.

---

[1] Приглашайте ваших дам! *(франц.)*

Вокруг — какой-то сказочный улей.

Музыка. Запах духов, шорох шелков, обилие света, декольте дам.

— Ваши глаза так прекрасны,— осмеливается он наконец сказать после долгого колебания. Говорит и заливается краской.

Соня крепко пожимает его руку.

В ее голубых глазах вспыхивают серебряные огоньки. Опьяненные пробуждающейся любовью, беспечные и счастливые, кружат в каком-то нереальном мире.

Кончается танец, он щелкает каблуками, поклоном благодарит, предлагая ей руку, сопровождает в буфет.

Шампанское. Ананасы. Сандвичи. Икра.

Ласковые взгляды, поющий скрипкой голос и ничего не значащие слова.

И вдруг, когда рука в руке и они должны вернуться в зал, музыка обрывается. Всеобщее смятение. Офицеры выбегают на улицу. Дамы падают в обморок... Звучит сухая и резкая команда:

— Господам офицерам немедленно вернуться на свои корабли!

В городе восстание.

На матросов нельзя полагаться. Уже слышны пулеметы. Где-то ухает орудие.

Нет, этот час забыть нельзя! С этой минуты его жизнь изменилась, изломалась.

Помнит: выхватив пистолеты, они группой выбежали к кораблю. Опоздали. Восставшие уже подняли красный флаг. Дежурных офицеров расстреляли. Грозили городу обстрелом в случае малейшего сопротивления.

Растерянные, обезумевшие, они пошли переулками... Метались влево, вправо, не зная, как быть.

Чуть погодя их окружили матросы, приказали сдать оружие и следовать за ними. Офицеры ответили отказом. Завязалась перестрелка.

Туманян, отстреливаясь, отходил. Сколько это длилось — не помнит. Завернул в полутемную улицу, прижался к стене, переждал.

Левая рука затекла: ранен. Терял кровь. Осторожно пошел, свернул в другую улицу и, видя — никого нет, побежал к дому, где жила знакомая семья. Позвонил: дверь не открыли. Позвонил снова. Наконец кто-то в верхнем окне выглянул, увидел — открыл дверь.

Его красивый мундир был в крови.

Последний бал.

Соня Дашкова! С русалочьими глазами, пылающими щеками и таким певучим голосом. С той ночи никогда больше ее не видел.

Годы прошли, улетели.

Постель. Несколько книг. Немного консервов.

Ветер. Мороз. Одиночество.

В большой комнате за стеной живут местные стражники.

Сытые, сильные, первобытные люди. С винтовкой на плече, опоясавшись патронташем, замотав голову башлыком, они уходят в самую рань и возвращаются к вечеру — с замерзшими усами, усталые, шутя и ругаясь. А те, кто из них свободен, спят, поют, танцуют.

Вечером, когда все в сборе, разводят огонь, садятся вокруг, беседуют. Часто заходит старик из ближней хижины. Сгорбленный, со спутанной бородой, непомерно длинными дрожащими руками ванец [1]. Без конца вздыхает. Ждет, когда освободят его провинцию. Там умереть хочет. Для него краше Васпуракана на свете нет земли. И когда говорит о Васпуракане, голос звучит сладко, маленькие глаза блестят.

Когда он заходит, зовут Туманяна:

— Пожалуйте к нам, дед Симон у нас...

Туманян любил слушать рассказы старика. Перед ним открывался новый, незнакомый ему мир. Он хорошо знал историю почти всех морских стран, до островов Тихого океана, Китая, Японии. Не знал совсем Западной Армении. Слышал о ней щемящие сердце истории: о самой жизни этих областей представления не имел.

Приходит, садится в углу, слушает. Не все понимает в рассказах старика: незнакомые слова употребляет тот и к тому же в минуты волнения только шепчет и глотает слова.

— Дорогой дед, не поняли, о чем ты,— протестуют со всех сторон.

---

[1] Ванец — житель г. Вана в Западной Армении.

Старик сердится. Дают вина: повторяет.

За дверью воет ветер.

— Дед Симон, ты опять забылся, да? — говорит один.

— Думал вот, может, вам доведется дожить до хороших дней; но те лучшие дни, которые мы знали, вам не видать...

— Ну ты тоже скажешь... что это за дни такие были?

— Ну, понятно, в Вене, если верить деду, все было, как в раю...

— Да что вы, наконец: дайте рассказать человеку...

А как станут возражать, старик горячится, сердится, начинает рассказывать.

Поскребывает бороду. Улыбается хитро.

— К примеру,— говорит он,— живите вы хоть тысячу лет, кому из вас доведется ванское богомолье увидеть?

Вскинув брови, победно смотрит по сторонам и ждет ответа.

— Это ты здорово придумал, клянусь солнцем... это нелегкое дело, да...

— Дед без вина не может говорить...

— Ну, раз без вина никак, мы ему до краев нальем и так поднесем...

— На здоровье, дед наш дорогой...

Старик понимает, что заинтересовал всех.

Берет стакан с вином, отпивает несколько глотков, медлит, прокашливается, точно готовится петь.

Все ждут с напряженным вниманием.

Наконец уставился в точку. Рассказывает.

— Хорошие были времена... Во главе апостольской армянской церкви Васпуракана стоял тот бесподобный человек с лицом апостола, который потом взошел на святой престол Эчмиадзина... Вы знаете, его звали Хримян... [1]

— ...Айрик? [2]

— Да, Айрик... Настоящий орел — сильный, бесстрашный. Кровожадный турецкий султан и тот не мог с ним справиться. И потом, когда избрали его католикосом, не склонил головы и перед русским царем.

---

[1] Хримян — католикос всех армян (1892—1907).

[2] Айрик — буквально отец. Это слово стало прозвищем Хримяна.

— Ну известно... Хримян...

— Я не то собирался сказать...

Отпивает глоток.

— Если память не изменяет, дни преображения Христова были... Ведь у нас религиозные праздники — особенно торжественные... Праздника ждут, к нему задолго готовятся.

— Настоящие христиане были.

— Да, христиане и патриоты... Значит, в эти дни облетела вдруг весть: в понедельник Хримян будет служить торжественную обедню в монастыре Варага, и вы представьте, как все заволновались. Что-то невероятное творилось. Все забросили дела. Такое ведь не каждый день случается, и, понятно, каждый хотел присутствовать при торжественной этой обедне.

— И ты пошел, дед Симон?

— То есть как? Кто только не пошел. Женщины, мужчины, девушки, дети — селяне, горожане. Город Ван и Васпураканский край такого не видывали. Со всех сторон народ бросился в монастырь. Пешком, верхом, в экипажах, на арбах... Женщины — в лучших своих нарядах, украшенные с ног до головы. Все приодеты, веселы...

— И ты с ними, дед, и ты с ними?

Старик почесывает бороду, смеется.

— А я оседлал коня своего по кличке Мко... Иноходец, которого потом продал за хорошую цену курдскому паше... Да, шли, значит, толпы цветущим полем Урбат-Ару, пели песни. Как на свадьбу шли. На полпути останавливались у родника Дизрик, испить его чудесной воды, которая, говорят, дарует душам ясность и ногам силу — шагать тысячу верст... Это такая вода, второй такой на всем свете не сыскать... Холодная, вкусная, бодрящая...

— Лучше вина?

— Какое вино, какое там... А потому, что путь долгий, народ садился передохнуть у родника: ел, пил. Родник с шумом струился сверху, а под ним бутылки с вином, водкой, огурцы, редис... На траве скатерти расстелены, а на них дары божьи: еда всякая, голубцы, закуски. Ели, пили, шутили, весело и счастливо проводили время... А какой оттуда открывался вид! Посмотришь вниз —

увидишь озеро Ван, Ахтамар...[1] Иисус Христос! Слов нет описать.

Дед Симон крестился, грустный, не в силах продолжать.

— Не тужи, дед,— говорит один из стражников,— скоро вот вернем Ван, отберем непременно...

Говорит и осторожно подливает старику вина.

— Отпей...

— Как подумаешь, ну просто,— продолжал старик, отхлебнув,— просто... не знаю, что и говорить... Посмотрел бы с горы: дороги забиты идущими. Все население провинции туда сошлось. А как пришли — другое совсем зрелище. Не монастырь — улей. Столько народу, столько народу, что камню упасть негде. Во дворе — шум, песня, звуки доол-зурны[2]. Но только загудели колокола, возвещая о начале службы,— тишина воцарилась необыкновенная. Кто был во дворе, подались к стенам. Понятно, столько народу не вместилось в храме. Опустились на колени, и началась невиданная служба...

— Представляю, дед Симон...

— Такого не представишь... Кто своими глазами не видел, тот представить не может. Надо было видеть Хримяна в своем облачении, в епископской тиаре, с посохом в руке: глаза горят, лицо бледное, возвышенное... Пока пелись шараканы[3] — сладко и печально,— голос служителя возносился гласом апостола: густой, глубокий, взволнованный, с верой непоколебимой и восторженной... Сиянье тысяч свечей, сверканье золота и серебра, запах ладана. Все блестело, искрилось, пело.

Умолкает. И все молчат.

— А потом, дед, что вы потом делали?

— Потом,— улыбаясь, говорит старик,— потом , как всегда, ели, пили, плясали, пели... три дня, три ночи...

— Ну, раз так, тогда и мы чего-нибудь поедим и немного выпьем...

В огонь подкладывают дрова.

Лаваш, сыр, водку несут.

---

[1] Ахтамар — монастырь на озере Ван.

[2] Доол — ударный, зурна — духовой народные музыкальные инструменты.

[3] Шараканы — армянские церковные песнопения.

Ветер бьется головой в крышу, перекатывается, стонет, жалуется.

— Я малышом был,— говорит один из стражников,— в Вагаршапате видел Хримяна... Настоящий ванец...

— Ванец?.. А я думал, из Карабаха...

Старик, обозленный, не отвечает.

— Католикос Хримян покоится ныне во дворе Эчмиадзинского монастыря, под большой мраморной плитой...

Лицо старика сморщилось, потемнело. Еще больше сгорбился. Будто ему тысячу, сто тысяч лет.

— Аракел, подай сюда бутылку...

Старик додумывал свою думу.

Ныне Варага пуст — турки разрушили монастырь. И Ван, и все села, и все древние церкви разорили. И там сейчас пустыня, лежит глубокий снег да разгуливает свирепый ветер...

Водка — добрый товарищ. В стужу, в буран водка — достойный друг.

— Аракел, прошу тебя, спой куплет из Саят-Новы...

И Аракел, зажав винтовку между ног, поет грустную песню...

6

Поздний вечер. Темень.

Большие часы на центральной площади Еревана дрожат всем корпусом и бьют.

Бьют почему-то двенадцать раз. А времени сейчас — десять часов.

Ветер сотрясает деревья и, стряхивая снег, наметает сугробы под окнами запертых домов. А передумав, поднимает кучи снега и перекладывает их в подворотни.

От Канакера, глухо цокая копытами, идет по направлению к железнодорожной станции конный отряд. Снег торопливо стелет под ноги лошадям мягкие циновки. Кони ржут.

На центральной улице один из офицеров шепчет что-то на ухо другому. Тот оглядывается, свистит и поднимает руку.

Улица неожиданно оглашается песней.

Дверь одного из домов осторожно открывается. Выходит озабоченный молодой человек, осматривается и, успокоенный, заходит обратно, прикрывает дверь, поднимается короткой лестницей, входит в комнату и на устремленные на него взгляды отвечает отрицательным жестом.

— Товарищи, собрание продолжается...

Большой стол. Самовар. Стаканы, блюдца, печенья, сладости. Для неосведомленных все свидетельствует о простой семейной вечеринке. Среднего роста человек с бородкой и складками по обе стороны носа председательствует. Представитель партии большевиков Армении.

Вокруг — молодые девушки и парни.

В уголке сидит смуглый парень. Длинный, с худыми руками и растрепанными волосами, нервный, нетерпеливый, бойкий на речи. Рядом с ним, положив руки на стол, немного грустная, Зварт.

— Итак, перейдем к третьему вопросу: пропаганда среди солдат. Пока главное это. И на этот счет даны конкретные директивы... Правительство буржуазной республики опирается на армию и все дальше увязает в военных авантюрах. Всячески раздувает добровольческую идеологию.

Зварт убирает со стола руки и нервно дергает плечом.

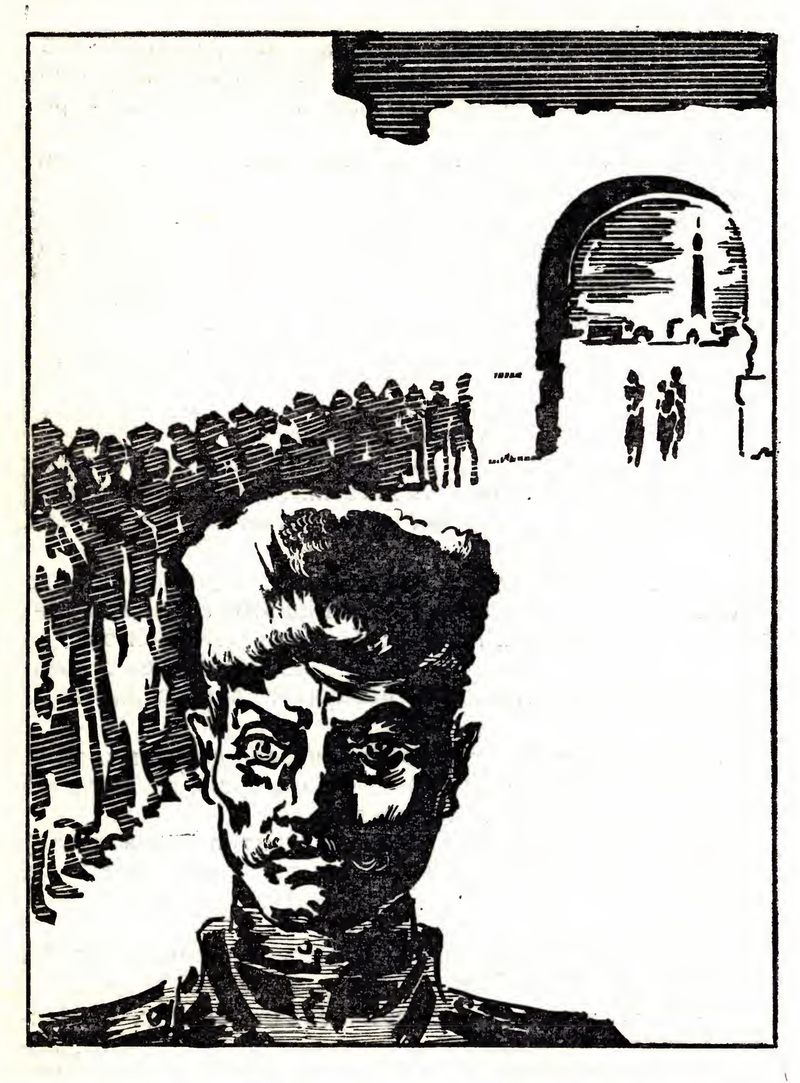
«Так ли это? — думает она.— Ведь враги идут войной на нас. Нет, пожалуй, неверно это».

Удивленно поворачивается, смотрит в глаза соседу и встречается с черным и строгим взглядом. Трет руки, беспокоится.

Ждет.

Председатель заметил ее тревогу и говорит, как бы обращаясь прямо к ней:

— Надо положить конец мучениям трудящихся. Нищета страшная, особенно в селах! Людей обирают, лишают всего и гонят на фронт... Лакеи богачей готовят новые жертвы для капиталистических государств... Сеют иллюзии... Возлагают надежды на так называемые союзные правительства. И это после стольких плачевных уроков. Капиталистические правительства — гиены, готовые тысячу раз продать армянский народ... Ясно одно: толь-



ко международный пролетариат может принести нам спасение, свободу и мир...

Зварт, польщенная, что ей уделяют внимание, слушает, вскинув брови, затаив дыхание.

«Надо учиться глубоко понимать исторические и общественные явления. Понимать не чувством, а иметь свои взгляды, построенное на неопровержимых фактах мировоззрение».

Что-то в ней менялось, переворачивалось с недавних пор. Мысли ее обретали новое направление.

Сидевший рядом смуглый молодой человек, живший теперь в ее доме, в комнате, которую ранее занимал Эрьян, все чаще и чаще проводил с ней беседы. Марксова теория, строгая и последовательная, повелительной логикой своей овладевала ее мыслями, захватывала ее. Все легко находило свое объяснение, явления сбрасывали с себя таинственность.

«Овладеть научным мировоззрением... Это так важно».

— Главное,— продолжал председатель,— суметь разобраться в психологии солдата, подобрать нужные для него слова: о селе, о жизни семьи, корове и овцах, о его поле... К офицерам нужен другой подход. Не забывайте, что они в душе презирают хмбапетов[1] за то, что те без всякого основания занимают командные посты в армии. Стоять на этом, колоть глаза, дразнить их самолюбие... Настоящий марксист, товарищи, должен всегда видеть экономическую основу явлений. Экономика — рельсы, по которым бежит поезд жизни. Пропагандист должен знать это и уметь каждое явление соответственно анализировать. Пока не победит трудовой народ, пока не станет он хозяином жизни, не будет мира, не будет счастья...

«Это правильно,— думает Зварт,— это логично».

— Только общими усилиями международного пролетариата может быть достигнута окончательная победа. Революция неизбежно перекинется на Восток... И когда произойдет мировая революция, а мы уверены, что она произойдет, какое значение будут иметь распри о границах и межплеменные бессмысленные братоубийственные войны? Границы должны исчезнуть, и земли должны принадлежать трудящимся. Будем логичны: не глупость ли, не преступление ли воевать? И без того обескровленный народ наш превращать в пушечное мясо... Революция охватывает все новые страны.

---

[1] Хмбапет — предводитель дашнакской дружины.

И глазам Зварт предстает охваченный пожаром мир. Всюду восстания, вооруженные массы, победные марши, красные флаги.

— А мы, товарищи, что мы делаем? Будем готовиться к свержению армянской буржуазии и их лакеев. Красная Армия ждет часа — прийти нам на помощь...

Глаза присутствующих загораются. Лица суровеют, кулаки сжимаются. Они готовы к борьбе.

— Теперь перейдем к практическим вопросам.

Собрание кончается поздно.

Зварт хоть и устала, но чувствует себя счастливой. Счастливой потому, что может участвовать в таком великом деле. Глаза стали глубже, лоб прорезала маленькая черточка.

— Курите, товарищи?

Все курят. Зварт прикуривает свою первую папиросу. Не нравится, дым ударяет в голову. Но продолжает курить, будто всегда курила, непринужденно выпуская дымок.

«Нужно остричь волосы,— думает.— Все девушки остригли».

— Значит, завтра в условленном месте..

— Непременно.

Выходят попарно.

По пустым улицам вихрится снежная пыль.

Город воет раненым зверем.

Идут с трудом. Улица Астафян.

Где горы?

Где Масис, Арагац, Гегамский хребет?

Ничего не видно. Снежная пыль да ветер.

Зварт бежала против ветра, устала, остановилась. Смуглый парень догнал ее, простер руки — укрыть ее от ветра. Снег пляшет вокруг них, заволакивает, хлещет.

Окна в доме напротив светятся.

Кто-то сидит у телеграфного аппарата. Тит-так, тик-так, тик-тик-тик-тик. Папироса пристала к нижней губе — человек без конца поправляет очки, следит за лентой, записывает.

«В Шушинском ущелье бой с турками продолжается тчк Невыносимый мороз тчк Унтер-офицер Шабанян с десятью бойцами пропали тчк Настроение бодрое тчк Ждем продовольствия».

Тик-тик, тик-тик...

«Олты тчк Неописуемая стужа тчк Люди без обуви тчк Враг отброшен с большими потерями тчк Ждем подкреплений».

Из-за высоких ворот доносится женский плач.

Зварт останавливается.

— Что это?

— Подожди.

Парень заходит в ворота. Быстро возвращается.

— Пошли... ничем не можем помочь, бедная женщина! Сидит на коленях перед двумя детскими трупами, плачет, убивается...

Тянет Зварт за руку.

7

— Слушай, и терпению ведь предел есть? Что они, смеются над нами? За глупцов принимают? Ишаки этакие!.. Вот уже сколько дней, как оставили нас в этой безводной пустыне... Сказали — ждите, через несколько часов вернемся... Вот и жди их... Бог ты мой, такую неорганизованность трудно даже представить. Все куры Ширака смотрят на нас и надрываются от смеха... Погодите, я вам еще покажу... Мне приходилось иметь дело и с более опасными животными, и я с ними справлялся...

Эрьян разъярен, поднимает ногу, нервно выбивает трубку о каблук, встряхивает ее несколько раз и с полными бешенства глазами продолжает:

— Уже два месяца в пути: сущий ад. В Грузии чего только не насмотрелись... Пересекли наконец границу и обрадовались. Думали, домой приехали, все будет улажено... Как бы не так! Теперь мы во власти каких-то лунатиков... Ты ему втолковываешь, а он на тебя смотрит коровой, мычит что-то под нос, будто понимает, соглашается, потом уходит и... ни слуху о нем, ни духу... Уже до самого Гюмри доехали, ну хотя бы до города дотащили... так нет же, бросили посреди поля...

Матерится страшно.

— Говорят, трудно, высоко в гору машина не потянет...

Отвечает Эрьяну станционный стрелочник, по виду крестьянин, с морщинистым лицом, неопределенного возраста. Смотрит исподлобья, немногословен. Скажет два слова — замолчит, склонив голову набок, руками обхватив живот.

— Эта, черт ее подери, машина,— говорит,— как бескровная какая-то...

— А раз бескровная,— отвечает Эрьян,— могли бы отцепить другие вагоны и тащить сперва корабль. А что в этих вагонах? Не такой уж важный груз...

— Не скажи, на них пломба есть...

— Подумаешь... Пломбу ставят от воров, а воры тут, внутри... Послушать этих проводников, кондукторов, так они сознательные, передовые, повидали свет — ездят из Еревана в Тифлис и из Тифлиса в Ереван... Это у них называется — повидали свет... По мне, бессовестные они люди... И я, глупец, отдавал им последнее... начиная от папирос и водки... И вот, на тебе...

Набивает трубку, закуривает, ходит взад-вперед, складывает руки на груди и, разочарованный, смотрит.

Метрах в двухстах, между оголенными и выжженными скалами, на двух грузовых платформах — корабль. Днище с двух сторон обложено бревнами, досками. Пойманное морское животное. Мачта торчит указательным пальцем, труба бездыханна. Осиротелый, жалкий, смешной.

Эрьян долго смотрит на корабль, курит и душит в себе гнев.

— Что теперь будем делать? — вконец обескураженный, обращается он к невозмутимому стрелочнику.

Тот рукой показывает на косо заходящее солнце.

— Странно,— говорит он,— ереванский не идет...

— Верно,— соглашается с ним Эрьян,— ереванский поезд давно бы должен быть...

Смотрят друг другу в глаза.

— Думаю,— моргая, говорит стрелочник,— думаю, что поезд...

Смыкает руки на животе, задирает голову и так стоит.

— Ну, говори, что думаешь...

— Откуда мне знать,— может, я ошибаюсь... Думаю, что ереванский не придет...

— Не придет? А так бывало раньше?

— Нет.

— А почему ему сегодня не прийти?

— Откуда мне знать? Всякое говорят... Вчера ночью в селе молодые шушукались, будто в Гюмри дела совсем плохи... Откуда мне знать?

Эрьян внимательно следил за ним. Чувствовал, что этот человек что-то скрывает от него. Стал припоминать странное поведение других железнодорожных служащих и рабочих: их ухмылки, хлесткую и враждебную критику правительства. Потом это исчезновение машиниста и кондукторов, дежурного по станции...

— Вот ты,— говорит он и смотрит в упор в глаза стрелочнику,— ты, брат, много знаешь и не хочешь сказать... Слушай, что тебе от меня-то таить, а? Я же не враг, мы же братья. Коли я так тревожусь, так не о себе же, об этой заброшенной машине...— указывает на корабль.— Народное добро это, а я просто слуга при нем... Подумай, вот уже второй год кровью, пóтом обливаюсь...

Волнуется. Хочет узнать, непременно узнать. Чувствует, происходят какие-то события. Снова обращается к стрелочнику:

— Да пойми ты, братец... эта несчастная лодка прибыла сюда, в этот пустырь, ждет, ржавеет... Народное добро, для всех... Если что случилось, сжалься, не таи от меня...

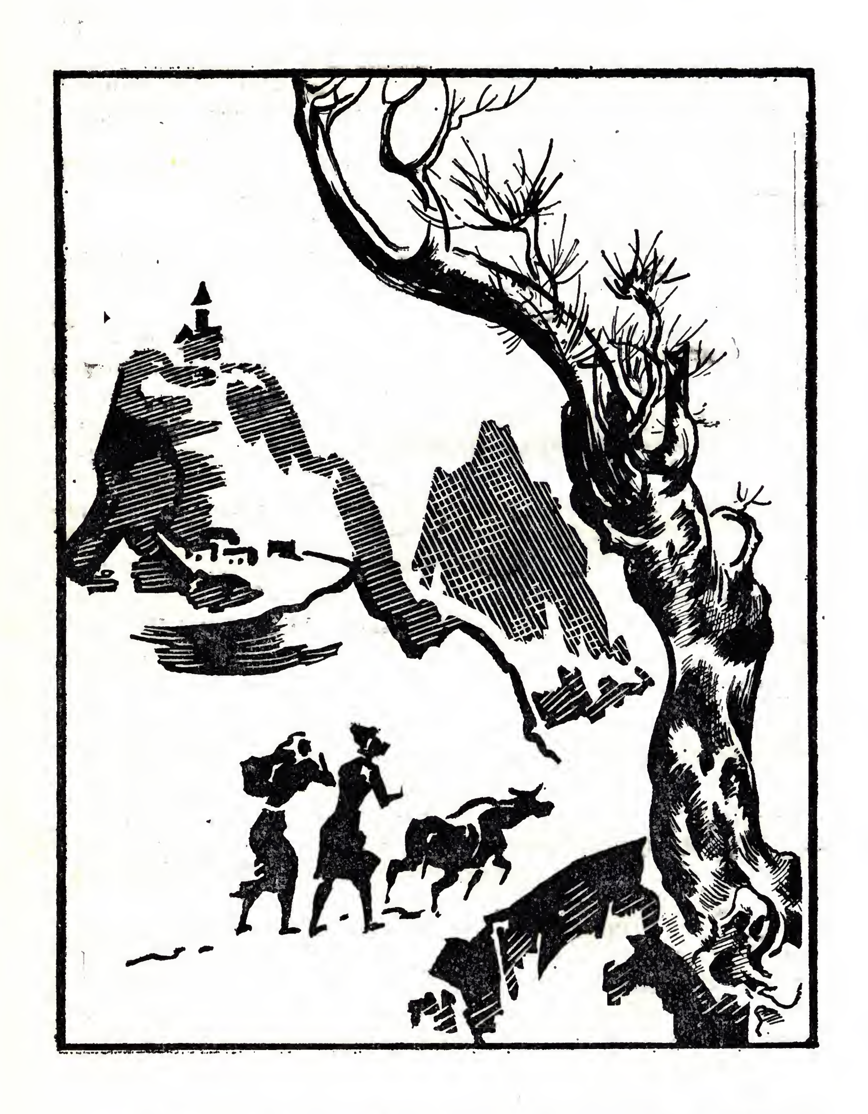
— Откуда мне знать,— растроганный волнением Эрьяна, ответил тот,— откуда мне знать? Говорят, должны прийти красные... Селяне устали, иссякло все добро... Сеять нечем... Если привезут зерно, будет хорошо и даже очень здорово... Так что, если придут, понятно, что селянин обрадуется...

Эрьян так и обомлел.

— Откуда мне знать, так говорят,— продолжает человек,— все может случиться...

Эрьян уже не слушает его.

Блуждающий взгляд бродит по сторонам. Гигантская тишина и пустота гигантская. Легкий весенний ветерок. Из-под камней пробивается молодая травка. Смотрит на



горы, смотрит на корабль, и вдруг все кажется ему нереальным. Чувствует себя страшно одиноким и беззащитным.

Смотрит на стрелочника: замкнутое, упрямое существо.

Корабль, поле, горы. Что это, сон?

— Милый господин,— говорит стрелочник после продолжительного молчания,— как видно, поезд не придет, и я напрасно жду его... Да и хлеб у меня вышел...

— Что, уходишь? Куда ты идешь? — голосом очнувшегося ото сна человека спрашивает Эрьян.

— Откуда мне знать?.. В село...

— Ладно, а я? Что я тут один буду делать? И у меня ничего нет...

— Значит, пойдем в село.

— А корабль?

— Корабль не может с нами. Пусть останется, подождет немного: не убежит же... Бог да хранит его.

— Сколько нам до села времени надо?

— Можем к вечеру там быть, если что случится, скоро узнаем. И машинист там недалеко, узнаем все...

— Ладно,— говорит решительным тоном Эрьян,— будь что будет, иду. Подожди, пойду запру каюту.

Довольно долго идут по путям, потом карабкаются на холмы.

Эрьян с удивлением замечает, что поводырь его совсем не тот ленивый, медлительный человек. Только пошли, весь преобразился. Подвижный, легкий, быстрый. Прыгает по камням, как козел.

«Эти селяне все такие,— думает Эрьян, еле поспевая за ним,— уж больно скрытные, недоверчивые. На вопросы не отвечают, тупо смотрят на тебя, а ведь всё знают, всё понимают».

На вершине одного из холмов остановились. Трудная часть пути позади осталась: дальше дорога идет вниз по косогору.

— Отдохнем малость,— сказал стрелочник,— идти еще долго... Мы-то привычные, а новому человеку трудновато будет.

— Ладно,— ответил Эрьян, присаживаясь на камень,— передохнем. Хорошо бы успеть дотемна дойти.

— Дойдем, божьей волей дойдем.

Эрьян изучал открывшийся ему ландшафт.

Цепь набегающих друг на друга возвышенностей, кое-где дымились нагромождения островерхих скал, которые походили на естественные крепости. Не прошло ли здесь некогда племя гигантов, все разбросало, растолкало? Голые камни, глубокие тени, мерцание огней.

Воздух был легок, светел, словно звенел.

— Там никто не живет? — спросил Эрьян, долго всматриваясь.

— Как не живет? Села упрятались за холмами, из-за ветров...

— А Гюмри где будет?

— Вон за теми холмами... в сторону солнца, там, где обрываются скалы...

— Да!

— Чуть правее наше село, Шушанаван... От нас до города час ходьбы...

— А нам еще много?

— Полдороги прошли. Теперь легче будет — спуск.

Снова пустились в путь. Пошли молча.

Показались белые домики, скученные на обрыве. Лай собак.

Закатное солнце подожгло горизонт. Тяжелая, пронзенная лучами тишина качалась на вершинах холмов.

Опять в гору идти.

Увидели людей. Накинув веревку на шею коровы, шел человек и орал на скотину. Корова была черная, с одним рогом и упрямым лбом. Чуть выше мужчина и женщина, взяв по хворостине, гнали овец. Женщина, чернявая и сухонькая, несла в левой руке тяжелую корзину, мужчина — узел на плече. Овцы без конца останавливались, терлись друг о дружку, водили мордами по земле. Пахло пылью и шерстью.

— Добрый вечер,— сказал Эрьян, обрадованный, что наконец показались люди в этих местах.

— Здравствуйте,— ответили мужчина и женщина, продолжая свой путь, оглядываясь на Эрьяна.

Подъем был довольно трудный.

Человек с густыми бровями, со следами ожогов на лице, гнал длинной хворостиной волов. Они тащили со страшным скрипом воз в гору. Человек забегал то слева, то справа, вытягивал волов хворостиной, злился.

Спутник Эрьяна стал расспрашивать возчика. Нет, в городе не был, но встретил дорогой знакомых. Говорят, переполох там. Рабочие и солдаты восстали, подняли красный флаг, а власти сбежали... Кто знает, так это или не так? Многое рассказывают.

Блуждавшие по краям горизонта два огонька вдруг погасли.

Передавший новости крестьянин побежал к арбе. Колеса заскрипели.

Откуда-то с лаем выскочили собаки. Спутник Эрьяна сперва накричал на них, потом стал ласково увещевать — не помогло. Собаки угрожали. Пришлось запустить камнем.

Еще выше, у родника, стояли крепкие девушки. Щеки у них были румяные и глаза большие. Смолкли, краем глаза глянули на Эрьяна. Эрьян поздоровался, ответили испуганными голосами, сдерживая смех.

Поодаль, присев на корточки, девушка доила ловкими пальцами корову. Эрьян смотрел, и захотелось ему молока. Ничего не ел с утра.

Вот и первые дома. Группа пожилых сельчан. Посасывают чубуки, беседуют. Большие папахи, тяжелые брови, длинные усы, поблескивающие узкие глаза, корявые руки.

Эрьян поздоровался.

— Добро пожаловать...

Посмотрели с любопытством и подозрением.

Спутник Эрьяна объяснил положение. Сумбурно, путано. На станцию прибыл корабль, вот с этим господином, настоящий корабль. Едет в Ереван. Машинист уехал, сказал — приедет, и до сих пор все нет его.

Крестьяне слушали, поглядывали друг на друга и молчали.

Наконец один прервал неловкое молчание:

— Мир — это мир. И все может случиться...

Сказал озабоченно, важно, посмотрел на других. Те опустили глаза в землю.

— Скажите, бога ради, что происходит там, на линии? — спросил Эрьян.

Крестьяне пожали плечами:

— Не знаем ничего.

Один из них, сгорбленный старик, выдвинул остренький подбородок к Эрьяну и сказал:

— Когда дом остается без хозяина, все вверх дном идет. Молодые недовольны были: того хотим, этого хотим... Вот, получили...

Дрожащей рукой поднес чубук ко рту и пососал сердитыми губами.

Другой — с завитыми усами — прибавил:

— Молодые, как кипящая вода,— не думают... Бегут себе, как иноходцы, и бегут...

Вздохнул.

— А кто расплачивается? — вставил третий.— Расплачивается крестьянин...

— Это так...

Спутник Эрьяна неожиданно развел руками, растопырил пальцы, поглядел на людей и ничего не сказал.

— Что, Мартирос, хочешь нам сказать? — спросил кто-то из стариков.

Мартирос снова развел руками, выкатил глаза — так он разволновался.

— Братцы, ведь понимать надо,— наконец сказал он,— понимать надо... Когда поезд идет по железной дороге, налево-направо не смотрит, идет, и все тут...

— Это ты прав,— согласился один,— это надо принять...

Эрьян снова с удивлением заметил, что его молчаливый спутник преобразился. Перед ним стоял совершенно другой человек.

— Ведь понимать надо. Русский есть русский, но уже не тот русский, и царя уже нет... Ну мы, железнодорожники, по роду службы своей, обо всем помаленьку осведомлены... Теперь положение такое: в России главный теперь Ленин, и Ленин хочет, чтобы всюду была справедливость. Непременно хочет. Говорят, призвал он своих министров и сказал: отберите у богачей золото, товары, земли и раздайте беднякам, труженикам, всем неимущим...

Крестьяне слушали разинув рты. Эрьян был ошеломлен.

— Пусть, сказал, мой этот приказ читают по всей России и везде в других странах... И только он сказал это, вышел вперед один из наших армян и говорит: «Великий Ленин, есть у меня просьба, дозволь сказать».— «Говори, сынок, говори»,— добрым голосом велел Ленин. «Там, в нашей стране, наши селяне, добрые христиане, остались без муки, без товаров, трудно им...» Как услышал про это Ленин, осерчал на своих министров, что скрыли от него правду, топнул ногой, отдал приказ — раздать армянскому народу все, что нужно...

Умолк на минуту и торжествующе посмотрел на всех.

— И вот, полным-полные вагоны пришли в Баку и

оттуда уже до наших границ дошли, но не могут прийти сюда, потому что наше правительство не пускает...

Глаза крестьян поблескивали.

— Ну разве это дело? Зачем не пускают?

— Откуда мне знать... Да это, брат, ненависть такая...

— Наверно, поэтому солдаты восстали.

— Конечно, поэтому. Солдаты с народом.

Подумали, покурили.

— Оставим муку,— сказал один, косоглазый,— мука — это конечно, но ведь вопрос в том, что столько крови льется... И молодых-то не осталось: уходят и не возвращаются... Сирот не счесть, и семьи остались беспомощные. Несправедливо это.

— О народе не думают,— поддакнул Мартирос,— о труженике не думают.

Эрьян слушал, недоумевал, молчал. Надо было ждать. Завтра в городе все выяснится.

Чуть погодя загудели колокола. Крестьяне загасили свои чубуки, направились в церковь.

Прохладные, настоянные на последних лучах заката, спускались сумерки. Пели петухи. Скотина, позванивая колокольцами и блея, возвращалась в село.

И — тягостное молчание.

— Знать бы, что будет завтра? — сказал Эрьян стрелочнику.— Утром ведь пойдешь на станцию?

— Должен идти, еще засветло.

— Я хочу пойти в город. Пока я вернусь, присматривай за кораблем.

— А как же. Ты не беспокойся.

— Ладно, спасибо тебе. В долгу не останусь... А где мы тут ночевать будем?

— Придумал,— ответил Мартирос,— легко это... Вот после вечери спросим совета у попа. Жена умерла, и место у него есть. Кто заходит в село — у него ночует. Вон, народ уже выходит, пошли посмотрим...

Вот и сельский священник Тер-Погос. Небольшого роста, с приплюснутым носом, с глазами большими и пустыми. Борода несообразно длинна, и по этой самой причине молодые в селе звали его Тер-Борода. В разговоре он вечно поглаживал ее, а волнуясь, покусывал усы. Доб-

ряк, некая помесь овцы с пастушьей собакой. Волосатый и медлительный.

— Как же, как же: всегда рад вам, дом священника для всех,— сказал он, выслушав Мартироса.— Только будьте снисходительны, мы народ деревенский, городских удобств не имеем, а все, что имеем,— от чистого сердца в вашем распоряжении... Ну, не стоять же нам во дворе, пойдем посмотрим, что ниспослал нам бог.

— Ну, я пойду,— сказал стрелочник,— приду позже.

Дом священника был возле церкви. Простая деревенская хижина. Перед домом деревья. Входя, следовало пригнуть голову и спуститься на несколько ступенек. Большая комната была освещена стоявшей в углу керосиновой лампой. Дверь в глубине открывалась в хлев. Пахло соломой, пометом и сыростью.

— Прошу...

Эрьян сел на единственный стул. Тер-Погос снял обувь и, поджав под себя ноги, устроился в углу комнаты. Открылась дверь, и девушка с тяжелыми черными косами и длинными ресницами, шлепая босыми ногами, стыдливо опустив глаза, вошла с тазом горячей воды, опустилась на колени перед Эрьяном и хотела снять с него обувь.

— Нет, сестричка,— запротивился Эрьян,— очень тебе благодарен, не сейчас...

Девушка осталась в растерянности, по самые уши зарделась.

— Омыть ноги путнику — дедовский обычай,— сказал священник.— Ладно, Айкануш, если господин не желает, не беспокой его... Иди на кухню и принеси нам поесть...

Девушка тотчас исчезла.

— Племянница моя, от покойного брата,— пояснил Тер-Погос.— Сирота, отец на австрийском фронте пал, а мать не пережила. Война много семей разрушила...

Достал четки и стал перебирать.

Сели за стол, и комната стала заполняться посетителями. Здоровались, желали доброго аппетита и садились в ряд по стенке. Садились, тут же вынимали из-за пояса чубуки, набивали табаком, придавливая большим пальцем, курили.

Айкануш убрала тарелки. Священник перекрестился, пробормотал под нос молитву.

— Такие дела,— сказал он,— такие дела... Ох, ох, ох...

Откинулся к стенке, погладил бороду и замолчал.

Все молча ждали.

— Этот почетный гость наш,— сказал он, указывая на Эрьяна,— морскими делами ведает. С Черного моря корабль везет на Севан.

Присутствующие уставились на Эрьяна.

— Тамошним святым угодное дело,— сказал один.

— Как знать? — авторитетным тоном ответил священник.— Как знать? Корабль, как он рассказывает, имеет внутри постукивающую, попыхивающую машину, а, как явствует из книг, святые шума не любят, потому что шум, он — от сатаны. Добродетельные, святые люди уединяются на острове от мирской суеты... Беда сегодняшнего мира в том и состоит, что шуму много: столько шума, столько шума, что голоса людей до бога не доходят...

— Верно, верно,— согласились гости.

Тер-Погос достал из бокового кармана бумагу и табак, скрутил сигаретку и, довольный сказанным, умолк.

— Сегодня,— сказал старик с недвижным лицом и морщинами вокруг рта,— бог тоже не в силах творить свои дела. Человек уже не человек, вот тебе мое солнце...

— Шум на земле, шум в воздухе: разве что услышишь? — добавил другой.

Задымили.

В хлеву за стеной скотина била копытами землю.

— Такие дела... такие дела...

Тер-Погос съежился, прошелся пальцами по своей бороде. Пальцы поднялись к самому подбородку, завязли там, забеспокоились и, когда собирались уже сбежать вниз, вдруг смешались, потому что в ту же секунду дверь в комнату распахнулась и вошел Мартирос с неизвестным военным.

Поздоровались, сели.

Внимательно смотрели на пришельца.

Военный был высокий, стройный парень: широкоплечий, с полным лицом, здоровый и живой. Глаза голубоватые, проницательные, волосы аккуратно причесаны.

— Добро пожаловать,— сказал священник.— Наш юноша, никак, человек новый...

Мартирос посмотрел пристально-изучающе на воен-



ного, потом растерянно по сторонам и, набравшись смелости, сказал:

— Товарищ новый... Пришел, потому что... потому что и вообще по той причине, что комитет из города направил его с поручением... то есть для того, чтобы с нашим народом о разных вопросах поговорил и вообще...

Военный улыбнулся.

Священник, в плохом предчувствии, от страха и неизвестности изобразил на лице подобие улыбки. Кашлянул.

Присутствующие, как зараженные, тоже закашляли.

Все так и застыли.

— Граждане,— серьезным и густым голосом начал пришелец,— Военно-революционный комитет, организованный в Александрополе, после свержения дашнакских правителей направил меня к вам — приветствовать трудовое крестьянство и рассказать о происходящем...

В глубокой, могильной тишине слушали.

Военный продолжал:

— Военно-революционный комитет создан рабочими и крестьянами. Наш народ устал от бесконечных войн, нищеты, голода — все это знаете... Комитет против войны, за мир, за то, чтобы у власти стояли рабочие и крестьяне; рабочие восстали... В эту самую минуту, когда я говорю с вами, в Карсе, Караклисе, Сарыкамыше, Нор-Баязете и других местах созданы такие же комитеты... Комитет направил меня сюда, чтобы и вы присоединились к нам...

Говорил быстро, горячился. Потом останавливался, повторял сказанное. Заглядывал в лица, угадать, какое впечатление производят его слова.

Когда юноша кончил, все повернулись к Тер-Погосу. Тер-Погос скрючился, спрятал голову в плечи, двумя руками взял бороду снизу и провинившейся собачкой уставился на Эрьяна.

Эрьян набивал свою трубку, ни на кого не глядя.

— Теперь обстоятельства такие,— заикаясь, сказал стрелочник Мартирос,— обстоятельства такие... товарищ сказал то, что хотел сказать... Ясно, что это, так сказать, государственные дела, и очень высокие и очень важные...

Смутился.

— Было бы хорошо,— прервал его военный,— чтобы присутствующие здесь крестьяне высказались.

Все смущенно переглянулись.

— Ну, раз надо говорить — говорите,— обратился один к остальным.

— Дед Вартан, говори...

Дед Вартан подобрал морщинистые губы, подумал и глубокомысленно начал:

— Если вопрос государственный, высокий, как Мартирос говорит, тогда нашему попу и слово. Что мы можем? Поп евангелие знает и в таких вещах смыслит...

— Это верно...

— Да, поп знает...

Поп испуганно посмотрел по сторонам, провел по бороде десятью пальцами.

— Поп тут ни при чем,— рассерженно сказал посланец,— голос имеют те, кто пашет, кто сеет, вы...

— Агаси,— обратился стрелочник к кому-то в углу,— Агаси, ты что скажешь?

— А что я могу сказать, братец? Что мы без церкви можем сказать? Если тут попа держим, то для чего-то держим, не так ли? Пусть он и скажет, что надо...

— Верно сказал Агаси...

Одобрительно закивали.

Поп выпучил глаза и стал качаться всем телом.

— Я человек-слуга,— наконец осмелившись, сказал он.— Все зависит от народа, и наша церковь тоже для народа... Конечно, есть и над нами люди... Я так думаю, будет лучше узнать, что об этом думает наш святейший предводитель. Люди ведь есть наверху — епископы есть, престол Эчмиадзинский... Так нельзя!

— Мы просто не понимаем друг друга,— выходя из себя, оборвал его военный,— Какой еще предводитель? Я пришел от Военно-революционного комитета сообщить вам о новой власти... Надо собрать утром село на митинг, и пусть трудовой люд скажет свое слово...

— А митинг что такое?

— Собрание, понимаете, собрание...

— Ну, раз собрание — пусть будет собрание...

— Вопрос в том,— взял опять слово Мартирос,— вопрос в том, выгодно ли все это нам... Надо прежде всего выяснить, что выгадывает селянин... Так, только так.— И уже веселее: — Какая выгода, посмотрим, и тогда об этом крепко подумаем... Если хорошенько подумаем, увидим, что Россия хочет помочь нам, хочет землю отдать крестьянину, а народ не умеет воспользоваться этой помощью... А почему народ не может? В том-то и все дело...

Крестьяне удивленно переглянулись.

— Товарищ Мартирос говорит правду,— вмешался военный,— братская красная Россия готова всячески по-

мочь трудовому армянскому народу... Теперь вы должны все сами решать...

Глаза крестьян заблестели.

Заговорили все сразу.

Несмотря на сильную усталость, Эрьян не смог уснуть. Тревожно было на душе. Какие неожиданные события...

Священник рядом тоже не мог спать: ворочался в постели, всхрапывал раз-другой и просыпался опять, ахал.

— Господи! — взывал он.— Господи!

— Что, святой отец, не спится?

— Сон сбежал, ты на меня не смотри, сынок, ты спи.

В хлеву корова без конца стукалась головой о стену.

В комнате не хватало воздуха.

Едва стало светать, Эрьян вынырнул из постели, быстро оделся и, попрощавшись со священником, ушел.

— Бог да не оставит тебя,— сказал священник.— Что еще ждет нас в этом мире?

Холодок улицы взбодрил его. Шел лицом к восходящему солнцу. На горизонте пульсировала пылающая масса. Вершины холмов потрескивали раздуваемыми ветром кострами. Тяжелая и всеобъемлющая тишина покорила всю местность. Село спало. Дорога вгрызалась в ребра выжженной, мрачной горы.

Эрьян пошел размахивая руками, бодро. Нравились ему эта прохлада, это утро, этот величественный пейзаж. На узкой тропинке, устремленной вверх, встретил волну тугого ветра, остановился и всей мощью легких втянул воздух. Сырой и соленый воздух раздул ему ноздри. Втянул снова.

Пахло морем.

Пожал плечами, потряс головой.

Обгоняя мысль, вереницей прошли перед ним знакомые образы.

Море!

Вспомнил звезды, наблюдаемые в шестикратный бинокль. Могучее дыхание волн хлестало по щекам. Подрагивание мачт, резкие толчки корабля под порывами ветра, брызги разбивающихся волн. В такие минуты, стоя на мостике, надвинув фуражку на глаза, руки в карманах, он качался на расставленных широко ногах. Запахи

солнца и соли. Нет, человек, сжившийся с морем, трудно привыкает к суше. Чувствует себя изгнанником. Физические и духовные силы его дремлют. Душа не удовлетворена.

Да, он не понимает людей. Эти бесконечные войны, эти распри во имя мелких интересов. Эта пролитая кровь и этот пожирающий все огонь. Нет, он не понимает людей.

С того дня, как ступил на сушу, он хочет найти море, как бы то ни было, где бы то ни было — найти море. Водить корабли. Слиться с одиночеством вод; забыть обо всем.

Воздух, соль, широкие просторы.

Вот что заставляло его бродить по этим пустынным и негостеприимным местам. Вот что привело его к безумному и смешному предприятию. И все для того, чтобы добраться до моря.

Он не понимал суши. Земля, пот, кровь, тревоги. Сушу он больше видел с моря, как далекое желание, как мираж. Он знал ее в короткие часы стоянок, заполненные шумом, сутолокой. Залитые светом кафе, механическая музыка, смех, водка, драки, доступные женщины. Мимолетные встречи, дешевые поцелуи, случайные постели.

Важнее всего для него был корабль и все связанное с ним — приготовления к отъезду, дисциплина, забота о своевременном прибытии в пункт назначения, об экономии угля и нефти, искусство пройти невредимым сквозь бури.

Города пропадали за горизонтом, заволакивались дымом воспоминаний. Дома, улицы, аллеи, фонари в ряд, бег автомобилей, запах бензина, полицейские, проститутки. От всего этого он удалялся без сожаления. О, как приятен был час, когда, стоя на мостике, он приказывал отдать концы. Труба с красным кантом пускала клубами дым; гудок, брызжа паром, отзывался густым басом. Металлическим половником винт размешивал воду, и корабль, как огромный кит, отчаливал. Гладкий, высокий, терся туловищем об отбойные бревна причала, которые жалобно скрипели. Концы летели в воду, и, бороздя острым носом море, он удалялся без оглядки. Последний маяк выбрасывал первый флаг одиночества, и простор начинал шевелить своими гигантскими руками...

А теперь — где он и что это за такая местность, по которой он вот идет?

Солнце оторвалось от горизонта.

Весенний легкий ветер — тоже беженец,— расправив крылья, ласково парил над землей. Но земля — сухая, твердая, бесчувственная — не принимала его ласк. Она лежала равнодушная, безучастная, мрачная.

Страна — камень. Каменная страна.

Эрьян шел со спутанными мыслями, с грузом на сердце.

8

В Александрополь вошел узкой безлюдной улицей.

Низкие, приплюснутые дома. Пыль. Закрытые двери, ослепшие окна. Ни одного открытого магазина. Неужто еще такая рань? Да нет, солнце уже стояло вполнеба.

— Значит?

Перед одним из домов играли двое ребятишек. Эрьян заторопился, чтобы спросить у них, как пройти на железнодорожную станцию, но не успел еще подойти близко, как дверь дома приоткрылась, высунулась голова старухи и сердито позвала их в дом.

— Что,— кричала женщина,— под пулями хотите остаться?

Дети вбежали в дом, и дверь шумно захлопнулась. Улица погасла, как лампа без керосина.

Эрьян ничего не понял.

Вот тебе и на... Исполнился дурных предчувствий. Не знал, куда направиться. Вдруг заметил женскую голову в окне. Подошел, постучал в стекло. Женщина, в испуге, опустила занавеску и исчезла. И в ту же секунду донеслись винтовочные выстрелы.

Эрьян прислушался и остался в нерешительности.

— Что это, господи, что это?

Дошел до конца улицы, свернул направо. Вот небольшая площадь. Группы военных. Вооруженные граждане, большей частью рабочие. Красные флаги.

Со всех сторон на него устремлены подозрительные взгляды. Не придал значения. Прошел дальше. Не успел сделать и двух шагов, как сзади его окликнули:

— Эй, гражданин, куда идете?

Подошли солдаты.

— Иду на железнодорожную станцию,— ответил Эрьян,— новый человек в городе...

— Новый человек в городе и не знаете, где станция?

— Должно быть, с неба упал,— сказал смуглый и волосатый солдат.

— Обыщите его,— приказал третий.

Обыскали. К счастью, револьвер на корабле оставил.

— Ничего нет.

Эрьян объяснил. Платформы с грузом остались там, в поле, и он пришел за машинистом.

— А на станцию зачем шли?

— Сказал же вам: хотел узнать, куда девался машинист.

Подошел молодой офицер, в упор заглянул ему в глаза, изучающе. Эрьян, немного смутившись, снова дал объяснения.

— На станцию идти совершенно бесполезно,— смерив его с ног до головы, сказал офицер.— Рабочие сейчас заняты более важными делами, и не думаю, что станут заботиться о вашем корабле. А если и пойдете, все равно вас туда не пустят без пропуска.

— Благодарю...

Подозрения вызвала его фуражка. «Пусть как хотят считают: фуражки не сниму». Пошел указанной ему дорогой. Следом кто-то шел. Эрьян сделал вид — не замечает.

Везде на углах улиц группами стояли солдаты. Везде висели красные флаги. Эрьян шел задумчивый, с интересом поглядывая по сторонам. Его еще несколько раз останавливали, расспрашивали.

Перед приземистым зданием станции собралась большая толпа.

Рабочие, крестьяне, солдаты, вооруженные добровольцы.

Неподвижная и настороженная, эта толпа не сводила глаз с дверей. Наверно, ждали чего-то важного. И сам Эрьян поднялся на носки и посмотрел поверх голов в том же направлении.

Вдруг толпа задвигалась. Из боковой улицы послышалась песня, грохнули крики: «Да здравствует рабочая власть!»

— Кто они? — полюбопытствовал Эрьян, обратившись к стоявшему рядом рабочему, который, вертя шапкой, выкрикивал лозунги.

— Присоединившиеся к нам новые солдаты,— ответил рабочий и продолжал кричать: — Конец дашнакам! Да здравствует коммунизм!

— Урр-а! Урр-а!

С красными флагами и антиправительственными транспарантами демонстранты с шумом вылились на площадь.

Толпа расступилась, дала им пройти. Подъем был огромный. Новеньких окружали, поздравляли, целовали. Пели революционные песни, выкрикивали лозунги, шумели, кипятились.

— Да здравствует рабоче-крестьянское правительство!

Когда первая волна воодушевления спала, молодые подняли одного на плечи. Раскрасневшийся, с растрепанными волосами, он простер руки и потребовал тишины.

— Тихо! Тихо! — зашумели со всех сторон.

Молодой оратор говорил о победах советской власти. Азербайджан — уже красный. Грузия вот-вот сбросит ненавистное иго меньшевиков. Пробил смертный час дашнаков — этих разбойников и убийц. Ереванскому правительству недолго осталось: почти вся армия перешла на сторону рабочих и крестьян. Армения будет Советской — это вопрос считанных часов... Бронепоезд, который стоит на станции, готов уничтожить лакеев капитализма... Вся железная дорога в руках революционеров... Телеграфно направлен ультиматум Ереванскому буржуазному правительству. Если власть не будет передана нам, тогда, товарищи...

Последние слова не разобрать было. Громкие крики покрыли голос оратора. Потрясая кулаками, выкатив глаза, напрасно он пытался обуздать толпу.

Запели «Интернационал».

— К казармам, товарищи! Да здравствует Красная Армия!

Взвились флаги.

С песнями выступили юноши и девушки. Часть собравшихся потянулась за ними.

Эрьян смотрел взволнованный и растерянный. По-

бледнел, руки дрожали. Волной глубокого разочарования окатило его и повергло в уныние. Что теперь ему делать? Что теперь будет с кораблем?

Корабль. У края площади стояла группа людей. Инстинктивно почувствовал их душевное состояние и подошел к ним. Посмотрел им в глаза, обменялись взглядами. Эрьян хотел сказать что-то, но побледневшие губы задрожали и ничего не смог выговорить.

В эту минуту народ на площади переполошился.

Забегали. Одни вбегали в здание станции, другие выбегали. И сердитые собирали вокруг себя группки, возмущались.

Что же случилось?

Вдруг двери станционного здания распахнулись, и тяжелой походкой вышел озабоченный, широкоплечий человек высокого роста. Народ качнулся к нему. Эрьян тоже подошел. Человек встал на стул, вынесенный из здания, поднял руку, прося тишины.

Площадь замерла.

— Товарищи и граждане! — крикнул он.— Нужно готовиться к последнему, решительному бою... Только что по телефону мы связались с правительством Еревана... Запродавшиеся капиталистам Европы и Америки, эти негодяи...

— Долой! Долой!

— Товарищи, слушайте! Слушайте!

Площадь ходила волнами. Толкали друг друга. Каждый хотел поближе стать к оратору. Многие повисли на фонарных столбах.

Оратор снова поднял руку, требуя тишины.

— Внимание! Внимание!

— Вы должны знать,— продолжал он,— что солдаты Карса, Сарыкамыша, Караклиса с нами... Трудящиеся массы Армении хотят взять власть в свои руки... Однако буржуазные правители не сдаются. Дашнаки объявили диктатуру... Бросают на нас свои отряды маузеристов.

— Долой! Долой! — завопила толпа.

— Наш красный бронепоезд, товарищи, встретит их как подобает уже на полпути...

— Да здравствует бронепоезд! Да здравствует...

— Товарищи и граждане, это будет последний и решительный бой... Вооружитесь и покажите им, что волю

рабочих не сломить... Да здравствует Армянская Советская республика! Да здравствует коммунизм!

Площадь раскололась голосами.

Группа молодых запела:

— «Это есть на-а-ш последний и решительный бо-о-й!»

— К оружию, к оружию! — воскликнули сразу несколько голосов.— Вооружаться надо! Надо вооружаться!..

Немедленно собралась большая толпа и с песнями двинулась к центру города. Эрьян, не в силах удержать любопытство, пошел за ними.

Стоявших на улице солдат приветствовали:

— Да здравствует Красная Армия!

Солдаты улыбались.

От станции временами подбегали парни, приносили последние новости. Эти вести переходили из уст в уста, рождая новые вспышки восторга.

— Товарищи, к нам примкнула кавалерия Карса... Крепостные укрепления в наших руках...

— Да здравствуют... Да здравствуют!

Выбрасывается красный флаг, ликование достигает кульминации.

Вскоре на площади узнали, что бронепоезд двинулся на наступавших дашнаков. Назревали решительные события. Раздались крики:

— На станцию! На станцию!

Запевалы прошли вперед.

Толпа хлынула за ними.

К пяти часам со стороны Ахуряна донесся орудийный выстрел. Потом гром орудий потряс город. Демонстранты замерли. Широко раскрытыми глазами смотрели туда, где гремела канонада.

— Наши,— сказал рабочий рядом с Эрьяном,— ну и бьют, а!..

Чуть погодя голоса орудий удвоились. Затрещали и пулеметы.

— Нет, это другое,— сказал кто-то.

Толпа, взволнованная, задвигалась. Голоса перешли в шепот.

Перестрелка приближалась.

Бронепоезд, с грохотом, отстреливаясь, проскочил станцию и покатил в обратном направлении.

Все так и разинули рты.

Сильный взрыв потряс город. Взрывали мосты.

— Идут! Идут! — неслось со всех сторон.

Началась паника. Толкали друг друга, сшибали, кричали, шумели. Некоторые, растерявшись, побросали свои револьверы...

В эту минуту из боковой улицы выбежали маузеристы и стали преследовать убегавших.

Трещали винтовки. Площадь опустела.

Темнело, перестрелка продолжалась.

На рассвете грянули медные трубы.

На стенах появились объявления. Рабоче-крестьянское восстание подавлено. По всей стране объявлено военное положение. Эрьян прочел и побежал на станцию. Надо было любой ценой добраться до корабля.

— Подождать придется,— сказали ему на станции,— большая часть рабочих сбежала, мосты разрушены.

Собрался было уходить, когда узнал, что туда, к его кораблю, скоро отойдет особый воинский поезд. Побежал купить еды на дорогу и поспел уже к самому отходу.

Когда издали увидел корабль, сердце забилось сильнее. Не дай бог, поврежден.

К счастью, поезд шел не очень быстро. Соскочил, растерялся вдруг, потом помахал фуражкой солдатам и побежал к кораблю.

«Альбатрос» стоял призрачный, нереальный, сиротливый. Как нежданное видение — безмолвный, одинокий, большой.

Эрьян смотрел взволнованный.

Перестук вагонов растаял вдали.

Глубокое молчание. Он и корабль. Он, и корабль, и этот пустырь, именуемый станцией. Полуразрушенное, жалкое строение с выбитым единственным окном, покосившейся крышей, сквозь которую просвечивало небо.

Ладно, что же теперь ему делать?

Над полем носился легкий желтый ветерок. Вихрился по земле, повисал на миг, потом, собравшись со слабыми силами, разбегался и налетал на худосочные, чахоточные растения. Те содрогались всем стеблем, клонились и уступали ему дорогу. Весна.

Ладно, что же теперь ему делать?

Глаза окунулись в этот покой. Все отяжелело и замерло в ожидании. Скалы, небо, корабль, он — ждали. Точно неведомая волшебница готовилась посетить мир. Вот она перешагнет через горы и будет здесь — и, когда явится, зацветут поля, небо загремит, зашумят меж скал ручейки.

Ладно...

Из куста выпорхнула какая-то птица, взмыла к мачте, и села на верхушке, захлопала крыльями и, вертя головой, посмотрела по сторонам.

Эрьян улыбнулся. Обрадовался.

Странно, что не видно стрелочника. Побродил, посвистел, поел хлеба, растянулся на земле и уже хотел отдаться своим мыслям, как, удивленный, поднял голову. Издалека, помахивая хвостом, подходила толстая серая собака.

Эрьян сел.

Собака шла мимо разрушенной станции, высунув язык, опустив голову, обнюхивая землю. Она подошла к ногам Эрьяна, завиляла хвостом, радостно взвизгнула, легла, положила голову на землю, уставилась дружелюбно на него.

Пастуший пес. С огромной головой.

Откуда этот пес? Эрьян посмотрел из-под руки, пошарил глазами и никого не увидел. Поднялся, пошел — пес за ним. Сел — пес растянулся на земле и, прикрыв глаза, преданно стал следить за каждым его движением.

«Ладно,— подумал Эрьян,— дружеская душа, пришел разделить мое одиночество». Дал кусок хлеба. Приласкал.

— А как звать тебя? Эх, и языка нет у тебя, чтоб ответить. Давай новое имя придумаем... Нашел! Назовем тебя Рим!

Пес понял, весело завилял хвостом и согласился.

Так и сидели часами. Подошел вечер. Горы все больше уходили в тень. На краешке неба молодой месяц высунул свою позолоченную пластинку. За молочными завесами исчезло поле.

Эрьян перелез через доски, чтобы добраться до каюты. Рим забеспокоился. Забегал, стал царапать землю и с мольбой смотреть на Эрьяна. Он сошел и помог псу подняться.

— Вот тут и можешь лечь,— сказал, указывая псу на мостик.

Рим полежал с минуту без движения, потом вскочил и завыл на луну.

9

Корабль продолжал свой путь. Вагоны гулко стучали колесами. Паровоз выбрасывал обильные и ядовитые клубы дыма — скверное было топливо,— гудел почем зря, тяжело вдавливал мосты через овраги. Пытался набрать скорость и вдруг начинал шипеть, со стоном выпуская пары, и, обессиленный, останавливался где-нибудь в безлюдном месте. Эрьян злился, кусал мундштук трубки, уныло оглядывал пространство. Рим вскакивал, внимательно смотрел налево и направо, лаял на терзавших его насекомых или на привидения, рожденные его воображением.

— Чертов хвост! Будь он проклят, опять выдохся,— мычал себе под нос Эрьян, поглядывая на паровоз.

Пойти спорить с людьми было делом бесполезным. Паровоз останавливался, потому что не достать было топлива, не было воды или встречный пассажирский опаздывал, и оставалось ждать, пока он пройдет.

Последние события все расстроили. Железная дорога перешла в руки военных властей и служила лишь нуждам армии, войны.

Вагоны пахли порохом, медикаментами, кровью. Рим и тот морщился, когда проходили воинские составы. Из окон мелькали бледные, желтые, изъеденные лихорадкой лица. Солдаты смотрели запавшими глазами и, сжимая высохшие губы, улыбались.

Иногда эти поезда останавливались. Спрыгивали солдаты с лопатами и в трех-четырех шагах от полотна железной дороги рыли яму. Лопаты вгрызались в сухую твердую почву и жалобно звенели. Спускали трупы и клали в землю в ряд.

Спустя много времени, когда все уже кончалось, погребальный звон лопат не покидал этого места, он приставал к людям, преследовал их, как запах йодоформа.

Рим поджимал хвост, поднимал уши и глухо скулил.

Неизвестно было, когда доберутся до Еревана.

Ничего не было известно.

Нескончаемая засушливая земля, нескончаемое безмолвие.

Молчаливые, с ленивыми движениями люди.

Самой оживленной была трехдневная остановка в Александрополе. Горожане приходили глазеть на корабль, как ходят в цирк. Толпились, шумели. Рима пришлось посадить на цепь.

Машинист и его помощники не вылезали из буфета. Рассказывали зевакам невероятные истории о корабле. А те без конца угощали их. Эрьян, задумчивый и торжественный, давал пояснения интересующимся. Оказалось, что многие никогда не видели ни моря, ни корабля.

Народ шел из дальних кварталов и даже из ближних сел. Приходили и, разинув рты, стояли часами. Потом пели и танцевали.

В день отъезда все были пьяны.

Городские гуляки пришли с бутылками вина. Собралось много провожающих — скауты, учащиеся школ. Устроили настоящие проводы.

Эрьян был взволнован.

Наконец отъехали. Черепашьим ходом. Останавливались на полустанках, маленьких станциях, служащие которых сбежали. Не знали, что делать: ехать, оставаться? Отбыв, могли нарваться на встречный поезд; оставшись — сколько должны были ждать тогда?

Решали ждать.

Эрьян предпочитал ждать, чтобы не подвергать корабль опасности.

Порой сердился:

— Когда останавливаетесь, любезный, нельзя ли эту чертову колесницу потише осаживать? Тысячу раз говорил... От толчков платформы бьются друг о друга, опоры трещат, корабль качается... Вам что, не терпится сыграть со мной злую шутку — опрокинуть корабль?

— Делаем, что можем. И нечего учить нас... Я уже восемнадцать лет поезда вожу...

Спорили, орали, проклинали божий свет.

Ждали, уставали ждать, пили водку, рассказывали басни.

Изредка проходили этими безлюдными местами крестьяне. С палкой в руке и сумой на боку, с землистыми лицами. Брели вдоль железной дороги, машинально пере-

двигая ноги. Останавливались перед кораблем, складывали руки на палке у груди и глазели.

— Куда, братец, идете так? — спрашивал Эрьян.

Крестьянин пялил на него глаза и разводил руками:

— А думаешь, знаем, куда идем? Сына ищем... Что тебе сказать, забрали в солдаты, увели, и никаких вестей... Говорят, может, в больнице где. Сын Матоса из нашего села там, в Гюмри... Бог ты мой! Бог ты мой! По этой причине и идем.

— Плохие времена, братец, плохие времена...

— Не говори, что за напасть такая...

— А как дела идут в селе?

— А чего ты ждешь? Плохо...

Они удалялись, сгорбив спины, волоча ноги.

...Как-то под вечер, пока по полю ходил прохладный ветерок, набрали хворосту и разожгли костер. Сухие ветки загорались с треском, и ветер косил веселыми руками взлетающие языки пламени.

Все скучились вокруг костра. Молчаливые, задумчивые — ждали. Вдруг Рим, до того лежавший спокойно, вскочил, забеспокоился и залаял. Посмотрели в ту сторону: две тени двигались к ним.

— Видно, задержались где-то крестьяне,— сказал машинист Серго.— Пока до ближайшего села дойдут, будет за полночь.

— Впереди мальчик идет, и рука другого у него на плече... Слепой, наверно,— всмотревшись, сказал его помощник.

— Сюда идут, на костер,— заметил Эрьян.

Чуть погодя тени подошли. Рим бросился к пришельцам, но на него прикрикнули и отозвали.

— Слушай, да никак ашуг! — воскликнул Серго.— Саз прижимает к груди... Добро пожаловать!

— Всем вам божьей благодати,— приветствовал слепой, останавливаясь поодаль от огня.

— С каких мест идете?

— Заблудились малость. Поводырь мой новичок,— пояснил слепой.— Эти места плохо знает, и мы напрасно проплутали... Говорю — напрасно,— добавил он с улыбкой,— но на этом свете ничто не напрасно: глаза всевышнего ведут нас куда надо, и мы очень рады, что встретили вас здесь, люди добрые.

Два мертвых глаза. Светлые усы и округлая борода.

Нежный, почти женский рот. Невысокий, худой. Старая крестьянская чуха [1], на ногах лапти, на голове лохматая папаха.

Поводырь его и ученик — с наивными черными глазами мальчик лет десяти — двенадцати. Тоже в чухе и папахе. Островерхая папаха велика была ему, закрывала часть лица. Видны были лишь хорошо очерченные губы и блестящие глаза.

Оба присели на корточки к огню и стали греть руки.

— Э, братец ашуг, и для вас времена неважные нынче,— сказал Серго, вытягивая ноги.

— Это так,— ответил слепой,— мы люди песни, а песня любит мир и спокойствие. Песня, как растение, молчанием земли рождается.

Поднимал лицо, и голос звучал сильнее, будто с небом разговаривал. В словах его была убедительность, которая дается глубокой верой.

— В селе, откуда идете, вам пришлось петь? — спросил Эрьян.

— Как же, пели! Где бываем, там и поем. Служим народу... Это так. Мир пошатнулся... Всюду горя много, слез много... В чем причина?

Опустил голову и смолк.

— Наверно, так и написано в книге судеб,— сказал то ли в шутку, то ли всерьез один из железнодорожников.

— Да, так написано, но и по-другому тоже написано,— коротко отрезал ашуг.— Человек для того, чтобы выбрать. Книги полны слов — хороших и плохих. Люди не научились хорошо читать.

— Ну и сказал! — отозвался помощник машиниста.

— В твоих словах— правда,— подбодрил ашуга Эрьян.— Каждый человек клянется на прочитанной им книге...

— Потому и наши мастера говорили: правдива только та книга, слова которой поются. Слова песни идут от сердца и обжигают, как огонь... Выходит, правда — это песня и пламя, а все остальное — неправда...

— Поняли тебя, голубчик, поняли,— пошутил Серго.— Ты хочешь оправдать свое ремесло... Выходит, что без песни и земля не вертится...

---

[1] Чуха — верхняя одежда крестьянина.

Все рассмеялись.

— Нам нет надобности себя оправдывать,— ответил слепой.— Вольной волей мы избрали трудное свое ремесло — служить народу и господу. Когда в суме у нас кусок черного хлеба, мы счастливы, и песня, которую мы поем, не от нас, она свыше... Нет, милый человек, нам нет нужды себя выгораживать...

— Не обижайся,— успокоил его Эрьян,— это он в шутку.

— Мы не обижаемся, а ваша милость, видно, хороший человек... Могу узнать, кто вы?

— И представить даже не можешь,— сказал Серго.— Он моряк, корабли водит... Вон, погрузил на платформы корабль, везет его с собой, чтобы по Севану плавать.

— Вот это мило! — воскликнул слепой.— Такого слышать не приходилось... Но не удивляюсь, потому что жизнь — это рассказ, и все в ней может случиться... Жалею, что глаза мои господь себе оставил...

— А про море знаешь? — спросил Эрьян.

— Ашуг все знает. Правда, морской ветер не трогал моих век, но в песнях слышал о море и, могу сказать, в песнях видел...

— Ну, в нашей стране моря нет,— сказал кто-то из железнодорожников,— только скалы, высота да небо...

Вечер приближался. Тучи с Арагаца закрывали заходящее солнце и торопили темень. Поле на глазах ширилось, яснее выступал круг сидящих у огня людей.

— Это, к сожалению, верно,— со вздохом согласился Эрьян.— Не пойму, как это наши уклонились от моря... Дошли до возвышенностей у самого моря и там остановились... Просто удивительно!

— А что скажет на это наш ашуг?

— Ваша милость шутит,— ответил слепой с улыбкой на устах.— Откуда нам знать, о чем думали наши цари. Наша страна — святая, а море не может быть святым, чистая душа не может обрести там пристанища... Верно я говорю?..

— Говори! Говори!

— Простите...

— Да прощен ты, говори...

— Море — это ветер, буря, глубина и вечная изменчивость. На беспокойном месте святыни не поставишь, и по этой причине море неугодно богу... Хочу сказать, что волны моря противны евангелию по той причине, что полны они гнева и равнодушны к человеку, не слышат людских стенаний. И очень возможно, что именно по этой причине наши предки дошли до возвышенностей и к морю не спустились...

Эрьян с интересом слушал своеобразные объяснения ашуга. Другим его речь явно не нравилась.

— Разве это объяснение? — сказал Серго.— Братец, сегодня люди говорят о Карле Марксе, об экономических законах, а ты все о душе да о боге ведешь речь...

— Каждый говорит, что может,— улыбаясь ответил ашуг.

— Варпет [1],— потянув ашуга за полу, сказал ученик,— уже ночь, и если мы хотим продолжать путь...

— В такой час куда вам идти? — возразил Эрьян.— Ближе чем за тридцать верст нет ни одного села.

— Ну коли так, заночуем здесь,— решил слепой,— тем более что повеяло сыростью, к перемене погоды, должно быть.

— Не думаю, чтоб этой ночью погода испортилась,— сказал Эрьян.— Северный ветер разгоняет тучи. Если ветер уляжется, завтра польет непременно.

— Это будет ни к чему, потому что завтра должны ехать,— сказал машинист.

— Что, боишься, машина размокнет?..

Засмеялись.

— Теперь нам самое время поесть,— сказал машинист.— Варпет разделит с нами нашу скромную трапезу и, если сердце подскажет ему, споет нам...

— Клянусь богом, спою, слуга я народа,— ответил ашуг.

Пока они ели при свете костра, на краю неба, за горами, глухо прокатился гром.

— Небесные духи проснулись,— вслух подумал ашуг,— хорошо, если не придут сюда.

---

[1] Варпет — мастер, маэстро — уважительное обращение.

— Не думаю,— успокоил его Эрьян,— они еще далеко, и, пока дойдут до нас, пройдет много времени.

— Вот так и ходит всегда гроза над нашей милой страной...

— Прошу... этот кусок передай варпету...

Ели молча. Тишина, поле, ночь.

Налили вина.

— Степан,— обратился машинист к своему помощнику,— первое слово тебе. Когда пьют вино, нужны красивые слова...

Степан поднял стопку:

— Выпьем за тех, кто мчится, оседлав молодого коня своих идей, мчится, подставляя ветру грудь. Все ему нипочем. И если приходит час, жертвует собой ради этой идеи. Идет на смерть с легкой душой, подбрасывая вверх шапку, как на празднике.

— Молодец, хорошо сказал...

— Ваше здоровье!

Вдали вспыхнули сполохи, погасли, и чуть погодя загремело.

Серго сказал:

— А этот бокал за человека, который идет день и ночь по горам и ущельям, проходит много дорог, чтобы найти свой чудесный цветок, и когда наконец находит — не срывает, чтобы не причинить ему страданий...

— Благословен будь! — воскликнул слепой.— Мудро говоришь...

Несколько звезд упрятались в небе. Одинокий кустик тревожно качнулся, дрогнул всем телом. Языки пламени разбежались в стороны — и снова сошлись.

Слепой поднял голову, пустыми глазами уставился в небо.

— Ветер идет...

— Далеко пока,— успокоил Эрьян.

— Подлейте вина...

— И я хочу сказать,— слова попросил Эрьян.

— Говори, капитан, говори...

— А сейчас, друзья, выпьем за человека, в сердце которого мир расцвел чудесным садом... И когда легкий ветерок шелестит в листве, в нем рождается песня... Выпьем за нашего почтенного гостя, за нашего варпета...

Зазвенели стаканы.

— Благодарствую,— ответил ашуг, снимая через голову саз.— На такой тост только песней могу отозваться...

Но только коснулся струн, как небо раскололось посередине; сильный ветер разметал огонь, рассерженным великаном пошел кататься по полю.

Ашуг сидел раскрыв рот.

Одинокий кустик затрепетал, выгнулся и, наклонив голову к костру, загорелся.

Ночь заполнилась проснувшимися вдруг тенями и громами.

Упали крупные капли дождя.

— Вот так всегда,— задумчиво произнес Степан,— армянской песне и зазвучать-то некогда...

Все разбежались — укрыться от дождя.

Когда назавтра тронулись в путь, ливень все еще колотил по земле.

Товарный поезд полз осторожно. На поворотах корабль сотрясался, и бревна и доски по бортам его трещали. Из тысяч родников вода лилась на него, заливала, образуя здесь и там лужи, которые потом сильный ветер разбрасывал, поднимая брызги.

Как в дни больших бурь, Эрьян, озабоченный и потрясенный, стоял на капитанском мостике. Казалось, корабль плывет по исхлестанному ливнем морю.

Этот обман усиливался еще и тем, что вокруг ничего не было видно.

Порывы встречного ветра доносили порой до его слуха протяжные гудки паровоза. Примешанный к шуму ветра, этот вой машины рос, ширился в голове Эрьяна. И в такие минуты он уносился мыслями в бушующее море. Слышал басовый переговор больших судов. Предчувствовал опасность.

— Где рулевой? Где его помощники? Где матросы?

Сбегал с мостика. Качаясь, подставив голову дождю и ветру, перепрыгивая через ступеньки, проверял снасти, задраены ли иллюминаторы, и, вымокший до костей, ослепший, шел опять на мостик. То был особенный мир.

Небо щедро поливало сухую землю. Струи воды барабанили по ней, стекали, заполняли ямы, неровности.

В одном месте вода залила полотно железной дороги, затопила рельсы.

Эрьян как увидел, так на месте и застыл.

Страх сковал его мысль, движение, голос.

Настоящий потоп.

Что будет, если воды поднимутся и повторится то, что бывало здесь за всю историю, наверно, не один раз?

И в воображении его море покрыло местность. Корабль высвободился, стал на волны, поплыл. И он и Рим остались одни под пустынным небом.

Сердце сжалось, закружилась голова.

Острым взглядом обвел он окружавшее его пространство.

Ничего не видать. Все смешалось. Хотел крикнуть, позвать людей, голос не подчинялся ему.

Инстинктивно метнулся к штурвалу и, крепко держа его обеими руками, стал ждать.

Теперь они уже, казалось, плыли в какую-то нереальность.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

1

Капитан Эрьян вошел в Ереван покрытый грязью, угольной пылью, в замасленной фуражке, истрепанных ботинках, но с просветлевшим лицом, горящими глазами.

— Наконец,— воскликнул он,— наконец приехали, добрались до места!

Позже, разгуливая по городу, жадными глазами смотрел вокруг. Та же центральная улица, те же люди: неторопливые, озабоченные. Знакомых не видно.

Какие испытания выпали на его долю! Какие трудности он преодолел!

Об этом никто ничего не знал.

Засунул руки в карманы, выкатил грудь и пошел враскачку. Он был доволен проделанной большой и трудной работой. Ждал, что кто-то подойдет, выразит свою радость, начнет расспрашивать: «Ах, капитан, наконец приехали! Слышали, как же, слышали...» А люди шли, не глядя на него, не замечая его.

— Ладно. Пусть так...

Город совсем не изменился. Те же дома, те же улицы, та же грязь.

Щедрое солнце обрушивалось лавой света. Все покрывала жирная, тяжелая пыль. Обремененные зеленью сады дремали. В тени на тротуарах лежали беженцы.

Было жарко.

Эрьян вытер со лба пот, продолжал смотреть.

Улица постепенно пустела. После полудня население отдыхало. Защищаясь от солнца, закрывали ставни. Горожане, лежа в полуоткрытых дверях или под полуоткрытыми окнами, спали до вечера. Под вечер легкий ветерок бежал со стороны Эчмиадзина, принося прохладу.

В воздухе висели крупные мухи, кружилась кучками мошкара. Комары...

— Не забыть бы принять хинин,— сам себе сказал Эрьян.

Малярия трясла всех, как буря трясет деревья.

— Смотри-ка, новый магазин!

Стал у витрины, обрадованный. Запонки, рубашки, пуговицы. Бритвы, расчески, галстуки. Заглянул в магазин. Толстый мужчина с красным лицом, приоткрыв рот, дремал на стуле.

«Придем как-нибудь делать покупки»,— подумал Эрьян.

Он подумал — и вздрогнул всем телом. Загрустил: давно не получал вестей от Зварт.

Ах, не стоит об этом думать.

Стряхнул оцепенение и пошел. Озлился на себя и на женщин.

«Не забыть бы принять хинин».

Подошел к водопроводному крану на углу улицы, подставил рот холодной струе и стал пить ненасытными губами.

Заговорил сам с собой.

Не время о женщинах мечтать, Дашеньку потерял по своей вине, Зварт, кажется, тоже. Черт подери, главное — корабль. Трудности только начинались. Надо было выискать средства поднять корабль на Севан. Все возможности перебрал уже, все распланировал. Механических средств не было из-за войны. Армия — прежде всего. Ладно: оставались волы, а их еще надо было найти. Конечно, порой человек думает и о собственном счастье... Нет, прежде надо найти волов.

Приближался гром барабанов. Опять солдаты.

— Не забыть бы принять хинин.

Надо было ждать до шести. В шесть пойдет домой к Зварт, нанесет визит и все выяснит. Кто знает, может, его предположения ошибочны, может, она болела, может...

— Папиросы! Папиросы!

Уличные мальчишки вовсю торговали.

Невыносимо жарко. Жара и пыль. Идти в гору — сил не было, а время надо убить. Свернул на боковую улочку. Глинобитные дома в персидском стиле.

Тишина и солнце.

Куры. Бродячие псы. Беженцы в лохмотьях.

Здесь город кончался. Камни, голая земля. Озерцо. Осклизлая вода, гнилые листья, куски дерева в хлипких водорослях, зеленая грязь. В жаркой траве на другом берегу пробовала петь лягушка: пучила глаза, разевала рот пошире, потом, передумав, захлопывала.

Эрьян удивленно огляделся. Зачем его принесло в эти места?

Какая связь между ним и этой печальной, безнадежной картиной?

Он почувствовал себя одиноким, заброшенным судьбой к чужим. Мысль, сердце, все существо как-то отстранились от всего. Он смотрел из далекой дали. И лысые холмы, чудесные сады, мертвая, в пузырях, вода, лягушка, солнце показались ему нереальными. Будто эта картина неожиданно всплыла из-под занавеса и скоро должна смениться другой, еще более нереальной.

Нашествие врагов, восстание, болезни.

И, несмотря на это, горожане отдыхали после полудня. Мужчины и женщины с набитыми желудками, полуголые, дрыхли в своих постелях.

Так, надолго, он затерялся в самом себе.

Через час, стоя на спуске большого проспекта, выставив ногу, заложив одну руку за спину, другой размахивая фуражкой, он говорил речь перед удивленной группой недоверчиво поглядывавших на него людей.

Голос гудел, и глаза блестели.

Он говорил, будто старался сам себе внушить уверенность, не обращая на слушателей особого внимания.

— Да, должен был принять на себя эту заботу,— говорил он,— предпринял труднейшее дело. Встретил на своем пути неописуемые препятствия — ужасное обслуживание, бессовестность чиновников, всеобщую неорганизованность. Но что поделаешь, жизнь есть жизнь, надо суметь все преодолеть, не пасть духом, остаться сильным, мужественным.

Размахивал рукой, волновался, сердце его билось... Час визита к Зварт близился, и дурное предчувствие разрывало его грудь.

— Да, важно не пасть духом! Все подробно учесть, предвидеть все трудности... Это необходимо не только в частном деле, но и в общем государственном устройстве. История поставила перед нами задачи, которые мы должны решить достойным образом. Мы несем ответственность перед человечеством...

— Вот это новость! — возразил один из слушателей.— Вот это новость! До сих пор нам говорили, что человечество в ответе перед нами...

— Это другой вопрос,— оборвал его Эрьян.— Брат, правда то, что нашу судьбу определяем мы, а не человечество... А что человечество? Абстракция, воображение... Говорим «человечество», как говорим «воздух, вода, земля»,— так, вообще... Поговорим лучше о реке Зангу, о наших садах, о Севане... Это реальные вещи... Человечество! Земной шар! Все это общо́, как воздух! Да, воздух!

И вдруг прервал себя:

— Могу спросить, который час?

— Половина пятого...

— Об этих вопросах в другой раз поговорим подробней, сейчас я должен идти, спешу, важное дело...

— И нам в ту сторону...

Продолжали говорить, но Эрьян не слушал. Мысли его были в другом месте. Чуть побледнел, на собеседников смотрел отсутствующим взглядом, словно и не видел их никогда.

На углу улицы Назарянц он привел в порядок волосы, надел фуражку и сказал:

— Это очень важные вопросы, господа, это очень важные вопросы... До свиданья! — Громко и не к месту рассмеялся. Нервно передернул плечами и опять рассмеялся.— Господа! До свиданья!

Остановился на пороге своей бывшей квартиры. Постоял в нерешительности. Створки его окна на улицу были настежь. Входная дверь полуоткрыта.

Постучал тихо. Никакого ответа.

Четко различал удары своего сердца.

Подождал, прислушался: изнутри ни звука. Может,

нет дома? Снова — теперь посильнее — ударил в дверь. Нижнюю губу била дрожь.

— Кто там? — спросили за дверью.

— Я,— ответил Эрьян радостно.

— Кто?

— Мамаша, это вы? Что, уже и старых друзей не признаете? Капитан Эрьян я, капитан Эрьян! — крикнул он.

— А-а... Это вы, господин Эрьян... Минутку, пожалуйста... накину что-нибудь...

Подождал на улице.

В доме шептались. Бегали взад-вперед, наводили порядок, открывали окна.

Эти секунды ожидания показались ему бесконечными. Чем больше ждал, тем больше покидало его самообладание. Словно шел на экзамен, к которому не был достаточно подготовлен.

Наконец дверь отворилась, и он увидел улыбающееся и чуть растерянное лицо матери Зварт. Она поздоровалась с преувеличенной приветливостью, скрывая смятение.

Из кухни вкусно пахло. Два босых малыша смотрели на него удивленно, округлив глаза, как смотрят на человека, которого видят впервые.

Еще он заметил, входя, как затворилась дверь в боковую комнату. Он понял, что это ушла Зварт, и побледнел. Хозяйка перехватила взгляд и, чтобы не смотреть ему в глаза, стала поспешно накрывать на стол, расставлять стаканы, блюдца, передвигать стулья.

— Простите, господин Эрьян,— сказала она, придавая голосу естественность и задушевность,— в нашем доме все всегда вверх дном... Стало теплее, и от этих паршивых мух вынуждены держать окна закрытыми... Ладно, ладно, ладно, наконец вы приехали, вернулись, господин Эрьян... Поверьте, всегда о вас справлялась. всегда интересовалась... Берите стул, садитесь, господин Эрьян... Сядьте, поговорим, вот... Очень рада, что вы снова в Ереване. Бывало, все думала, думала, куда девался этот человек? Хотела даже сходить к господину Пероняну спросить о вас, но, вы же знаете, то он есть, то его нет... Ладно, ладно, ладно, выходит, вы в Ереване... Очень рада, поверьте, очень рада...

«Говорит, лишь бы говорить,— подумал Эрьян.— Хочет скрыть свое смущение?»

Сложив руки на груди, терпеливо слушал.

— И я очень рад, что вернулся и вижу вас снова, милая госпожа. Сказал, что вернусь, и, как видите, вернулся. Я человек слова: когда что обещаю...

Сделал ударение на последних словах и поднял голос.

— Знаю! Знаю! — тряся головой, ответила хозяйка.— Мальчишки! — крикнула она детям.— Может, вы пойдете посмотрите, не кипит ли самовар? Ну что вы хотите, чтобы я вам рассказала? — выпалила она, вытирая лоб краем передника.— Ну что вы хотите, чтобы я вам рассказала: после вашего отъезда столько мы насмотрелись, столько насмотрелись... Знаете, Зварт чуть было не арестовали.

— Арестовать? Барышню Зварт арестовать? За что? Эрьян содрогнулся.

— Откуда мне знать за что? А это наше правительство просто стало невыносимым... После вашего отъезда сдали комнату молодому парню, из Нор-Нахичевана, хорошему, образованному, очень чистому и идейному парню... Дружил с Зварт, помогал ей готовиться к экзаменам, и вообще, такой парень был, такой парень был, что и слова не скажешь... После Майского восстания его обвинили в большевизме... Пришли к нам, устроили обыск и забрали парня... И будто им мало его, так хотели и Зварт забрать. Допрашивали ее, обвиняли в том, что участвовала в разных там тайных собраниях... Ох, какие часы мы пережили, господин Эрьян, какие часы...

— Парень еще в тюрьме?

— Да, представляете, бедный Серовпян в тюрьме еще...

Помолчали.

Хозяйка, сильно озабоченная, качалась на своем стуле.

— Как ваш супруг поживает? — спросил Эрьян, закурив папиросу.

— Благодарю вас, ничего... Есть у нас небольшой сад, пошел туда присмотреть за хозяйством...

— А... остальные?

Спросил и зарделся.

Поднес руку к волосам и быстрыми движеньями по-

гладил их. Его тяжелое дыхание слышно было по всей комнате.

Знал, что Зварт дома, в той комнате. «Почему не выйдет — просто поздороваться? Пряталась, потому что совесть не чиста».

— Остальные... так себе... Ой, простите, я разогрела самовар...

Женщина выбежала.

Эрьян закрыл лицо руками: терзался.

«Не надо было приходить мне,— подумал,— не надо было приходить». Вскочил и хотел убежать, но тут вошла хозяйка и, видя, что Эрьян собрался уходить, запротестовала:

— Это нет! Это нет! Господин Эрьян... Так просто, не выпив чаю, не можете вы уйти... Самовар уже кипит, и скоро мы вместе выпьем чаю... Садитесь, прошу вас, садитесь...

Эрьян не знал, как и быть.

— Благодарю вас, милая госпожа, благодарю вас,— с трудом выговорил Эрьян.— Поздно уже, и потом, у меня еще столько дел... Знаете, корабль...

— Корабль, да, корабль, конечно же! — воскликнула хозяйка, подчеркивая, что вспомнила нечто давно забытое.— Дети говорили об этом... Как узнали, так обрадовались! Так обрадовались! Достигли своей цели, мечта осуществилась...

В эту минуту открылась дверь соседней комнаты и вошла Зварт.

Мать, удивленная ее неожиданным появлением, широко раскрыла глаза и выронила ложку.

— Доченька! — сказала она, смешавшись.— Ты была дома, и я не знала! Думала, что ты вышла, а то бы дала тебе знать, что господин Эрьян приехал...

Лицемерие.

— Голоса услышала,— холодно ответила Зварт,— но не предполагала, что это капитан... Ну, ну, как ваши дела, господин Эрьян?

Подошла и пожала ему руку.

Эрьян улыбнулся виновато и ответил крепким пожатием. Не знал, куда спрятать руки. В карманы, из карманов и опять в карманы.

Сел, колени вместе, и посмотрел Зварт в глаза.

Понял уже с первого взгляда, что Зварт странным

образом изменилась. Выросла, повзрослела. Утратила наивное, детское выражение лица и свежесть. Длинные, красивые волосы остригла. Лоб прорезала еле заметная складка, взгляд стал строже. Да, это уже были не те глаза, а глубокие, внимательные, сверлящие. Другая Зварт была, но, боже мой, какая еще красивая, какая красивая! какая красивая!

Сидела простая, серьезная, без жеманства. Озаренная.

Эрьян почувствовал, что Зварт смотрит на него, как смотрят на человека, о котором в свое время много слышали разных рассказов.

Сразу заговорила о политике.

— Как вы, наверно, заметили,— сказала она не терпящим возражения тоном,— после вашего отъезда все изменилось к худшему. Положение трудящихся ныне ужасно. И так не может долго продолжаться...

Эрьян удивленно посмотрел: что это, проверяет его политические взгляды? Мать уловила это удивление и бессильно развела руками.

— Ах, господин Эрьян,— воскликнула она,— этим молодым больше не о чем говорить. С утра до вечера — политика, одна политика... Без конца споры, драки, порча нервов...

— Мама, мы — не дети,— ответила Зварт,— пришло время осознавать свои поступки. Жизнь ставит проблемы, которые надо решать... Мы все несем ответственность...

— Бе-зу-слов-но, времена плохие, и все мы плывем по, так сказать, бурным морям,— чуть растягивая слова, сказал Эрьян.

Зварт, услышав это знакомое ей выражение о бурных морях, хотела улыбнуться, но не улыбнулась, а, наоборот, стала серьезнее.

— Хочу сказать, смутные времена,— поправился Эрьян,— и еще хочу сказать, что решить проблемы не так легко, как многие полагают. Действительность — одно, а абстрактные теории совсем другое...

— Да,— прерывая его и чуть распаляясь, сказала Зварт,— да! Но это еще не значит, что не надо иметь своего определенного взгляда на жизнь, мировоззрения, основанного на науке, исторических фактах, неопровержимых истинах. Согласитесь, что без этого невозможно просвещать людей, звать их на борьбу за создание совершен-

ного общества. Буржуазия стремится продлить невежество масс, чтобы безнаказанно эксплуатировать их... Мы не должны позволить этому продолжаться...

— Все это, может быть, и верно,— ответил Эрьян,— если бы мы жили в нормальные времена... А что у нас? Мы плывем в хаосе... Даже наше физическое существование под угрозой... Мы в бесконечной войне. В этих условиях смешно говорить о высоких принципах... Поверьте мне, смешно и опасно...

Начав говорить, Эрьян вернул себе самообладание.

Он смотрел Зварт в глаза тем серьезным и понимающим взглядом, который проникает в мысль и сердце.

— Смешно и опасно...— повторил он машинально.

Повторил и в ту же секунду снова отчетливо увидел Зварт.

Ах, не та Зварт была, чей образ все эти долгие месяцы хранил в просветленном любовью воображении своем. Где он, нежный и бархатный взгляд? Где та кроющаяся в уголках губ невинная улыбка, пылающие щеки и тот дивный, трепетный голос, который жил в нем сладким воспоминанием? Перед ним сидело существо, похожее на нее, но оно не было ею.

— Да, смешно и опасно,— повторил еще раз он.

Зварт с удивлением взглянула на него и тотчас, женским инстинктом, прониклась его душевными муками. Дала ему говорить.

— Ни на одну секунду не могу согласиться с теми,— продолжал Эрьян,— кто осмеливается в эти трудные времена брать на себя такую ответственность. Я прекрасно понимаю, что судьба нашей нации ныне в руках людей мелких, неподготовленных... Нам не хватает мудрых государственных мужей... Таких деятелей, которые не будут в плену низменных страстей, которые способны на большие государственные дела... А что представляют собой министры Еревана?! Жалкие учителишки...

Зварт слушала, опустив глаза, почти безразлично.

Когда Эрьян кончил, она закурила, закинула ногу на ногу и бесстрастно сказала:

— У вас свои убеждения, господин Эрьян... Мои убеждения совершенно другие... Мне больно говорить — мы друг друга никогда не поймем...

Последние слова как ножом полоснули Эрьяна.

Глубокая и неудобная тишина заполнила комнату.

«Под прикрытием рассуждений о политике все было сказано. Сомнений нет,— подумал Эрьян,— она любит другого...»

Хозяйка вошла с кипящим самоваром, поставила на стол и, уловив состояние молодых, попыталась сломать лед.

— Я эти споры,— сказала она,— совсем не люблю... Поверьте, устала уже... Я совершенно согласна с господином Эрьяном: все эти новшества не лезут мне в голову, и ничего хорошего в том не вижу... Говорю, Зварт моя обижается. Но я так думаю, что молодая девушка не должна заниматься всеми этими вещами... Что вам сказать: не люблю, и все...

Эрьян поднялся, посмотрел на часы.

— Вы должны меня простить,— сказал он дрогнувшим голосом,— вы должны меня простить... У меня очень важное свидание, я спешу. В другой раз зайду и с удовольствием воспользуюсь вашим гостеприимством.

— Через минуту все будет готово,— возразила мать.

— Нет, нет, поверьте, госпожа, непременно должен идти.

— Ну раз так, господин Эрьян, не хочу настаивать. Но вы еще придете, не так ли? Наш дом для вас всегда открыт... Не чужой же вы? И муж мой очень рад будет: всегда говорит о вас, спрашивает о корабле.

— Премного благодарен, непременно зайду... Какая может быть речь об этом?

— Значит, у нас еще будет возможность поговорить с вами по всем этим вопросам,— сказала Зварт, протягивая руку.

Вышел быстрым шагом, ни на кого не глядя.

Раненым ягненком билось сердце в груди, кружилась голова. Хотелось кричать, звать на помощь, бежать, бежать...

Он был уже на улице, когда окно его бывшей комнаты распахнулось и Зварт высунула голову.

— Господин Эрьян! Господин Эрьян! — позвала она ласково.

Эрьян остановился.

— Вы не сердитесь на меня, не правда ли? Поверьте, я не хотела вас обидеть... Знаете, жизнь, взгляды меняются...

Глаза ее заблестели, и лицо озарилось прежней нежной улыбкой.

— Нет,— ответил Эрьян,— зачем мне обижаться? Конечно, жизнь... Да нет, зачем мне обижаться?

Не мог продолжать дальше.

Пошел, опустив голову, заложив руки за спину, вразвалочку.

2

Вот уже сколько часов Эрьян сидел в задней комнате духана на одной из глухих улиц.

На столе редис, сыр, тархун[1], рыба, бутылки с вином. При свете подвешенных к низким сводам ламп едва можно было различать лица сидящих впереди музыкантов.

Пробитое в стене оконце выходило во двор, откуда усеянная звездами ночь гнала в помещение немного прохлады вместе с запахами сена, скота, кур.

Один из музыкантов — толстый, усатый — качал на коленях, как маленького ребенка, свой тар[2]; другой — худой, с пожелтевшим лицом — бил в бубен и, когда пел, прятал за ним лицо.

Музыканты сидели поодаль от стола, показывая тем самым, что пришли сюда служить за плату тому, у кого боль на душе и кто пришел кейфовать[3]. Кейф не только радость. Если армянин уединяется где-нибудь в винном погребе и приглашает музыкантов, это означает, что у него большое горе, что мысль его затерялась в темных лабиринтах, что сердце его разочаровано.

Музыканты это знают. Чутьем художника они догадываются о характере терзающей посетителя боли и соответственно поют и играют. А боль эта бесконечна. Есть люди, страдающие неудачами в жизни, проглоченным оскорблением, смутной меланхолией. Чувствительна боль отвергнутой любви. Уязвленное сердце — глубокий колодец,— каждый звук отзывается в нем.

Эрьян, оставив дом Зварт, долго еще бродил и, грустный, унылый, пришел в этот погребок.

Сидели и почти не разговаривали.

---

[1] Тархун — острая кавказская зелень.
[2] Тар — восточный струнный музыкальный инструмент.
[3] Кейфовать — пировать.

Пили.

— Твое здоровье... Будь здоров...

— Пусть вина несут,— заказывал Эрьян.

Приносили, наполняли стаканы, пили.

Побледневший, с глубоко запавшими глазами, Эрьян тянул вино по глоточку, не торопясь, как омывающее глубокую рану утешительное снадобье.

— Дорогой варпет, пой, пой, послушаем.

Рука тариста дрожала на струнах, замирала надрывно, перебегала с места на место, будто искала нужную мелодию и постепенно подбиралась к ней. Бубен отвечал на звуки и шел за таром. Звуки ступали босыми ногами на испещренное цветами поле: ласкали молодую травку, осторожно обходили цветущие кусты, потом медлили, дрожали, замирали и вдруг, словно очнувшись, торопливо гнались за легкими волнами синих ветров и невидимыми птицами, которые пели, отдаляясь.

Певец, прячась за бубном, выводил:

Сердце томится от жажды, душа голодна,
Девушка, дай же кувшин твой, от жажды томлюсь,
В пропасть свалился, мне душно — от жажды томлюсь,
Девушка, дай поцелуй,— мне мила ты одна...

— Так, значит,— сам с собой разговаривал Эрьян,— значит, так... А я, глупец, полагал, что знаю женщин... Какая она была и какая она теперь. Ах, не надо было мне уезжать из Еревана... Легко сказать: а корабль? А Севан?

Девушка, дай поцелуй,— мне мила ты одна...

Тар продолжал качаться на руках у тариста. Звенел, переливался, вздрагивал. Широкое, оплывшее жиром лицо музыканта раскраснелось. Шея налита, живот вздут,— казалось, черкеска на нем вот-вот лопнет.

«Удивительно,— думал Эрьян,— с такими телесами мужчина, и такие чуткие, почти женские руки...»

Взял с тарелки красный редис, долго тыкал в солонку, откусил кончик, небрежно выбросил. Вытер соль с губ.

Вокруг свисавших с низких сводов ламп ходили густые тени. Все угнетало, давило. Закопченные, низкие своды, тени, толстопузый музыкант... И его тело тоже отяжелело, стало бесчувственным.

Тарист поднял двумя пальцами стопку.

— В жизни,— сказал он,— бывает все. Хорошо там, где нас нет... У господа на все есть свой ответ... Ваше здоровье.

Выпил до дна, вытер губы, закусил.

— Дорогой варпет, как твое имя? — спросил Эрьян.

— Аракел.

— Браво, Аракел, хорошее у тебя имя.

И безнадежно провел рукой в воздухе.

Аракел, воодушевившись, хватил по струнам, тар стал всхлипывать, и потекла грустная мелодия.

Эрьян закрыл глаза, вслушался.

Таким одиноким, таким беззащитным, таким затерянным в мире он себя еще не знал. Будто забросило его на вершины безлюдных гор, откуда нет возможности выбраться.

Одиночество...

А тар, который понимал драму в его сердце, будто говорил:

— То, что ты называешь одиночеством,— это отчуждение. Чем больше отчуждение человека от внешнего мира, тем сильнее одиночество.

— Но открой двери сердца перед горем своим и прими его покорно, как подобает сильным людям. Горе — предвестник великих событий, которые зреют в тебе. Это значит, что жизнь тебя не забыла...

И тар, на мгновенье залившись стоном, замер на другой гулкой струне, задумался и снова заговорил.

Тар говорил:

— Горе тому, кто боится трудностей. Только пройдя через горнило их, можно достичь внутреннего богатства и внутренней независимости.

Любовь трудна.

Потому что любовь — высеянное горестями поле, которым человек проходит для встречи с самим собой. Молодые сердца не умеют любить. Сердца горят, а души не готовы.

Любовь трудна.

Любовь — не то, что дают, и не то, что берут. Она сама по себе. Познает ее наша душа, когда она готова. А много ли их, готовых душ?

Любовь для появления своего нуждается в двух одиночествах, которые дополняют одно другое...

Потом тар сменил песню.

— Браво, Аракел! — еле слышным голосом сказал Эрьян и снова закрыл глаза. Перед мысленным взором его прошла вереница образов. Тяжелые своды духана понемногу раздались, растаяли в нагроможденных облаками далях. И страна Айастан — скалистая, голая, неукротимая — вздыбилась в тяжелую ночь и зарычала голосами своих ущелий.

Бубен забился, задрожал, и певец скорбно запел:

Сорок девушек с собой Мир-Махмуд увел,
И тогда по всей земле долгий плач прошел...

Мир-Махмуд, согбенный коротышка с монгольским разрезом глаз, желтым лицом, редкими волосками в бороде, стоит перед шитым золотом шатром. Кривая сабля в руке, глаза — два уголька, голос придушен. Требует, чтобы армяне прислали ему золота, серебра, ковров, тканей, шелков и бархата, слоновой кости, резного эбена, чтобы армяне выдали ему сорок самых красивых девушек...

И сорок стыдливых девушек, убитые горем, стоят раздетые, опустив миндалевидные глаза, дрожат и ждут, когда его похотливые глаза сделают выбор...

Сорок девушек с собой Мир-Махмуд увел,
И тогда по всей земле долгий плач прошел...

— Вот,— сказал тар.— Ты отдался своему преходящему горю и думаешь, что мир начинается и кончается тобой. А ты оглянись на прошлое и взгляни на настоящее, и огонь обоймет тебя.

Эрьян налил себе, выпил и посмотрел широко раскрытыми глазами.

— Какие времена были! Какие времена!

— Так устроен мир,— сказал музыкант.— Люди забывают, а песня помнит.

— Говоришь, мастер, люди забывают, а песня помнит! — воскликнул Эрьян.— Как хорошо, что песня не забывает, без песни наша история не была бы историей... Но, братец, одного не пойму: почему песня только о ранах помнит — стоны, плач, страдания?

Музыканты выразили недоумение.

Глаза Эрьяна заблестели.

— Вот спрашиваю,— продолжал он,— возьмем те же времена Мир-Махмуда... Я читал об этом, знаю... Плохие были времена. Этот монгольский властитель с многотысячным конным войском вымахнул из степей, как ураган, ворвался в Персию, сбросил шаха с трона, навел ужас... В то же время разные кочевые племена налетели большими отрядами, вооруженные до зубов, на Армению, дошли до озера Севан... Совершали набеги, разрушали, жгли, грабили...

— А это что, не горе? — спросил тарист.

— Постой,— продолжал, все больше воодушевляясь, Эрьян,— постой... Именно в те дни храбрый князь Утеацоц Ованнес вышел из своего замка, кинул клич по стране, собрал людей в боевые дружины, повел их в бой и прогнал врагов-разбойников. Вот об этом ваша песня молчит...

— Нет, не молчит, о храбрецах говорит армянская песня,— ответил певец.— Есть песни о Давиде Сасунском, песни о свободе, о Вардане[1] и много других. Но для них нужен подходящий случай, подходящее настроение...

— Человек, у которого горе, любит печальные песни,— добавил тарист.

— Выпьем! — предложил Эрьян.

— Ваше здоровье...

Выпили и опять помолчали.

— Мы пришли, и мы уйдем,— пофилософствовал Эрьян.— Вопрос в том, что опасность, огонь, смерть всюду,— сказал Эрьян.

— А что поделаешь, надо терпеть...

— Нет, лживая христианская мораль! — возмутился Эрьян.— Не все надо рабски терпеть...

— Песня гонит горе, помогает жить,— сказал музыкант.— Когда человек поет, он свободен...

— Здорово ты сказал, мастер. Когда человек поет, он свободен... Только не каждый умеет петь, в том-то и дело...

— Не уметь петь не стыдно; стыдно не понимать песню.

— Хорошо сказано.

И опять чокнулись и выпили.

---

[1] Вардан Мамиконян — армянский полководец. В 451 году сражался с персами на Аварайрском поле.

Чем дальше, тем больше появлялось на столе бутылок. Все затуманилось в голове Эрьяна. Вино и музыка притупили его боль, он уже плохо осознавал обстановку. Помнил только, что вошли какие-то люди, сели за стол, пили, шумели и танцевали.

И он танцевал.

Под утро, когда слабый свет проник в духан, запели петухи и музыканты протрубили «Утро светлое», он выпил последний бокал, заплатил и вышел на улицу.

Пошел нетвердым шагом, пустынными улицами, расстегнув ворот, сжимая в руке фуражку, умывая лицо свежестью утра.

Когда поднялся на высоту Конда, рассвет вспыхнул всеми своими огнями. Снежная шапка Арарата катила вниз потоки лучей. Долина выходила понемногу из молочного тумана. В ближних садах пели птицы.

Эрьян почувствовал себя счастливым. По губам побежала какая-то мелодия веселого танца.

Сел на камень и отдался струящимся со всех сторон лучам солнца.

3

Офицер флота Туманян купил новые ботинки.

Знаменательный был день...

С утра солнце сыпало в озеро пылающие иголки. Все выглядело праздничным. Кое-где вывесили флаги. Подмели причал. Бревна покрасили. По лестнице, ведущей к берегу, сбегал ковер.

Три крестьянина-рыбака, в новеньких матросках, стояли в стороне. Они были похожи на постаревших вдруг детей, которые впервые в жизни надели длинные штаны. Боялись шевельнуться, чтобы вдруг не слетела с головы непривычная бескозырка, на ободке которой золотом было выведено «Ашот Еркат».

Герой дня — плод долгих и нелегких трудов — ожидал внизу, привязанный к причалу. Самодельный корабль «Ашот Еркат» был выкрашен в темно-серый цвет. Округлые борта выступали, как бедра женщины, потребляющей много мяса. Нос приподнят, чуть приплюснут. Небольшой движок, установленный на брюхе этой стельной коровы, жужжал на ходу, как тысячи насекомых, и сильно тряс корабль.

На носу и на корме установлены были две пушечки, что придавало кораблю боевой вид.

На деревянной лестнице, ведущей к причалу, стояли сельские стражники. Они поглядывали на дорогу, откуда должно было появиться высокое начальство. Пришли сюда и местные крестьяне: армяне и русские. Молча поглаживали бороды, ждали. Ватага ребятишек присела на корточки и гримасничала.

Несколько труб и барабан составляли оркестр. Медь сверкала под солнцем.

Отец Туманяна — Аваким Мартиросович — захотел непременно присутствовать на торжественном спуске корабля и приехал из Еревана. Небольшого роста, сухонький старик. Впрочем, бывший судья из Бессарабии имел довольно представительный вид. По случаю праздника на нем был светло-желтый костюм с черным галстуком. На руках желтые перчатки, непомерно большие. Смотрел на сына с восхищением. И в то же время в глазах его была грусть. Как несправедливо, что умершая недавно от тифа жена его не может видеть в столь торжественный час своего любимого сына. Сына, который был для нее верой, надеждой, любовью — всем.

Стоит рядом с сыном, вытянувшись по-военному, с влажными глазами.

— В городе сказали, что прибудет сам министр,— шепнул отец.

— Хорошо,— ответил сын.

— И еще сказали,— добавил отец,— что радостную весть передали всем армянским газетам за границей...

— Хорошо,— ответил сын.

Туманян знал, что отец в эту минуту думает о его матери. Он сам думал о ней. Все решающие часы своей жизни — горестные или радостные — он мысленно делил с ней. Думал о ней, и нежное чувство наполняло сердце и жгло. И однако, пока она была жива, он старался както защититься от материнской сковывающей, порой деспотической любви.

Власти опаздывали. Офицер заметил, что его ботинки покрылись толстым слоем пыли.

«Неважный вид»,— подумал он.

Подошел к матросам, оправил им воротнички, снова повторил уже данные приказания: нога к ноге, грудь

вперед, равнение на начальников, на приветствие отвечать как один.

— Поняли?

Матросы вытянулись и выкатили глаза.

Солнце палило. Ноги у всех отяжелели.

С берега хорошо был виден остров. Местами зеленый, местами голый. Отчетливо различимы были собравшиеся у воды люди, с любопытством поглядывавшие в их сторону. То были арестованные большевики, которых дашнакское правительство сослало после майских событий на остров.

— Опаздывают,— сказал отец.

Офицер флота посмотрел на часы и опять заметил, что на ботинках толстый слой пыли. Достал платок и стал обтирать обувь. В это время послышался шум автомобилей, народ забеспокоился, и один из стражников бросился к нему с известием:

— Господин офицер, вон уже едут, уже едут...

Туманян так и не успел навести блеск на ботинки.

Автомобили приближались дорогой вдоль берега. Облака пыли. И в этой пыли крестьяне, сняв шапки, приветствовали важных гостей. Как угорелые носились мальчишки. Вытянулись милиционеры. Матросы застыли, выпучив испуганные глаза.

— Смир-р-но! — крикнул Туманян, едва остановился первый автомобиль.

Крикнул и густо покраснел.

— Тру-у-бы! — добавил он и торжественно пошел навстречу.

Трубы издали бодрые звуки, торопко забил барабан. Военные замерли. Двое в окружении высших чинов сошли по лестнице.

Туманян подошел к министру — широкоплечему человеку среднего роста, в очках — и отдал рапорт:

— Честь имею доложить, господин министр: корабль в полной готовности, вооружен двумя пушками и пулеметами...

Заученным уроком выпалил свой рапорт.

Министр выслушал его с улыбкой, держа шапку в руке, склонив к нему ухо. Крепко пожал руку Туманяну. Заметил отца офицера и подошел к нему. Туманян счел своим долгом представить отца, хотя с министром они знакомы были давно.

— Мой отец,— сказал он,— коллежский асессор, кавалер Владимира второй степени, Аваким Мартиросович Туманов...

— Рад,— сказал министр и пожал дрожащую руку побледневшего Авакима Мартиросовича.

Аваким Мартиросович хлопал безостановочно глазами и силился сдержать слезы.

Затем гости подошли к кораблю, осмотрели. Задавали вопросы и просили подробных пояснений. Уыбнулись, зашептались и, смерив с ног до головы трех матросов, посмотрели на озеро и на небо.

Самый подвижный из военных, бывший актер, был комендантом Еревана. Развеселый, нашептывал одному-другому на ухо озорные анекдоты. Задавал Туманяну вопросы, похлопывал отца его по плечу, поздравлял их. Потом, затянутый в театральную черкеску, с видом легендарного кавказского полководца, важно молчал.

Когда высшие чины, указывая рукой на скалы на другом берегу озера, кончили спорить, очкастый министр достал из кармана листок, заглянул в него и произнес речь.

В этом пустынном безмолвии речь прозвучала напыщенно. Название корабля «Ашот Еркат» [1], как парус, наполнилось славой прошлого... За пышными словами встал Айастан — обескровленный, израненный, отстаивающий свое существование.

Метко отозвался о Туманяне: настоящий армянин, прибыл издалека и все свои знания поставил на службу отчизне. Правительство назначает его командиром корабля.

При последних словах нижняя губа у Авакима Мартиросовича задрожала и на глазах выступили слезы. Сам Туманян вытянулся еще больше и замер.

Министр скользнул взглядом по скалам напротив, указал жестом в сторону Советского Азербайджана — оттуда части Красной Армии угрожают Айастану. И, повышая голос, заявил, что враги пройдут только через армянские трупы и что армяне, для защиты своей независимости, готовы сражаться до последнего человека. Как бились некогда ее герои, ее Ашот Еркаты. Да здравствует «Ашот Еркат»!

Решено было заранее, что, когда министр кончит го-

---

[1] Ашот Еркат — третий армянский царь династии Багратидов (914—928), прозван Еркат (Железным) за победы над арабами.

ворить, матросы и милиционеры трижды прокричат «ура» и протрубит медь. А получилась глупость какая-то. Туманян и жестами и глазами делал знаки матросам. Те испуганно посмотрели на него, широко разинули рты и не издали ни звука.

Комендант Еревана бросился к ним.

— Что? — заорал он.— Голос потеряли?

Матросы молчали. Из-под их бескозырок выкатились крупные капли пота.

Грянули трубы, и зачастил барабан. На «Ашот Еркате» подняли флаг, и все военные взяли под козырек.

Начальники изъявили желание осмотреть корабль еще раз. Туманян давал пояснения.

— Со стороны посмотреть, ничего собой не представляет,— сказал кто-то из офицеров,— однако в нужную минуту, если использовать с умом, может сыграть немалую роль.

— Можете быть уверены,— вставил Туманян,— что мы свой долг выполним сполна.

— Нисколько не сомневаюсь, командир,— ответил старший офицер и перешел к расспросам о его прежней службе.

Туманян никогда раньше не помнил себя таким счастливым.

Один из милиционеров проводил высокопоставленных гостей в небольшой дом, где был накрыт стол.

Господа проголодались. Не успели войти, как набросились на водку и закуски. Настроение поднялось. Водку пили стоя, осушая стакан одним духом, щуря глаз и шаря вилкой по тарелкам с копченой рыбой.

— Прошу вас! Прошу вас! Проходите! Садитесь! — распоряжался Туманян.

Его глаза блестели. Эти военные, пришедшие, подобно ему, из русской армии, напоминали о былых славных днях. Жаль, не морские офицеры: как флотский офицер, он смотрел на армию чуть свысока.

Комендант города стал рассказывать невероятные и смешные истории. Хоровац ели в добром расположении духа. Наполнили стаканы вином и, по обыкновению, подняли тосты.

Попросил слова отец Туманяна. Дрожащим голосом

заговорил он об армянах, которые в Бессарабии и в других местах за границей с тоской ждут часа возвращения на родину, чтобы отдать ей все свои силы и способности... Он жалел, что имеет одного сына только: имей он десять — всех отдал бы этой нашей несчастной, этой нашей сладкой...

Слезы сдавили горло, и он не смог продолжать.

Министр похвалил его патриотические чувства; сказал много ободряющего насчет будущего Айастана и что, по программе Вильсона, республике обещано море.

Туманяна при этих словах так всего и вывернуло. Глаза загорелись, и он воскликнул:

— Море! Море! Море!

Выпили за будущее море.

Заев все фруктами, министр, озабоченный, достал часы, посмотрел и поднялся. Полезли за часами и остальные, хлопнули крышками и поднялись тоже.

Отбыли.

Когда отец и сын остались одни, отец подошел и с волнением в голосе сказал:

— Миша! Миша! Дай поцеловать тебя!

Обнялись. Отец вытер слезы.

Вскоре и он уехал.

Матросы, которые тоже ели хоровац и пили вино, обнявшись, в раскачку шатались по берегу и орали песни.

Через несколько дней «Ашот Еркат» начал свои вылазки.

Политическая ситуация в стране неожиданно осложнилась. Из Еревана пришли секретные настоятельные приказы.

«Ашот Еркат» не стоял на месте. Точно приставшее к стеклу насекомое, жужжал, стучал, фыркал и, рассекая носом зеркало вод, спешил от одного берега к другому. Туманян с биноклем в руках внимательно изучал берега. К пушкам и пулемету были приставлены солдаты. Матросы следили за машиной и занимались прочими делами.

Командир доволен был своей командой.

Канониры — послушные, толковые парни. Матросы — такие беззащитные во время недавнего торжества — на деле были скромные и смелые люди. Любили шутки, отличались природным крестьянским юмором.

Сурен, Саргис, Маргар.

Маргар, с серыми глазами, выдающимися скулами, худой, но крепко сбитый, несколько мечтательный юноша, вечно мурлыкал что-то под нос и в часы отдыха смотрел неотрывно в сторону Нор-Баязета.

Друзья вышучивали его:

— Ну, Маргар, невеста ждет тебя не дождется... Послушай, отчего тебе не отправить ей телеграмму?

Маргар краснел до ушей.

— Ишаки вы этакие! Враки все, клянусь...

Сурен и Саргис были здоровые как бык парни, с низкими, упрямыми лбами, взглядом острым и умным.

Солдаты поглядывали на этих троих свысока. Они уже бывалые, понюхавшие пороху воины, а эти...

— Эй, ты что думаешь, воевать — это кашу хлебать?

— Не просто кашу, — арису [1]. Языком трепать вы мастаки, вот подступит война — увидим!

Командира любили все, несмотря на его требовательность и строгость.

С глазами ребенка, офицер этот, при случае, мгновенно преображался в резкого, холодного командира. Требовал, чтобы все на корабле блестело, все лежало на месте. Пререканий не терпел: его приказы должны выполняться точно и немедленно.

— За каждый ваш шаг я в ответе. И значит, не слова мне нужны, а дело, только дело...

Знали, что у него доброе сердце. Впечатляло и то обстоятельство, что Туманян не из местных, не знаком с обычаями, психологией людей. Он казался затерянным в чужих краях человеком и говорил по-армянски с русским акцентом, подбирая слова и часто смущаясь.

— Братец,— говорил один другому,— человек на русских боевых кораблях офицером был, в сражениях участвовал, знает, что делает!

— Это правда.

И каждый старался угодить командиру.

Туманян разъяснял всем важность отведенной им роли. Показывал на карте позиции противника.

— Если в бою я буду убит... вы должны знать, что вам делать...

Корабль бродил без устали.

---

[1] Ариса — пшеничная каша с курятиной.

Жители прибрежных сел шли к берегу и долго смотрели вдаль.

— Сам-то вон какой махонький, а шумит...

Случалось, шли мимо острова, забитого ссыльными. Мужчины и несколько женщин ходили по берегу, взбирались на холм, лежали на солнце, спорили без конца, а проходил корабль — задирали головы и смотрели иронически.

Как-то случилось что-то с машиной, и пришлось стать вблизи острова. Сосланные коммунисты подошли к самой воде и стали разговаривать с матросами и солдатами.

Один из них — интеллигент в очках, с бледным лицом — раздраженным и резким голосом обратился к солдатам:

— Товарищи, зачем вы служите угнетателям? Если думаете, что ваш «дредноут» остановит победоносную Красную Армию,— глубоко ошибаетесь: что муха сделает слону? Спихните в воду этого вашего офицера и присоединяйтесь к нам... все равно, не сегодня-завтра наши будут здесь...

— Вы служите несущим голод и войны империалистам! — крикнул другой.— Долой дашнаков, да здравствует власть трудящихся!

Остров гремел криками.

Туманян возмутился не на шутку.

— Немедленно отойдите от берега,— хватаясь за оружие, крикнул он.— Если будете продолжать, прикажу открыть огонь... Уходите!

— Стреляешь — стреляй! — ответили заключенные.— Не боимся. Лоханка несчастная, скоро увидишь...

Солдаты и матросы молчали.

Когда корабль отошел от берега, Туманян опустил бинокль, и горящий взгляд его скользнул по людям.

— Не верьте им. Я говорю вам правду, не верьте! Ну, за дело... Право руля!

И корабль быстро удалился.

Озеро, горы, пустынность, безмолвие.

Стоя подле новой пристани Еленовки, высокий, бородатый молоканин и крестьянин из армян с интересом разглядывают корабль, беседуют.

Широкий в плечах молоканин протягивает волосатую

руку к глазам собеседника и довольно сносно говорит по-армянски:

— Нет, ты приглядись получше... Что видишь, кисть руки, пальцы... Тут уж и сомнений никаких: видишь кисть руки и видишь пальцы!

Тот ширит свои узкие глаза, внимательно смотрит на мозолистую руку молоканина, потом в лицо ему, думает и соглашается.

— Ну да... что тут говорить, рука и есть.

— Ладно,— терпеливо продолжает мужик,— ладно! Как эта рука есть рука, так и все, что я говорю,— правда. Понимаешь?

Армянин хлопает глазами.

— Понимаешь? К примеру, ты — селянин. Что тебе нужно для жизни? Тебе нужен клочок земли, нужна рабочая скотина, нужна корова, и тебе нужно спокойствие, чтобы трудиться... Не хочешь войны, смуты не хочешь, доброго соседства хочешь... И хочешь сохранить свою веру, свою церковь, потому что без веры человек не человек, а животное... Так ведь?

— Это верно, без веры и без церкви — не может быть.

— Хорошо. Теперь о другом. Доселе правил Россией царь Николай... И по этой причине не было на Руси правды. Ты и сам знаешь: совсем никакой справедливости. А почему не было? А потому, что все зависело от жандармов и синода. Армян преследовали, хотели отнять у них церкви... и молокан преследовали, из-за синода. Отобрали у нас наши земли, дома наши и погнали, сослали нас в эти края. Многие наши братья уехали в Америку, на Аляску, в Канаду, в Сибирь подались... И все из-за веры нашей... Бог увидел это и покарал. Наслал огненную метлу, вымел страну, царя и синод сничтожил, жандармов покрошил... Теперь каждый волен исповедовать какую хочет веру и земли принадлежат уже не помещикам, а крестьянам, тем, кто на них спину гнул... Все, что говорю,— чистая правда, как при свете дня мою руку видишь...

— Ну, раз говоришь, Фома, так, верно, знаешь... Как видно, мир переменился...

— Ладно,— продолжает мужик,— поговорим о другом... Смотри на мою руку: рука это или не рука?

Армянин хмурит брови. Эта рука у него под носом будит уже сомнение. Куда это он?

— Ну, положим, рука,— недоверчиво отвечает крестьянин.

Молоканин выпучивает глаза.

— То есть как «ну, положим»? — возмущается он.— Бог с тобой, рука это или не рука? Нет, ты хорошенько присмотрись...

Армянин виновато смеется:

— Ну, рука, рука...

— Хорошо... а теперь перейдем... Вот уже сколько дней гляжу я на эту жужжащую по воде муху, что зовут кораблем, и все спрашиваю себя: кто этот офицер, что построил корабль и ходит на нем? Этот офицер раньше служил на русских боевых кораблях. На стальных громадах со скалу, на которых тысячи матросов служили. Тысячи орудий стояло, много бомб и машин было... Великаны с наш остров плевались огнем и железом, разрушали города, топили другие корабли... И вот этот парень оставил все это, сбил вместе несколько досок и встал на них. Как подумаю, сердце так и болит. Что и говорить, парень хороший. Приехал сюда помочь своей отчизне, своему народу... что и говорить... Но скажу и то, что безумец он, ошибается.

Армянин не отвечает. Молоканин поглаживает бороду, и острый взгляд его сверлит.

— Оставим офицера и его доски и вернемся к нынешней Армении... Коли приглядимся хорошенько — положение не изменилось... Что может эта маленькая, изнуренная войнами, обедневшая, обложенная турками Армения без России, тем более что нет у нее оружия, нет припасов... Раньше стоило турку услышать слово «Россия» — дрожал весь, и кавказские мусульмане дрожали... Каждый человек жил спокойно, занимался своим делом, торговал себе, варил сыр, выносил на базар, покупал ткани — в дом нес. А теперь что — бесконечные сражения, анархия. Спрашивается, какой смысл подниматься против русских войск, которые хотят прийти, защитить страну, доставить хлеб, продовольствие доставить.

И смотрит в глаза собеседнику.

Тот прячет взгляд, не хочет сказать, что думает. Мыслей своих не выдает, но, растягивая слова, произносит:

— А что мы можем... над нами люди есть, постарше, лучше нашего знают, и вообще, дела мира сего таковы, что...

Мужик прячет руки в кафтан и недовольный слушает. Носок правой ноги нервно бьет землю.

— Верно,— говорит он наконец,— дела мира сего таковы, и правда есть правда, как зовут меня Фома Карелин и тебя Смбат.

— Поживем — увидим, дорогой Фома... Господь велик, и все образуется... Не пойму, что ты хочешь, чтобы мы, крестьяне, делали: навьючили себя и сидим вот...

— Другие теперь не так рассуждают. Ты глянь, что сегодня в России творится: народ делает что хочет: сегодня он приказывает...

Прищелкивает языком.

Потом беседа переходит на тему о коровах, овцах, пастбищах.

По вечерам корабль замирал у причала.

Молокане собирались у кого-нибудь из богатеев. Наглухо запирали двери, окна. Изнутри доносились звуки тихой песни, потом всё погружалось в тяжелую и таинственную тишину.

Ветер гонял по озеру звезды. Мелкие волны доносили их до острова и с плеском бросали на камни.

Молокане пели снова и молились. Как молились — оставалось великой тайной. Чего только не рассказывали. Поговаривали, что таинственные и странные обряды продолжались до самого рассвета.

Скрючившись, зажав меж колен винтовку, сидел на корабле Маргар — часовой. Смотрел на озеро, звезды, скалы и раскачивался. Глаза слипались,— силился не заснуть. Слышались изредка шаги. Отряхнув сон, крепче сжимал винтовку.

— Кто идет?

Ветер подхватывал, уносил голос. Никого.

И под тяжелеющими веками его ярче горели звезды, небо раскрывало объятия, разросшиеся тени скал ложились ему на грудь, и все плясало и браталось.

Обессиленная голова Маргара клонилась на грудь.

4

В тот день все, кто шел от Канакера, останавливались, удивленные невиданным зрелищем. Толпы горожан — мужчины, женщины, дети — бежали к нижней части го-

рода. Центральная улица кишела народом. В этот поток вливались новые люди из боковых улиц. Старики, старухи, школьники, должностные лица, военные. Многие бежали, не зная даже куда. Пытались расспрашивать: бегущим не до ответов было. Делали руками неопределенные знаки, глухо мычали. Самые доброжелательные поворачивали головы, кричали: «Корабль» — и исчезали.

Корабль?

Только что вошедший в город крестьянин с удивлением говорил сам себе: «Корабль — в Ереване? Народ с ума сошел». Но, потрясенный загадкой, вскоре присоединялся к бегущим, расталкивал других, рвался вперед.

Издали, еще не дойдя до пыльной дороги на железнодорожную станцию, он слышал глухие ревущие звуки. Подойдя ближе, видел толпу по обе стороны дороги, ходившую беспокойными валами. Народ волновался, топал, размахивал сотнями рук, как на ипподроме, на последней прямой заезда.

Высокие тополя вдоль дороги заслоняли мачту, трубу и нос корабля. Потратив уйму усилий, любопытный селянин наконец добирался до места, откуда, поднявшись на носки, мог видеть все.

Смотрел и диву давался. Десятки волов, впряженные в некое сооружение из бревен, на котором возвышался настоящий корабль, изо всех сил старались сдвинуть с места необычный воз.

— Хо! Мр-ро! Мр-ро! — погоняли со всех сторон. Волы собирались с силами, тянули, но ни на шаг вперед, валились на задние ноги, клонили тяжелые лбы, пучили налитые кровью глаза и так оставались на прежнем месте.

Человек в фуражке морского капитана, в сапогах, в синей косоворотке, покрытый с ног до головы пылью, охрипший, с озабоченным взглядом, бегал взад-вперед, нагибался до самой земли, смотрел, затем вскакивал, отдавал погонявшим волов крестьянам указания, возвращался, растягивался на земле и делал знаки руками.

Толпа росла и росла.

Несколько милиционеров пытались навести порядок. Безнадежное дело: толпа занимала проезжую часть и, образуя стену перед кораблем, пугала волов, шумела и всячески мешала работе.

— Братец ты мой, ведь нельзя так! Ведь нельзя так!

Милиционеры расталкивали людей, угрожали — не

помогало. Только откатывались первые ряды, сзади их опять выталкивали вперед. Почти болезненное любопытство людей создало невероятный беспорядок.

— Вот ударю! Клянусь, ударю! А ну, назад, а ну! Кому говорю...

Волны людских тел накатывались, давя одна другую, тесня.

Эрьян вначале радовался, что корабль вызвал такой интерес. Но как только работы приостановились из-за сумятицы, он стал посреди дороги, скрестил на груди руки и глазами, полными укора и грусти, оглядел всех вокруг.

Безмолвная и осуждающая эта поза не возымела действия.

Снова остановился перед толпой и теперь уже зло пробасил:

— Ну, нельзя же так!

Поднялся на сооружение, поддерживающее корабль, сделал знаки рукой, прося тишины, и хрипло выкрикнул:

— Просим уважаемых граждан не мешать нам в трудном и ответственном деле...

Хотел еще что-то сказать, но поднялся неописуемый гвалт. Все кричали: кто — «да здравствует», кто — «ура», а кто — просто орал. И он поспешно сошел.

Волов стронуть с места не удалось.

Толпа, радуясь бесплатному зрелищу, не отступала. Нашлись люди, которые стали давать советы, спорить... Бревна положены неудачно, передних волов следовало отвести назад, а задних — вперед. Почему под корабль не подвели колеса, почему так, почему этак? Кричали, спорили, оскорбляли друг друга, лезли драться.

Волы, серые от пота и пыли, широко расставляли ноги, шумно мочились и, уставившись в бархатную зелень ближнего луга, застывали. Крестьяне складывали руки на длинных своих палках и тоже ждали. Милиционеры, обессилев, глазели по сторонам и молчали.

Эрьян, обескураженный, драл горло, в резких словах высказывал недовольство:

— Нет, так нельзя, нельзя так! Мы просто народ, лишенный культуры, слово «прогресс» не для нас... Позор! Позор, говорю...

Вот уже больше четырех часов бились, а корабль продвинулся на пять шагов.

Пять шагов! Пять шагов! Выходит, взбираться до Се-

вана, на эти высоты, сколько же времени понадобится? Пять шагов!

— Ребята, родные мои! — исполненным отчаяния и бешенства голосом взмолился Эрьян.— Да буду я вашей жертвой, вы поглядите только! Вы поглядите... пять шагов всего сделали, пять шагов...

Крестьяне свистели хворостинами.

— Хо! Хо! Хе! Хо! Мр-рр-о!

Волы, словно очнувшись от тяжелого сна, тянули морды, упирались задними ногами в землю, наваливались всей силой. Глухо трещали доски под кораблем. Покачивалась верхушка мачты. Эта громадная тяжесть должна была сдвинуться.

— Тяни! Тяни!

Эрьян, растянувшись на земле, следил за продавливающимися бревнами, поднимал руку, делал знаки. Свистели в воздухе плети, орали крестьяне, забегая то слева, то справа; корабль, большой и равнодушный, содрогался и не двигался с места.

И так до вечера.

Все выдохлись — волы и люди. Однако, внимательно осмотрев, измерив, обрадовались. Корабль продвинулся больше, чем полагали.

Эрьян, потеряв голос, взмокший, разбитый, отдав последние распоряжения, осмотрел все заново, обмерил и решительно заявил, что теперь уже нет сомнения, что корабль доберется до места.

— Что он сказал? — спросили толпящиеся сзади.

— Сказал, что дела идут хорошо и корабль прибудет на место.

— Дай бог! Дай бог!

Толпа еще долго окружала корабль.

Сумерки расстелили вокруг корабля тени, и он предстал сказочным виденьем.

Волы легли тут же. Крестьяне развели огонь — готовить пищу. Тревожное пламя костра сгустило тени.

Корабль оделся в тайну, стал истинным чудом.

На несколько дней будто исчезли у горожан заботы. Все занялись судьбой корабля.

Кто говорил о корабле — говорил и об Эрьяне. И он стал самой популярной личностью.

Эрьян стал героем дня, символом доброго созидания, дерзости, деловитости — качеств, которые близки были сердцу народа и во многом определили его историческое существование.

О корабле говорила вся страна.

Каждая провинция, каждое село, прибавляя по строчке, по одной детали, по-своему расцветили рассказ о невиданном корабле.

В горных краях, что ближе к небу, весть пышно распустилась и обрела характер религиозной легенды.

Рассказывали:

— Говорят, добрался до Еревана человек какой-то, сильный, богатырь, наделенный свя́тым духом... Будто привиделось ему ночью: пришел святой Карапет, стал в изголовье и сказал: «Встань, дитя мое возлюбленное, возьми посох свой и иди прямо к тому большому морю, что простирается в краю, где восходит солнце. Как придешь на берег того моря, увидишь там привязанный к берегу большой корабль: возьмешь его, этот корабль, и через поля, ущелья, реки и горы приведешь к тому озеру в краю Армянском, что на горах, где обитали святые и мученики и где был и наш Просветитель». Так вот! Человек этот, как услышал тот голос и гром тот, распластался на земле, воздал хвалу, помолился от всего сердца, поднялся, пошел к морю на востоке, нашел корабль, точь-в-точь как внушил ему святой дух, и, через поля, ущелья, реки и горы, привел его в Айастан и теперь до Еревана дошел... Так-то брат, если не чудо это, так что же тогда? Что, душа моя, что?

А в городах и в поселках говорили:

— Капитан Эрьян — настоящий человек. Великий человек. Один из тех редкой породы людей, которые вынашивают одну идею и — без колебания, преодолевая все трудности, претворяют ее в жизнь. Дерзко, упорно, героически, скромно.

И хотя никто не был знаком с его биографией, тем не менее о его прошлом ходила тысяча слухов.

Рассказывали о его подвигах и невероятных похождениях.

— Ну, об этом,— решительно добавляли,— в свое время и русские и заграничные газеты писали, и это каждому известно...

Или, заходя еще дальше, загадочно передавали, что

он, плавая по далеким морям, обнаружил новый, удивительный, на редкость богатый остров. И естественно, сразу же подумал о размещении на нем беженцев из Западной Армении, в частности ванцев, но этот — чтоб его! — хитрый и ненасытный Альбион вмешался, мотивируя,— мол, нет у Айастана своего флага, и отобрал у него остров. То есть отобрал на бумаге, потому что Эрьян, возмущенный подобной несправедливостью, не указал истинных координат острова и, несмотря на предложенные ему крупные суммы, не уступил. На этот счет теперь, когда у нас свой флаг, он имеет тайные планы...

— Слушай,— перебивали многие,— а не преувеличение, не фантазия ли это?

— Вот тебе мое солнце! Истинно говорю.

Женщины расхваливали Эрьяна, отмечали цвет его глаз, его стройную фигуру. Мужчины полны были зависти, но не смели перечить им.

И дошло до того, что молодые интеллигенты, обуреваемые жаждой новизны, стали создавать вокруг него разные социологические и философские теорийки. Откуда-то всплыло новое слово — эрьянство, как синоним нового духа, нового стиля жизни. Пошли в ход разные версии о его происхождении. Таронцы[1] утверждали, что Эрьян, если и не был уроженцем Тарона, несомненно, по особенностям характера и строю мышления был таронцем, как, впрочем, таронцами были все выдающиеся лица армянского происхождения — в прошлом и настоящем.

Услышав об этом, взбеленились карабахцы. Они сказали: подтасовка исторических фактов. Каждый знает, что Карабах — край, откуда вышли выдающиеся армяне. Можно ли забыть графа Лорис-Меликова, генерала Лазарева, генерала Шелковникова, генерала Тер-Гукасова и других и других. Можно ли, наконец, забыть о том, что сам Заратустра родился в Карабахе и нет причин не считать его армянином. Яснее ясного, что и Эрьян — карабахец.

Ереванцы же пытались истолковать эрьянство как некую идеальную меру поведения, строили трехчленную формулу: тезис — повелительность избранной идеи, ан-

---

[1] Таронец — выходец из Тарона (провинция в Западной Армении).

титезис — трудности ее претворения в жизнь, синтез — преодоление трудностей. Это и есть эрьянство.

Эти споры длились далеко за полночь. На бульваре, на площадях, в домах.

Сам же герой дня о пересудах этих понятия не имел.

Поглощенный своими заботами, чуть свет принимался за дело. Нахмурив лоб, опустив голову, он шел с одного конца города в другой. Встречные почтительно кланялись.

Передвижение корабля интересовало всех. С самой рани собиралась толпа — следить за работами. Крестьяне из ближних сел, едущие на базар, уличные мальчишки, рабочие, ремесленники, до начала работы, прибегали взглянуть на корабль.

Кто не мог пойти — увидеть своими глазами, расспрашивал о корабле прохожих:

— Прости, приятель, катер-то подвинулся?

— И совсем недурно: аршин на двадцать.

— На сколько?

— Говорят, на двадцать аршин... побольше вчерашнего...

Женщины слушали и с новой энергией раздували огонь в самоварах. Мужчины делали выкладки карандашом и задумывались. Хорошо бы впрячь еще волов. Положим, если за день на сто аршин подается...

— Парандзем, от мейдана до русской школы, как ты думаешь, сколько аршин будет?

— Откуда мне знать, не мерила...

О корабле даже сложили шуточную песню. Все ее знали:

Идите, смотрите — потеха какая! —
Корабль в Ереване по тракту шагает,
То поезд возил, то быки его тащат —
Все диву даются, глаза все таращат.

По вечерам, когда от Арарата набегал прохладный ветерок и горожане, избавленные от жары, мух и комаров, фланировали по центральной улице, главной темой их разговора был корабль.

Многие говорили о нем с воодушевлением. Но дабы не согрешить против истины, надо добавить, что были и скептики. При упоминании о корабле они пожимали плечами, бурчали что-то под нос, кривили в усмешке рот. Это были в большинстве старые инженеры в потрепан-

ных форменных фуражках, в целлулоидных воротничках и скрипящих ботинках. Прокуренными до желтизны пальцами они крутили серые усы, кусали нижнюю губу, щурили глаза и желчно говорили:

— Почему правительство, начиная такое предприятие, не обратилось к нам, не испросило нашего мнения?

— Оставив технические средства передвижения, вернулись опять к быкам... Если эти невежды думают, что корабль когда-нибудь доберется до Севана, глубоко заблуждаются. Севан? Ради бога, не смешите нас!

Нервно раскачивая за спиной трость, ядовито смеялись и шли дальше мелкими, осторожными шагами. Иные легко соглашались с ними. Известно ведь, удача одного частенько вызывает раздражение у другого.

Эрьян в эти часы, вконец уставший, ложился на свою походную кровать, распахивая настежь окно, с мокрым от пота лицом, искусанный комарами, с головой, полной расчетов и грез.

Когда удавалось заснуть, страшно храпел, порой бредил, громко кричал во сне. И когда он кричал, за стеной русоволосая красивая жена молодого офицера — у них он снимал комнату — крепко прижималась к мужу.

— Ах, господин Эрьян,— говорила она за утренним чаем,— этой ночью вы снова меня напугали...

— Я вас напугал?

— Да, вы. Ночью вы разговариваете, кричите как безумный, как будто с врагами воюете...

Говорила она это ласково, без упрека, но с тревогой на лице. Приятная была женщина. Эрьян в ее присутствии неизменно погружался в атмосферу покоя и любил подшучивать над ней.

— Клянусь солнцем, госпожа Вардуи, вы просто жертва своего воображения... Собственные сны вы принимаете за явь. И знаете, эта история наводит на серьезные опасения... Думаю, надо вам показаться хорошему специалисту.

— Не говорите глупостей! Чтобы видеть сны, надо спать, не так ли? А я знаю, что не сплю.

— В том-то и дело, что встречаются клинические случаи, когда больной, бодрствуя, видит разные такие штуки... На корабле у меня, к примеру, был такой матрос...

И Эрьян, напуская на себя серьезность, начинал придумывать страшные истории.

Глаза госпожи Вардуи расширялись. В такие минуты вмешивался муж, гладил по голове, успокаивал:

— Не видишь, шутит он? Погоди, детка, мы его хорошенько проучим...

Бабкен Миранян — чернявый, курчавый молодой сотник. Горячий, чуть медлительный, воодушевляющийся. Любил свою жену, музыку, свою сотню. Любил хорошо поесть. И еще любил Наполеона, о котором говорил с особым упоением и без устали. Стены его комнаты были увешаны портретами знаменитого императора: «Бонапарт в Египте», «Консул перед сенатом», «Коронование императора в Нотр-Дам», «Наполеон подписывает свое отречение в Фонтенбло» и много других. Висела на стене также гипсовая маска Бетховена.

Миранян гордился своим мундиром, своей военной выправкой, кривым, с тонкой серебряной отделкой дагестанским клинком.

Представительный, ловкий, смелый офицер.

Происходил он из богатой семьи владельца нефтяных скважин. Получил приличное образование, знал языки, любил и понимал классическую музыку. Любил породистых коней. Начисто брил голову. Танцем своим восхищал всех.

Эрьян любил его. И частенько, желая отмахнуться от забот, затевал с ним игривые беседы.

— Милый Миранян,— говорил он, проваливаясь в кресло и поднимая вверх указательный палец,— уверены ли вы, что этот ваш Наполеон был таким уж совершенным? Ведь на этот счет существуют разные мнения.

— Да, некоторые авторы не поняли или не захотели понять Наполеона,— невозмутимо отвечал молодой офицер.

— Да будет вам, любезный, да будет вам... Взять хотя бы его поход на Россию. История остается историей: человек пришел, получил по зубам от Кутузова, дал дёру...

Миранян горячился и горящими глазами ел Эрьяна. Заявлял, что моряки в военных делах ничего не смыслят, приносил книги, карты, всячески выгораживал своего героя, не хотел признать его поражения.

— Нет, голубчик, вы отходите от исторических фактов,— возражал развеселившийся Эрьян.

Но Миранян знал ахиллесову пяту собеседника и нередко подтрунивал над ним собственной выдумки историями.

— Представьте,— говорил он,— представьте, не будь этого сволочного пожара Москвы, победи Наполеон, судьба Востока и особенно Айастана другой была бы... Пострадали-то мы...

— Айастана? — удивленно и заинтересованно спрашивал Эрьян.— Вот это новости: не знал такого...

— А то как же? Император направлялся на Восток с великими планами. Он хотел спуститься к Кавказу, преобразовать здешние страны, призвать их к новой жизни. В его армии было много офицеров из армян. Это они после захвата Венеции освободили тамошний армянский монастырь. И многие твердят, что маршал Мюрат — выходец из Карабаха, Миграном Мурадяном именуемый. Значит, имел он сведения об армянах, и непременно спустился бы к Кавказу, и осуществил бы то, что обещала Екатерина Великая и не успела претворить в жизнь. Представьте, получи Айастан в те времена независимость, был бы теперь великой державой...

Эрьян не знал, что и ответить.

— Послушайте,— взволнованно начинал он,— вы это вправду или так просто? Удивительно, об этом я и не думал... А ну-ка, снова повторите... как вы сказали?..

Миранян, довольный, что одержал победу, руки за спину, ходил из угла в угол и увлеченно рассказывал о том, как наполеоновская армия, вступив в пределы Восточной Армении, продвигалась бы дальше, к Вану, Мушу...

Среди ночи Эрьян внезапно вскакивал:

— Друг! Засиделись мы, завтра к пяти на ногах уже быть...

— И мне рано вставать.

— Выходит, доброй ночи.

И, позевывая, расходились.

Наутро, чуть свет, перекатка корабля возобновилась. Крестьяне покрикивали на волов и вытягивали их хво-

ростинами. Утренняя прохлада пряталась за горы, уступая место горячему и душному зною, пыли.

Люди и животные прилагали огромные усилия, и «Альбатрос», тяжеленный, громадный, невозмутимый, приподымался и, треща по бревнам, подавался вперед на несколько сантиметров.

Корабль не был уже прибывшим извне, ошеломляющим чужеземцем. Он вошел в повседневную жизнь города и горожан, стал неотъемлемой частью пейзажа. Среди высоких тополей и его мачта озарялась светом зеленой листвы. Птицы садились по ошибке на нее и пели.

Однако следовало торопиться. Лето не вечно, недалеко до осени, и крестьяне с нетерпением поглядывали на поля и поговаривали о возвращении в село.

Не обошлось и без жертв. Несколько дней назад свалился один из быков. Надломился, и никакие силы не могли его поднять. Огромный, вспухший, несчастный — он лежал на боку и подрыгивал ногой. Крестьяне, объятые ужасом, обложили ему голову мокрыми тряпками, массировали отвердевшее и вспухшее брюхо его: все бесполезно. Пуская слюну, с остекленевшими глазами, стиснув зубы, бык испустил дух.

Крестьяне всполошились. Стали жаловаться, ругаться, яростно швырять папахи и, послав к чертям корабль и капитана, потребовали немедленного возмещения убытков, выплаты денег и возвращения по домам.

Эрьян, позеленевший, часами терпеливо уговаривал их и убедил хоть на время продолжать работы.

Работы возобновились. Довольно длинную улицу, ведущую от железнодорожной станции, наконец одолели и подошли к городу.

— Дело в том,— озадаченно поглядывая на склон горы, сказал Эрьян,— что теперь наверх тащить... Поднимемся! — уверенно добавил он.

Старые инженеры держались другого мнения.

5

Как-то к вечеру в Араратской долине поднялся ветер. Налетел он из-за гряды Гегамских гор — сильный и неожиданный. Ворвался в долину, завыл, зашумел, беше-

но закрутил мельницей свои большие и разлапистые руки, ударился звонкой грудью о скалы, затопал по земле.

И так всю ночь.

Под утро ветер умчался, и горы, умытые, просветлели.

Стало ясно — пожар лета угас. Наступила осень.

Видели ли вы осень в Араратской долине?

Идет она медленно, смиренным шагом. С горных вершин сбегает желтый ветерок, гасит костры лета, просеивает воздух, отливает в своей алхимической лаборатории сплавы дорогих металлов, водит по земле блики, зажигает свечи в деревьях, рождает мелодии, о которых не рассказать, потому что возникают они на грани жизни и смерти.

Осень в других местах — часто последняя и бессильная вспышка лета, разочарованный уход, рыдающий листопад. Здесь она — долгий обряд всеобщего и светлого умиротворения.

Кто не видел Араратскую долину осенней порой — не сможет представить, к какой душевности, к какому интенсивному покою может приобщать осень!

Белоснежные горы. Золотистый воздух. Пылающие желтым тополя. Отяжелевшие виноградники. Расплавленной меди горизонт. Бездонная синева неба.

Все пламенеет, зачарованно размышляет.

В этом году осень как созревшая гроздь. Принесла она много даров. Осень — радость земледельца и его забота.

Живущие у гор люди, суровые, медлительные, стоя на скалах, смотрели вниз, в долину, и бормотали:

— Что ж это они запоздали... Осень уже ходит везде, а там, внизу, только раскачиваются... Не шутка ведь: сады убирать, поднять зябь, высеять...

— Нет рабочих рук. Молодых не осталось на селе...

— Со всех сторон война...

И расширенными глазами смотрели они на горы, на долину, смотрели на осень.

Блеяли овцы. Собаки гонялись за ветром в кустарнике и — обманутые — лаяли.

В поле начались работы.

В спешке пахали и сеяли. Волы проваливались копытами в свежие борозды. Селяне, навалившись на соху, погоняли с криком:

— Гур-ро! Хо! Гур-ро!

Земля Айастана твердая, но добрая.

— Гур-ро!

Соха вгрызалась, звенела, стонала, поднимала землю. Старики, занявшие место ушедших на фронт, трудились упорно, торопились.

— Гур-ро! Эй! Милые! Эй!

По садам звенели женские голоса. Ветки гнулись под тяжелыми, сочными гроздьями, налитыми бирюзовой кровью солнца.

Виноград — песня Айастана. Сладкий, свежий, пьянящий плод. Трепетный, как девичья грудь!

В иные годы сады гремели песней и музыкой. Громкий крик зурны-доола раздавался весь день. Мужчины и женщины плясали. Вино из вскрытых карасов пили черпаками. И сам Дионисий, пришедший из-за гор на праздник, будил волнение в сердцах, смеялся легким шелестом деревьев.

В этом году женщины с полными корзинами на голове торопливо шли домой. Горы винограда росли, а давить было некому.

Всюду не хватало волов, не хватало возов.

Потому и переполошились крестьяне, работавшие у Эрьяна.

— Клянусь солнцем, бог ты мой, не можем! — возбужденный, с красным лицом и глазами навыкате, твердил один из них.— Раз говорим, не можем — знай! — не можем... Иё-иё-иё-иё! — в беду такую встряли, братец, не дело это! Земли остались не паханы, семьи остались. Человек из села пришел, говорит, волов там требуют...

Двое других, опустив головы, подняв глаза, стояли молча — ждали.

Эрьян, приподняв козырек, терпеливо слушал и старался выглядеть спокойным.

— Так оно,— отвечал он ровным голосом,— понимаю, как не понимаю... Но если поговорим как человек с человеком, пораскинем мозгами, увидим, что дело, как говорится...

— Никаких тут дел,— обрывал его упрямый крестьянин,— дело только в том, что мы здесь больше не можем...

— Да погоди ты, ради бога... И я о том же... Говорю

вам, раз уж дотащили этого проклятого досюда, поднимем еще хотя бы чуточку, и там уже...

— Вай! Вай! Вай! — срывая с головы папаху и размахивая ею, вмешивался другой.— Я тебе как армянину-христианину говорю, что такие теперь обстоятельства, что не можем, ну не можем, понимаешь, да?.. Молодых из села забрали, бабы одни и детишки остались и... и...

На губах его проступала пена, и от волнения он не мог продолжать.

Эрьян потерял надежду.

— Что теперь? Как быть? Поджечь его, что ли?..

— Железо, гореть не будет.

Ждали молча.

Эрьян, вдруг размякший, унылый, поднимал на них глаза, скользил взглядом по лицам, готовый расплакаться.

— Нет, вы скажите, прошу вас, скажите... и это по совести? По-человечески? Ведь наверху бог есть... После стольких мук, после такого труда — бросить и уйти?! И вы люди ведь, и у вас ведь есть сердце?

— Ты должен нас понять, милый господин. Вон, осень уже за горло хватает, и земля зовет, сад зовет...

Ближние тополя шелестели золотыми листьями.

Осень бледнела на лицах.

— Как же нам быть?

— Вот что скажу тебе, не можем мы — смогут другие... Скажем, в селе Маргара́ или рядом, где кончают пахать да сеять... Пойти потолковать можно, кто знает?

— Маргара́?

Глаза Эрьяна стали просыпаться.

— Ну да,— обрадованные, настаивали крестьяне,— скотины хватит. Коли сумеешь уговорить, поторговаться, может, что и выйдет...

Спорить дальше не имело смысла.

— Пойти — много времени потеряешь...

— Что поделаешь, коли надо — так надо...

Эрьян не мог решиться. На деревья поглядывал, на небо, мрачнел.

— А когда кончите работу свою, через месяц, скажем, дайте слово, что вернетесь.

— Отчего же не дать? Коли хворь не одолеет...

— Ну, коли так...

Протянул им руку.



— Прости, если что не так. Под богом ходим... В мире, брат, чего не случается... Тяжело, потому что времена плохие...

Как ушли они, Эрьян сложил на груди руки и погрузился в свои раздумья.

Вот снова он остался один: он и корабль. На краю одной из улиц города. Растерянный, разочарованный.

Рим, который все понимал, помахивая хвостом, пришел к нему и терся о ноги. Порой срывался за опадающими листьями, играл с ними и опять прибегал.

А Эрьян стоял как деревянный.

«Вот тебе и страна! — подумал он.— Теперь иди и умоляй твердолобых крестьян, чтобы дали тебе волов... Надо бороться за всё. Вот тебе и Айастан!»

А если он пойдет, кто будет смотреть за кораблем? Кто оградит его от уличных мальчишек, этих бессердечных вандалов?

Целый день ходил так вокруг корабля и волновался.

— Как вас зовут? — спросил Эрьян.

Удивленные и чуточку испуганные, трое мальчишек попятились, обменялись взглядами и ничего не ответили.

Эрьян рассмеялся:

— Что, не хотите сказать, как зовут вас?

— Меня зовут Мартын,— набравшись смелости, шагнул вперед высокий, худой, с желтым лицом парнишка.— Этот Ашот, а того Шаэн зовут,— добавил он, показывая на товарищей.

Эрьян внимательно посмотрел на них и улыбнулся.

— Вы знаете меня, не так ли?

— Знаем,— ответил тот же,— человек с корабля, вас все знают.

— Нет, до корабля, еще раньше? Помните, как-то ночью напали вы на меня?

Ребята, испугавшись вконец, глянули по сторонам и готовы были броситься наутек, но Эрьян успокоил их:

— Подождите, я не потому пришел.

Ребята дрожащими голосами стали врать:

— Бог свидетель! Не мы были, того парня Айказ звали, он пригрозил тогда и втянул нас в эту историю... Бог свидетель!

— Ладно, ладно, не об этом речь,— дружески начал Эрьян.— Я пришел к вам по очень важному делу, потому что знаю, что вы люди слова, смелые, достойные ребята, словом, мужчины, настоящие армяне... Где он, Айказ?

— Не знаем. Раньше папиросы продавал, теперь в Россию уехал.

— Говорят, к коммунистам подался,— добавил чернявый, в лохмотьях, босой парнишка — Ашот.

Успокоил их, объяснил положение. Должен пойти по селам. Корабль остается на улице, и могут его повредить. Конечно, сделали бы это люди не слишком сознательные, хулиганы всякие, которые все ломают, не понимая, что делают. И вот он хочет доверить охрану корабля им.

Польстил их самолюбию, рассказал, как важно доставить корабль до Севана, обо всех трудностях дела и о той огромной роли, которая выпала им. Сам обязался всячески помочь беспризорникам. Оставить им денег на хлеб, добыть одежду. И когда корабль достигнет цели, дать им работу.

— Так, бродя, попрошайничать, воровать, ночевать под стенами,— не пойдет... Вот вам отличный случай — начать новую, человеческую жизнь. Я буду вам отцом, и вы не будете уже беззащитными сиротами, а добросовестными, честными ребятами.

Слушали недоверчиво, опустив головы, раскрыв глаза, молча.

Пока Эрьян говорил, подошли другие парни. Мартын пугнул их, и тех как ветром сдуло.

— Кто ваш заводила? — спросил Эрьян.

— Мартын,— тотчас отозвались остальные.

— Это хорошо. Значит, дорогой Мартын, ты теперь понял, в чем дело, и должен решить. Честно: да или нет...

— С радостью, господин.

— Меня зовут Эрьян.

— Присмотрим,— уже увереннейответил Мартын,— непременно присмотрим! Мы все сделаем, что надо...

— Клянетесь?

— Клянемся! — весело ответили все разом.

— Сегодня ели что-нибудь?

— Ничего не ели.

— Ну, пошли, перекусим вместе.

Условившись с ребятами, он вернулся домой и рассказал обо всем молодому офицеру — своему другу. Мирanян высмеял его.

— А я и не знал, что вы такой наивный человек! — воскликнул он.— По собственной воле волкам поручили.

Имеете ли вы представление, кто они, эти уличные мальчишки? Можно ли верить хотя бы единому их слову? Знайте, унесут, что смогут, уворуют, и от корабля вашего останется одно воспоминание.

Привел тысячу доводов, и, как всегда, кончили жарким спором.

Эрьян не был таким пессимистом.

— Если подойти,— настаивал он,— с доверием и любовью даже к последнему бандиту, и в нем проснется дремлющая человечность.

— Христианские идеи.

— Но есть же примеры? Читал я, что Гарибальди, взяв Неаполь, поставил следить за порядком в городе разбойников, и результат превзошел ожидания.

Вскоре, естественно, темой беседы стал опять Наполеон, и Эрьян, утомившись, ушел к себе и предался своим тревогам.

В ту же ночь он тихо поднялся, оделся и вышел. Мысли о корабле не оставляли его, и захотел собственными глазами убедиться, что его новые друзья сторожат «Альбатрос» на совесть.

— Не дай бог, если прав Миранян...

И вот шел — рассеять сомнения.

Как и всегда, слышались выстрелы. Но ни единой души не было видно.

Дома на запоре: смиренные, обособившиеся. Они напоминали поставленные на временный прикол корабли, которые словно чуют сгущающиеся за горизонтом опасности.

Сошедшее вниз, вспыхнувшее бесчисленными звездами небо еще резче подчеркивало тревожное чувство, овладевшее им. Это было чувство бесконечности, безбрежности.

Эрьян шагал в странном оцепенении.

Не совсем четко воспринимал — где он? Шел. Как идет слепой. Знал лишь, что в мире, в который он погрузился, мерка жизни совсем другая. И душевная геодезия другая.

Если смотреть открытыми глазами — тебе откроется вздыбившаяся ужасами картина. Нищета, разруха, опасность на каждом шагу, борьба, нечеловеческие условия.

А если внутренним взглядом охватить все это — улицу и звезды, дома и небо, человеческую отверженность и величие гор и те умолкшие в тебе самом голоса,— действительность меняется, и ты попадаешь в некий нереальный мир.

Он шел, и его шаги гулко отдавались по камням. А казалось ему, что шаги его слышны откуда-то издалека и что он сам и его думы в каком-то другом месте.

«Что это?»

Силился перебороть в себе это ощущение.

Запел под нос: «Эх, яблочко, куда ты ка-а-тишься?» Хотел вырваться из оцепенения. Холодновато было. Поднял воротник и пошел, размахивая руками.

«Эх, яблочко!..»

— Нет, все-таки, что это?

Будто поднимался по незримой лестнице. Шагал, не делая шагов. Пел и не слышал своего голоса.

Сворачивая с улицы, резко остановился. От угла стреляли. Инстинктивно прижался к стене и осмотрелся. Стрелял постовой милиционер.

— Друг, чего палишь? — сказал он громко и подошел к постовому.

— Да так! — ответил тот, закидывая на плечо конец башлыка.

— Струхнул, да?

— А чего мне трусить-то? Дело в том, что в городе жулья всякого развелось... По этой причине, услышав шаги, стреляем, предупредить других охранников.

Эрьян рассмеялся и угостил милиционера папиросой.

Рослый, крепкий парень с железными руками.

— Ну, еще и то,— прикурив, прибавил он,— что время теперь военное, смутное... Под покровом ночи какие только люди в город не входят. Оружие ввозят, литературу разную.

— А ведь так и в своих можно попасть.

— Нет. Стреляем в воздух... А вы, куда вы в такой час идете? — спросил он с явным интересом.

Эрьян объяснил и пошел дальше.

Стрельба на дальних улицах продолжалась. Свист пуль таял в пространстве. Винтовки, конечно, не револьверы. В Ереване теперь каждый мог по выстрелам определить, из чего стреляют.

Эрьян шагал и сам тоже, уже натренированный, за-

бавы ради, определял, из чего стреляли. Так в свое время по пароходным гудкам он умел узнавать корабли и товарищество, которому они принадлежали.

Какая странная штука эта жизнь!

Вчера — пароходные гудки, сегодня — винтовочные выстрелы. Вчера — море, с его ветрами и бурями, сегодня — слетевшая с оси эта действительность, ночь, усыпанное звездами небо и нелепый и трагический бред...

«Эх, яблочко, куда ты ка-атишься!»

Нет, думать не стоило.

Подошел к центральной улице. Внизу — отбрасываемая разведенным костром — вставала тень корабля. Вокруг костра — другие тени.

Затаился за стеной и стал наблюдать. У огня сгрудились беженцы. Женщины, дети, старики. Кто спал лежа, а кто — держа на коленях маленьких детей, склонив голову на грудь, сидя качался. Другие недвижно сидели, тесно прижавшись друг к другу. Будто пастухи, поднявшиеся в горы.

Какая странная картина и какой это странный город!

Улица. Корабль. Беженцы. Стрельба.

Плод несуразного воображения. Обломок невозможного.

Вот они — Мартын и Ашот. Они ходили вокруг корабля. Никого и близко не подпускали. Как видно, и других ребят впрягли в дело. Мартын следил за ними, отдавал приказы. Потом он подсел к какому-то старику. Тот, почесывая голову, что-то рассказывал — наверное, разные истории.

Эрьян смотрел долго и радовался. Несчастные и честные ребята. Хозяева слова. Создай им условия — прекрасными людьми станут.

Решил было подойти к мальчикам, выразить свое удовлетворение, приласкать их, но, подумав, отказался от этой мысли. Не надо, чтобы создалось у них впечатление, будто усомнился он хотя бы малую секунду. Такое могло задеть самолюбие.

Вытирая спиной стены домов, отошел. Посмотрел снова.

Корабль на улице Еревана. Тот самый, с которым

столько возился в Батуме, с которым вместе прошел через горы, ущелья, пустыни, судьба которого отныне связана с его собственной.

Корабль и он едины.

Ах, сон это или явь? Потер руки о рукава, потрогал грудь, лоб. Нет, не сон. И кто мог сказать сегодня, где в Айастане кончались сны и где начиналась явь?

Домой шел ленивым шагом. Казалось, улицы уходят у него из-под ног. Поднял голову, всмотрелся в небо. И небо, и звезды, и улица смешались в его восприятии. Даже на секунду почудилось, что шагает по небу.

«Устал, верно, я, нервы сдают»,— подумал он.

Зажег папиросу.

Дело в том, что надо податься в села, добывать волов. Надо непременно идти и непременно пригнать волов.

И звезды вернулись на небо, и он остался один, на улице. Он и эта тьма. И эта улица, в конце которой больным глазом мигал бледный фонарь.

6

В селе Кокошенц Эрьяна приняли холодно, недоверчиво, с улыбочками, горьким бормотаньем.

— Как ты сказал, корабль? Да! Да! Да! Да! Да!

Сельский староста Саруxан, о котором болтали, что богат, что у него много скота, встретил его на пороге своего дома, закрыв мощным телом вход и нервно дергая полу накинутого на плечи длинного пальто.

Из-под густых бровей уставился на него маленькими глазками, прощупал его с ног до головы.

— Ну, говори, послушаем...

Столь грубый прием оскорбил Эрьяна. Поправил картуз, вскинул голову и смело посмотрел в глаза старосте.

— Пришел по поручению правительства,— сказал он решительным тоном.

— Что? — промычал тот, еще больше насупясь.— По поручению правительства? Какого это правительства?

— Какого же еще — нашего, ереванского!..

— Ереванского, значит? — хмыкнул тот и заложил

руки за спину.— Ну, раз по поручению правительства, покажи-ка приказ...

Эрьян было растерялся, но тотчас совладал с собой.

— Тут дело без приказа. Несколько пар волов нужно для очень важной работы.

— Волов?

Человек отпрянул, рот его искривился и глаза полезли из орбит.

— Иди! — завопил он истошно.— Скажи своему правительству, что я их так да разэтак...

Выругался.

— Скажи: не то что вола, курицы дать не могу!

Повернулся и захлопнул за собой дверь.

Эрьян так рот и разинул. Хотел войти, разругаться с ним, да передумал и уныло побрел прочь.

По сторонам глянул — ни души. А когда встретил людей и с виноватой улыбкой пустился в расспросы, никто не мог ничего объяснить ему. Крестьяне покашляли, поплевали в землю и, крепко сжав губы, отошли.

— За таким делом,— не переставая качать головой, сказал дряхлый старик,— идти вам в село Плоканц... скотины у них довольно, и вообще...

Что-то прочертил в воздухе костлявыми пальцами и указал дорогу.

В тот день Эрьян побывал в трех селах. Без успеха.

Не знал, как втолковать. Растерянные, нищие, эти крестьяне напоминали неподатливые скалы, твердые и желтые земли, что окружали их.

Молчаливые, безучастные, бесчувственные.

Эрьян взволнованно разъяснял им цель своего прихода, стараясь всячески заинтересовать. Слушали терпеливо и равнодушно.

— Братец, что и говорить, имеешь право... Только слова — это слова, а дело — совсем другое. Волы, шутка ли!

Смотрели себе в ноги и молчали.

Слово «корабль» не понимали. Корабль? В Ереване? Откуда? Закатывали глаза и смотрели на него остекленело. Сомневались. Наверно, опасались, обманщик какой, приехал из города надуть их.

— Корабль? Еще что придумал?

Кто-то однорукий, побывавший в солдатах и воевав-

ший на австрийском фронте, прищурил глаз на Эрьяна и ударился философствовать.

— В этом мире,— сказал он,— каждый что-то свое плетет... Один эдак, другой так... А там, гляди, один разбойником заделался, другой в монастырь пойдет, отшельником станет. Чудно как-то. В мире все случается...

И недоверие к нему разрослось, чуть было за вора не приняли.

— Такие дела,— крутя ус и буравя Эрьяна взглядом, сказал какой-то умник,— такие дела в городе легче провернуть, чем в селах... Я говорю тебе, а ты слушай: село трудное... не выйдет у тебя...

Эрьян был расстроен. Его уговоры ни к чему не привели. Все было безуспешно. Никто не соглашался помочь ему.

И будто мало было этой неудачи, в одном из сел он еще попал в переделку.

Разочарованный, взвинченный, он шел мимо хижин на краю села, когда услышал голоса, идущие от небольшого холмика у дороги.

— Подожди! Подожди! — кричали.

Эрьян остановился, обернулся на голос.

Из-за холмика показалась голова женщины, затем вздутый беременностью живот. На коротких ногах, круглая, желтолицая, таща за ручки двоих детей, запыхавшись, подошла к нему женщина с перекошенным лицом.

— Пес, верни мужа! Говорю тебе, верни мужа! — закричала, срывая голос, и зарыдала.

Дети катались в дорожной пыли, плакали.

На крышах ближайших домов собрался народ. К рыдающей бросилось несколько женщин.

Эрьян, растерявшись от неожиданности, хотел утешить бедняжку.

— Сестра,— начал он.

— Будьте прокляты вы все! — в бешенстве завопила женщина.— Забрали моего мужа, разорили очаг мой, детей без куска оставили... Вай! Вуй!

И закричала дикой птицей. Женщины рядом подхватили, завопили тоже. Вой поднялся и на крышах.

Эрьян побледнел и слова не мог вымолвить.

— Может, объясните, что тут происходит? — заикнулся и отер градинки пота.

— Муж в запасе был, и забрали вот,— сказал кто-то из крестьян.— Забрали его, и вот она голодная осталась... Да еще беременная и со дня на день ребенка ждет...

— Понял,— ответил взволнованный Эрьян,— только не пойму, а я тут при чем?

— Ну, потому что сказал, от правительства будешь, потому и от тебя требует...

Эрьян попытался объяснить. А толпа вокруг заметно росла. Бабы голосили, кричали, шумно жаловались. Теснили его и окружали со всех сторон. Эрьян попробовал пробиться. Невозможно: его зажали еще больше и отрезали путь.

— Отдай мужа! Отдай моего мужа! — выставив живот, с горящими глазами, наступала женщина.

Попытался заговорить с ними. Он к военным делам отношения не имеет. Пришел за волами. Понимал, входил в ее положение, но власть не в его же руках, и освободить от службы в армии никого не может.

Чем дальше говорил, тем больше свирепели. Раз он сказал, что правительственный человек, значит, все может. Может, но не хочет. А не хочет — народ поступит как сочтет нужным. Эрьян понял, что угрожают серьезно. Могли избить его, забросать камнями, спустить на него собак.

— Стойте! Стойте! — в голосе его появились повелительные нотки.— А ну, давай разберемся, в чем дело? Да поймите вы наконец, что отсюда я ничем не могу помочь. Должен зайти в штаб и через военное министерство дать указания. А пока дайте мне его имя, фамилию, а там видно будет.

Достал из внутреннего кармана карандаш и бумагу и стал писать.

— Ну, коли так,— подошла другая женщина,— запиши и моего Багдасара фамилию.

Записал.

— Родненький, и моего Мириджана запиши у себя.

И Мириджана записал.

Мужчины и женщины по очереди подходили и заставляли записать имена.

— Да продлится свет твоих очей, не забудь, Чаваренц



Мко, высокий такой парень, говорят, под Карсом где-то...
Под конец вышла вперед высокая, высохшая, бледная старуха, почти призрак, в лохмотьях и с папахой на вытянутых руках, раздвинула толпу, подошла к Эрьяну, протянула ему, повела белками глаз:
— Забрали! Умер... Это осталось!

Распустила волосы, пошла кататься по земле, широко открыв беззубый рот, воя.

Солнце уже садилось, когда Эрьяну удалось оторваться от крестьян, и он пошел на восток.

Усталый и больной. Все тело ломило, горели виски, на веки и губы осела пыль. Силы оставляли его.

— Надо попробовать еще раз! — повторял он себе.— Корабль так ведь не оставить. Надо раздобыть волов.

И чтобы поддержать силы свои, пил глазами осень.

Рыжая осень. Безмятежный покой золоченых полей. Пламя и жар.

А в селах — навоз, пыль, пот. Дома вжались в землю. Сердца захлопнулись, застыли лица у крестьян. Слова подобны мычанию. Как подземные лавы, вскипают вдруг и выплескиваются наружу страсти.

Сейчас все это легло на его плечи, на его сердце. Губы потрескались, в голове шумело.

Ах, будь что будет, надо попытаться опять!

И вот простершаяся по неоглядному полю желтая осень. Ни души, изредка доносятся крики вспархивающих птиц. Все стремится ввысь. Вон тополя шелестят медными листьями. Вокруг их островерхих шапок расправили крылья, как приколотые к небу, аисты. А над аистами, много выше, горы: синеватые и серебристые скопления. Над вершинами гор облака, облаченные в свет.

Эрьян смотрел, облизывал губы и шел.

Пахнет землей, прелыми листьями. Вот стриж и его резвушка: острым крылом, как ножом, рассекают воздух, исчезают. На узловатой груше шумное птичье собрание. Готовятся к перелету. Ящерица — замершее на камне сухое туловище, голова набок, лапки лепесточками — забылась в грезе.

Эрьян поднял голову и увидел закат.

Местность горела в брызжущих отовсюду лучах.

Вдали загудел колокол церкви.

В тело Эрьяна ворвался сердитый ветер и тихо тряс его. И еще дрожали контуры гор, облака, поля ходили волнами.

Эрьян временами останавливался — передохнуть. Окидывал все окрест и дивился. «Что это за мир? — спрашивал сам себя,— откуда он взялся?»

Ах, никаких сомнений — заболел. Голова звенела, горел лоб. Налетели раздумья, стали его терзать.

Вся его жизнь, наскоро пролистанная пальцами ветра, прошла перед мысленным взором. Из-за занавесей памяти высовывались события прошлого, оживали, обретали плоть. Его детство, юность, его любовь, увлечения, море, давнишние мысли и поступки.

Все это обступало его. Чуть погодя он почувствовал себя раздвоенным. Он в прошлом и в равной мере в настоящем. Все вокруг реально и в равной степени нереально. Окружен призраками.

Сколько это длилось — он и сам не знал. Может, краткое мгновенье, а может — долгие часы?

— Жар у меня,— сказал и чуть не потерял равновесия.

В ту же секунду увидел Арарат. Припал к нему взором. Величественный, лучезарный. По просторным склонам его карабкались голубые огни, шли вверх — к зажженным кострам,— и дальше с тающими в небе лучами ползли к белой вершине.

Сердце забилось, и глаза расширились. На лоб его опустился мягкий и утешительный луч.

— Как грандиозна, бесподобна эта картина! — сказал он вслух.

Арарат надвинулся, простер надо всем бескрайний покой. Эрьян словно вступил в некий лишенный силы тяготения мир. Глубокий, светлый, огромный. Стерлись границы вещей, и его тело тоже растаяло. Это ощущение длилось долго. Потом горы отодвинулись. На горизонте вспыхнули зарницы и погасли.

На вершине тьмы и безмолвия сияя закачалась первая звезда.

Эрьян ускорил шаг. К счастью, неподалеку лежало село Селадзор. Остро пахло соломой, и слышался лай собак.

«С версту будет»,— прикинул Эрьян.

Силы оставили его. Очень хотел пить. Пересохли губы, и горели глаза.

Село Селадзор качало густые тени. Гулко звенели колокола церкви. Мычала корова. Чей-то петух, обманутый проступившими на небе звездами, пел.

Эрьян вошел в село и огляделся. Над растворенной

дверью — лавки, видимо — горела керосиновая лампа. Стекло было сильно закопчено. Стоя под ней, беседовали два крестьянина. Эрьян пристально всмотрелся: один — видны только папаха да усы, другой — тень, черная и высокая.

— Вечер добрый,— сказал Эрьян, подходя ближе.

Тень обернулась, и показался длинный нос, потом Эрьян различил усеченный подбородок, узкие, смеющиеся глаза.

— Добро пожаловать! — сказал тот, и нос его вроде вырос и глаза стали смешливее.

— Будьте добры, где тут дом дяди Карапета?

— Дяди Карапета, которого хочешь? В селе Карапетов вон сколько!

И нос посмотрел на папаху, и папаха посмотрела на нос.

— Может, Сасуненц Карапет? — обращая смеющиеся глаза к Эрьяну, спросил нос.— Какой он из себя? Старик? Молодой? Случаем, не слеп на один глаз?

— Если не стар, так в летах быть должен. Я, честно говоря, его и в глаза не видел. Знаю, что земля у него есть, сад и много волов. Часто в Ереван ездит по делам. Скорее, он знакомый моих знакомых, чем мой. Они поручили...

— Ну, тогда это непременно Мкченц Карапет, отец Аво, должен быть. Ну конечно же он должен быть...

— Ну да,— согласился другой,— понятно, он, кто же еще. Самый большой сад на селе у него, и скотины хоть отбавляй.

— По всему видно, что он вроде бы,— сказал Эрьян.— Где его дом?

— Пошли, покажем...

Легкий ветерок гулял деревенской улицей. Гонял запахи сена, уксуса, пыли. Собаки все еще заливались. Эрьяна опять била дрожь.

— Ваше благородие из города? — прошагав порядком, справилась высокая тень.

Слово «город» прозвучало как «ро-роро-род» и отдалось в голове Эрьяна.

— Живу в городе, а сейчас из сел иду, куда ходил по делу,— через силу ответил Эрьян.

— По делу? — удивилась тень.

— По делу? — удивилась папаха.

Прошли еще немного, и папаха, вытягивая руку, сказала:

— Говорят, русские придут...

Эрьян не ответил. Тень приблизила смеющиеся глаза к глазам Эрьяна, и взгляд их вспыхнул.

— Говорят, турки наступают.

И оба рассмеялись.

— Откуда мне знать? — зло сказал Эрьян.— Наши вот уже пять лет воюют...

— Это верно...

— Армянин коли воюет — так воюет.

С дороги выкатился волкодав, побежал на них и грозно залаял.

Нос и папаха заметались, запустили камнем раз, другой, и в конце концов собака убежала.

Усы под папахой нервно задвигались, и владелец их громко засмеялся.

— Э, ты что раскудахтался? — грустно спросил другой и опять ткнул свои глаза в лицо Эрьяну. Эрьян заметил, что у него большие и вытянутые уши и что нижняя губа рассечена.

— Больно долго идем,— обронил он с укоризной.— Дом-то знаете или не знаете?

— Знаем, как же. Вон он, дошли...

«Сегодня все мне кажется странным»,— подумал Эрьян. Дрожь уже не унять было. Темень, пыль.

У какого-то сада тень вытянулась, приподнялась.

Перед глазами Эрьяна поплыло.

— Дошли,— услышал он.

Дядя Карапет — добрый, набожный человек, любитель хорошо поесть и хорошо выпить — в неделю раз брился и читал с утра страницу из Библии. Полный, медлительный, в деле тверд, однако не скуп и в отношениях с людьми сговорчив.

Крестьяне уважали его и слушались. Увидев Эрьяна, обрадовался. Слыхал, как же, слыхал. И корабль видел, а то как же? А как узнал, что приехал с поручением от правительственного чиновника, с которым не раз имел дело, разволновался, повел бровями и принял его с распростертыми объятиями.

Жена, дочь, сын вышли к гостю поздороваться.

— Господин болен,— сказали все сразу.

Постелили на полу, приготовили чай и заставили лечь. Эрьян покорился, укрылся с головой и, скрежеща зубами, забился в жару. Не раз пытался начать разговор о деле, но дядя Карапет, поднося палец к губам, отрицательно качал головой.

— Ты погоди, утихнет озноб, там видно будет.

— Дело в том,— настаивал Эрьян,— что нет у меня времени, завтра непременно в город возвращаться. Корабль там без хозяина остался.

— Важнее корабля будет твое здоровье. Лежи, благословен отец твой, лежи.

— Ах, дядя Карапет, кабы знали вы, в каком затруднительном положении я оказался. Там все мои мысли.

Прилив лихорадки не дал ему кончить.

В ту же минуту дверь соседней комнаты открылась, и поплыли запахи хороваца. Дядя Карапет учуял их, и глаза его заблестели.

— Вот, друг,— сказал он, оживившись и потирая руки,— закусим сперва, а потом и о деле подумать можно.

Эрьян наотрез отказался есть.

— Ладно, раз так,— согласился хозяин,— я пойду перекушу чего, после о волах поговорим.

Эрьян поднял на него удивленные глаза.

— Знаю, все знаю. В городе мне сказали... Сейчас пошлю сына, позвать кое-кого из соседей: пусть придут, потолкуем, посоветуемся, что сделать можно. Дело общее. Нельзя же так оставить.

Эрьян остался один. Скрючился в постели, стучал зубами. Температура все поднималась. Кости ныли, голова пылала, скрежетали зубы. Поджавшись, лежал он, совсем как ребенок в чреве матери, и старался побороть пробравшуюся в него враждебную эту силу. Заволокло сознание: мысль металась, всплывали картины, исчезали. В ушах дрожали голоса.

Кто-то позвал его. Высунул голову из-под одеяла и глянул красными глазами.

— Водки принес,— сказал дядя Карапет, протягивая стакан,— говорят, температуру сбивает. Глотни разок-другой, полегчает.

Эрьян закрыл глаза и проглотил залпом. Затем второй стакан, третий. Так он повторил еще, и бутылка опустела. Укрылся. Каким-то зноем обдало его, и наступила

тропическая ночь. Отяжелели веки, мысли распались. «Так-так-так»,— стучали виски. Пальцы ног и колени ныли. «Так-так-так». Да, двигатель «Альбатроса» работал чисто, без стука. «Не подходи близко к берегу,— говорил стоящему рядом рулевому,— держи чуть правее... Говорил тебе, в этих местах камни. Вот это озеро, да, вот это озеро». А вкруг озера стали дома улицы Астафян. Не удивительно ли? Стали дома улицы Астафян, и появились два крестьянина — папаха и тень. Тень — сплошной нос, и глаза смеются. Глаза смеются, а голос так печален! И печальны дома улицы Астафян, и печально небо, и печален мир. Здесь был потоп... Будто сходит вода, но со всех сторон еще сбегают ручьи, рушатся водопады. А край неба раскрылся уже, и чей-то голос — уверенный, звучный, сладкий голос — вещает...

Голова трещит, как молотилка. Жар и крепкая водка, сложившись, кусали тело и мозг, бродили огнем, стлали туман, разрывали сознание и латали его заплатами из невероятных видений.

Так длилось довольно долго.

В этом тревожном жару ему показалось, что в комнате люди. Различил тихие голоса. Собравшись с силами, оторвал глаза от преследующих его видений и навострил уши.

— Поняли, дядя Карапет, поняли,— услышал он.— Не скажешь ведь, что работы еще не кончены, что зима на носу, а сено еще не завезли по домам.

— Ненадолго это, на несколько дней всего,— уговаривал дядя Карапет.

— Не в том дело,— говорил другой,— скажем, дали мы скотину. А что потом: кто ответит, если что случится? Мир теперь в руках необязательных людей, времена смутные. Кто их знает?

Зна-а-ает... Голоса смешались в его голове. Хотел открыть глаза, но налитые свинцом веки не подчинились. Слышал, но собраться с мыслями не мог. Не спал, но и не бодрствовал. Чувствовал лишь, как тяжелеют ноги и кровь топает в висках.

— Забрали и не вернули,— услышал,— будто даром дались нам бычки... Господи, сколько можно обдирать крестьянина как липку?

— Тут вопрос совсем особый, обстоятельства другие, человек ведь платить будет, понимаете, платить.

— Вот ты говоришь, заплатит, а если не заплатит?

— Ну да, а если... в том-то и весь вопрос.

Голоса продолжали жужжать. Густые, высокие, хриплые голоса. Застревающие в горле и резкие, хворым петухом кричащие. Хозяин дома говорил — да, да, да! Остальные твердили — нет, нет, нет! Потом голоса сливались — гулу, гулу, гулу, гулуне, гулуне, гулуне,— как воды реки... Низвергались со скалы и, перескакивая через камни, с шумом падали в глубокую-глубокую бездну. Эта черная бездна утягивала Эрьяна, хотела затащить в себя, а он упрямился, откидывался назад всем телом и силился удержать равновесие, не сорваться вниз. По этой причине и напрягся он весь: нервы на пределе, и закипала кровь.

— Говорят, много чего говорят,— в ту же секунду уловил он,— а то как же? Будто ему ночью голос был, будто святой Карапет велел ему, чтобы пошел на берег моря, купил корабль, взял на Севан.

— Да, и я так знаю.

— В селах многие верят и по сей день твердят, что, если корабль доберется до места, дела Айастана пойдут на поправку, мир будет...

— Говорю же вам, верующий он,— наседал дядя Карапет,— и дело его, можно сказать, святое...

В тот же миг в мозгу Эрьяна — зинг! — пробило. Проснулась в нем некая сила, желтым светом зажглась надежда, и он, еще не отдавая себе отчета, что делает, сбросил одеяло и сел.

В углу комнаты, на высоком и узком столике, стояла под круглым стеклом керосиновая лампа. Внизу, поджав под себя ноги, сидело несколько человек — крестьян: бороды, брови, густые усы. На бороды и брови легли тени, а по теням бродили облака дыма. Эрьян ощутил устремленные на себя глаза. Колючие, любопытные, испуганные глаза.

Лицо его осунулось, пожелтело, вытянулось. Волосы спутались, прилипли к потному лбу. Высохшие губы поджались, вокруг глаз залегли глубокие провалы, и веки искрили фосфорический неестественный свет.

С долгую секунду смотрел он в глаза и глаза смотрели в него.

— Добро! — сказал Эрьян голосом, кажется ему не

принадлежащим.— Добро! Добро! Увидел, говорил, услышал...

Крестьяне содрогнулись. Глаза их расширились.

— Так оно,— повторил, словно призрак.— Край неба очистился, залился золотом, голос свыше дошел до меня...

Продолжить не смог. Прилив лихорадки сотряс его, заскрежетали зубы.

— Лежи, лежи,— забеспокоился дядя Карапет.— Нельзя ведь так. Лежи, и ты увидишь, эти христиане что-нибудь да сделают. Село Селадзор в долгу не останется.

Подошел, укрыл Эрьяна одеялом и усталыми, загадочными глазами посмотрел на крестьян.

Бороды и руки их заходили, заволновались.

— Ну, раз такое дело, конечно... не каменные же...

— Ну, ясно, это совсем другое обстоятельство, конечно...

— Святое дело, что говорят, святое дело и есть...

— Ну, дядя Карапет, ты решай, а мы сделаем.

— Благодарен вам, благодарен,— прошептал дядя Карапет.— Говорю вам, божье дело. Пусть больной отдохнет, а завтра снова соберемся.

Поднялись все. Еще немного, подавляя стон, пошептались и на цыпочках — плечом вперед — вышли.

Через два дня Эрьян и дядя Карапет, после долгих споров с крестьянами, мольбы и раздачи платежных обязательств владельцам волов, наконец завершили дело.

Эрьян, следуя за волами и их погонщиками, достиг столицы.

7

Работы по переброске корабля возобновились с новой энергией. Неожиданная удача в Селадзоре придала Эрьяну уверенность. Не так-то просто было выпросить у крестьян волов. Когда на другой день, как сошел жар, дядя Карапет рассказал ему о всех трудностях переговоров и о том, как помог делу его бред, Эрьян, удивленный и обрадованный, признался, что ничего не помнит.

Он считал, что ему повезло. Суметь в такое время

привести волов из села, иметь смелость поднимать корабль все выше и выше в гору — все это было чудом. И не чудом ли была преданность уличных мальчишек? Заботливо сторожили они корабль, носились взад-вперед, с готовностью выполняя приказы Эрьяна.

Никто не вникал в трудности, которые пришлось одолеть Эрьяну. Свои деньги он почти все истратил. Надо было жить, волов кормить, крестьян ублажать, о ребятах заботиться. Давно продал несколько дорогих сердцу вещей. Правительство буржуазной республики сидело без денег, и получить что-либо в государственных канцеляриях стало мукой несносной.

Ему посоветовали обратиться за помощью к некоторым лицам, прибывшим из-за рубежа.

Быть может, помогут в этом благородном деле зарубежные армяне? Однако, со вкусом одетые, эти господа, рвущиеся к министерским портфелям, благосклонно клали руку ему на плечо, хвалили его и обещали сделать что-нибудь, когда пересекут океан.

Когда пересекут океан! А дело не ждало.

Тем временем поздняя осень давала о себе знать. Из-за гор вырывались грохочущие ветры, налетали на город, слепили улицы облаками пыли и прерывали всякую работу. Или же темнело небо, гремело, раскалывалось и, опрокидывая тысячи ведер, срывалось вниз невиданным ливнем.

Зловещие события, одно за другим, атаковали Айастан. Всем границам грозила опасность. Придавленный близостью неба и умытый палящим солнцем, живущий на этой возвышенности народ чувствовал себя осажденным в крепости. Крепости, припасы которой вышли, патроны кончились и бойцы устали от длящихся годами войн.

Внутри страны между армянами не было согласия. Голоса, ориентации, убеждения разделились. Росло недовольство в народе.

Сотни тысяч беженцев в лохмотьях и в ранах кривили измученные губы — и требовали вернуть их на свои земли. Коренные жители в отчаянии обращали глаза свои к Западу, все ждали обещанного спасения, которое не шло. Кто продолжал уповать на белую Россию, кто — на красную, не надеялись на собственные силы. Партии спорили между собой.

Да, надо было торопиться.

— Так не пойдет... клянусь солнцем, не пойдет... Это уже никак не назовешь, хуже черепахи тащимся... Мартын, я же поручил тебе смотреть за волами первого ряда, не тянут как следует, и вся тяжесть на задних приходится... Пожалуйста, сделай что-нибудь!.. Животных если не заставить, сами и двух шагов не сделают. Нет, ты только посмотри! Хитрят, паршивцы, аршина на четыре только продвинулись.

— Я измерял — чуть меньше пяти аршин...

— Благословен отец твой, с утра потом-кровью исходим — и чуть меньше пяти аршин! Если и дальше так пойдет — к ослиной пасхе и то не поспеем к озеру. Пойми, парень, нам теперь каждая секунда дорога: осень еще не одну шутку с нами сыграть может, крестьяне вон ворчат уже, и кто знает, какие еще могут быть осложнения.

— Это так... К тому идет...

— Что ты сказал?

И озабоченно смотрели в глаза друг другу.

На Мартыне был старый пиджак Эрьяна, уж больно широкий в плечах, и парень в нем плавал. Ходил босой. Короткие штаны обтрепались, и шапка на голове вызывала смех — была не впору. Напоминал чучело в саду, но сам о том не знал, гордился своим пиджаком и мнил себя прилично одетым человеком. Руки засовывал в просторные рукава, выставлял ногу вперед и выкатывал грудь.

— Что ты сказал?

— Положение неважное.

— То есть...

— Ночью войска прошли. Куда? Не узнал... Новые беженцы идут, и дела вроде плохи.

— Чушь несешь. Не время заниматься такими вещами. Дело прежде всего! Наше дело! Чтоб завтра все было готово.

— Будет готово.

— Вот так. Доброй ночи.

Вот что было странно... Черная обездоленность вокруг. В двери Айастана бьют со всех сторон железным молотом. Над страной идут тяжелые зловещие тучи.

На улицах Еревана мусор, лихорадка, смерть. А погляди... не успеет опуститься субботний вечер, как вспыхивают окна в домах, накрывают там длинные столы, тар да бубен звучат, вино пьют, едят, танцуют — кейфуют.

Кавказские армяне — любители выпить, поплясать. Стойкие люди, изливающие горе в песне и танце.

В тот вечер, уступая настояниям, принял приглашение друзей. И теперь отмывался дома. Намыленной щеточкой скреб тело, смывая с себя грязь. Настроен был хорошо: вода дарила ему счастье. Мычал песню под нос.

В свое время имел душ на корабле. По утрам вскакивал с постели и, быстро закончив зарядку, помассировав мышцы, вдохнув морской соли, шел под хлещущие плетьми струи. Жизнь вливалась в него, накатывая волной.

Сейчас даже времени не оставалось заниматься туалетом. Часто ложился не раздевшись, не умывшись. Не поев.

В этот вечер, как исключение, маленькая комнатка была залита водой: ногу некуда поставить. На цыпочках прыгал из угла в угол и одевался. Радовался, во весь голос пел. Неодолимые силы распирали тело, оно обрело гибкость, силу.

Приятно ведь встретить опрятно одетых людей, богатый стол, женщин.

Женщин!

Черт его дери — чистого платка не найти. Узок воротник, не застегивается, галстук вымок, и уже девять пробило.

— Покойный Петр Багдасарович Тандзибаров, которого мы звали меж собой Петет и который, после окончания Межевого института в Москве, назначен был главным смотрителем над распределением земель в Ереванской губернии... Покойный Петр Багдасарович...

Стол накрыт был в длинном зале. Дощатый красный пол с черной каймой блестел как зеркало, и пахло керосином и парафином. Вдоль стен выстроилось множество венских стульев. На стенах висело несколько выцветших фотографий, вид одного из каналов Венеции, ковры и персидская сабля. Стол был уставлен тарелками, винными бутылками, разнообразнейшей закуской.

— ...имел привычку, несмотря на то что не из болтливых был, говорить своим близким друзьям...

— Ах, дорогой капитан, не можете себе представить, как рады, что не отказали и пришли к нам. Ладно, ладно, вижу, что Аракел Иваныч занимает вас... Ах, как жаль, что не знали вы Аракела Иваныча в лучшие времена. Эх, брат мой, дом был, хлебосольство! Но что поделать, мир изменился, обстоятельства теперь другие... Ничего, еще будут времена, еще увидим мы славные денечки! Присаживайтесь, прошу, чего же вы стоите? Присаживайтесь. Вы знакомы с моей женой? Сонинка, это же капитан Эрьян, так сказать, герой дня.

— Очень и очень рада, господин Эрьян, Сережа хорошо сказал: герой дня. В городе других разговоров нет, кроме как о корабле. Знакомьтесь... барышня Будагян. Представьте, осталось несколько месяцев всего, кончала высшие женские курсы, но из-за революционных событий вынуждена была покинуть Петербург. Послушали бы, что рассказывает... Простите, ко мне новые гости...

— Так, значит, барышня, вы тоже, выходит, были свидетелем исторических дней, начала революции?

— Да.

— Сильные впечатления?

— Очень. Вначале все мы были так воодушевлены, так рады. Чудесные были дни! Просто незабываемые... Рождалась новая Россия, народ обрел свое подлинное лицо, свой идеал. Но вскоре все переменилось. Пришли к власти большевики, разбушевались темные силы...

— Россия — стихия, непонятная для меня загадка.

— Это преувеличение.

— Я знаю историю.

— История открывает нам также и великодушие русского народа, его человеколюбие, его благородство... А литература? Достоевский! Пушкин!

— Достоевский, что говорить, гениален, но мне совершенно чужд. Он ходит по краю душевных бездн, терзается сам и терзает других.

— Раз так, тогда Пушкин?

— Пушкин, да! Мера, гармония, ясность. К нему русский народ стремится инстинктивно. И Достоевский в своей знаменитой речи говорит о нем как о духовном светоче народа.

— Значит, Пушкин вам дорог, господин Эрьян?

— Извините, Аракел Иваныч, с барышней беседовали о литературе.

— Понятно: молодость любит искусство, любит спорить, горячиться. Дочь нашего Будагяна, врача. Отец бесподобный был человек: ровный, добрый, старого склада. В клубе, за преферансом, побледнел вдруг как полотно и отдал богу душу. Очень, очень скорбели мы. Устроили пышные похороны. Остались два сына и дочь. Один — офицер, Саша, тот что с сестрой стоит разговаривает, а другой... непутевый. Дочь очень мила. Живут недурно: дом, два сада.

— Аракел Иваныч, вы что-то рассказывали, перебили вас...

— О чем? Совершенно забыл. Да, говорил о Петре Багдасаровиче Тандзибарове. Должен сказать, это был почтенный, уважаемый в высших кругах человек. Посещал офицерский клуб, куда ходили все высокопоставленные чиновники и кое-кто из нас. Я, инженер Арамов, врач Асланян, Хан-Бижинский и еще два-три купца второй гильдии. Добрые времена были. Жаль, вы не застали. Да, о чем говорил?

— Прошу! Прошу, господин Эрьян! Аракел Иваныч, прошу к столу закусок, осушим по стопочке, пока там накроют на стол.

— Знакомьтесь, поручик Александр Будагян. Это наш капитан, знаете ведь?

— Конечно же.

— Дела? Какие дела могут быть? Дороги закрылись, товаров вроде не поступает; только и есть что из Персии кое-что... Какое же у нас купечество?! Нет, коли и дальше так пойдет, ужасно все это.

— Еще одну. Позвольте вашу рюмку. Вы моряк, а люди моря по этой части известны.

— Я вот уже сколько лет, капитан, взял за привычку пить три всего. Больше — ни-ни! Три в полдень, три вечером.

— Аракел Иваныч, вы не кончили рассказ о Тандзибарове вашем...

— Почти закончил... В другой раз доскажу... Ваше здоровье! Советую отпробовать этого, отличный балык. В последнее время совсем без копченой рыбы сидим. Икры не достать, шамайкой и той не пахнет. Согласи-

тесь, положение просто невыносимое. Говорю, если Европа собирается что-то сделать для нас, нужно делать сейчас. Так дальше невозможно.

— Пусть капитан Эрьян думает что хочет, но без России нет нам спасения.

— Откуда вам известно, что я думаю, поручик Будагян?

— Мне кое-что рассказывали...

— Да?

— Мы, бывшие офицеры русской армии, глубоко убеждены: если белая Россия не придет нам на помощь — мы пропали.

— Но есть же Европа?

— Ах, Аракел Иваныч, лучше не упоминайте о ней! Так называемые державы не что иное, как голодные волки, которые не знают, как поделить добычу. Козни строят, турок против нас вооружают. Полюбуйтесь, чем на Кавказе заняты англичане! Нет, понять нас может одна Россия.

— Которая только? В том-то и все дело!

— Не имеет значения. Если там царит временная неразбериха, не означает же это, что так будет всегда. Завтра богатырь поднимется и скажет свое решительное слово.

— Саша, милый, прошу хотя бы сегодня вечером не говорить о политике... Сегодня — мой праздник, хочу, чтобы гости мои могли спокойно попировать...

— Саша, она права, оставим больную тему.

— Селедка чуть соленая. Все в этом мире—наука, искусство. Открою вам один секрет. Селедку надо вымыть в кипятке, очистить от костей и целый день выдержать в молоке. Тогда что-то необыкновенное получается. Так и тает во рту. Выпьем: рыба, как говорят, любит плавать в водке.

— Ревельские кильки тоже отличны.

— Но королева всех рыб все же шамайка: настоящая, а не с Дону привезенная...

— Особенно свежая, запеченная...

— Это, конечно, дело вкуса. Я люблю копченую: под ножом так вся жиром исходит. Нет, пожалуйста, помилуйте, сил моих нет. Четыре вместо трех выпил. Налейте нашему капитану.

— ...Присядьте, прошу, перекусим чего-нибудь. Аракел Иваныч, пожалуйте сюда, вот на этот стул. Саша, ты, пожалуйста, займись барышнями. Вы, капитан, сядьте рядом с нашей красивой, распустившейся как роза барышней. И не спорьте с ней, а ухаживайте, развлекайте ее.

— Сережа, ты сюда иди, к жене.

— Вы садитесь, не думайте обо мне...

Уютно было. Эрьян давно не испытывал такой дружеской близости. И водка хороша, и рыба к ней. Все хорошо.

Жаль, что завтра много дел. Ну, пусть это будет исключением. Прямо отсюда на работу и пойдет, как в былые времена, когда кейфы до утра было делом обычным.

— Прошу о бутылках не забывать... жалуются...

— Кто жалуется?

— Бутылки, бутылки!

Эрьян вспомнил вдруг, что должен ухаживать за барышней.

— Простите, чего желаете — налить вам красного или белого?

— Белого.

— Отличный выбор, и я пью белое. Белое — лучшее из вин Айастана. Знаете, как его готовят?

— Из винограда...

— Да, за основу, конечно, виноград берут. Потом к нему примешивают собранное по каплям солнце Айастана, чуточку краски, соскобленной со скал, и взятое из недр земли тепло в количестве огромном. Смешивают все, потом, в карасах, оно отстаивается — ну, года хотя бы три, чтоб четыре времени года успели раствориться в нем и отделилось золото вина, и в час, когда коснется губ огонь весны, возникли б пламя и любовь... Налить?

— Налейте! Вы поэт...

— Я? Труженик я, сбившийся с пути матрос.

Наливал — лицо его оказалось у груди барышни. Легкий аромат отдался в голове.

Поставил бутылку и застыл.

И Дашенька душилась такими же духами. Дашенька...

Теплым и приятным тронуло его сердце. Застыл. Испугался посмотреть на барышню.

Запах женщины!

...Дашенька! Я привезу тебе восточные шелка с невиданными птицами на них и испанскую роскошную шаль — цветущую знойными и яркими розами...

Поднял рюмку, отпил глоток и еще глоток. Подержал вино во рту, посмаковал, почти пожевал.

Охватила его жаркая дрожь.

Испанская шаль Дашеньки, знойными и яркими розами цветущая испанская шаль, раскрылась в его воображении и обратилась в севильский сад. Луна, вытянув серебряные, жаждущие губы свои, пила жар поблескивающих листьев и схоронившийся в зеленых ветвях неспокойный огонь ночи. Скорбела чья-то гитара, Дашенька была спелой пшеницей и золотом...

Ах, Дашенька! Где она теперь? Наверное, в Испании. Говорила она, что, когда братья приедут в Батум, все вместе уедут в Испанию, к родственникам...

А завтра — волы, крестьяне, толпа, помет.

Осушил рюмку.

— Степан Маркосович! Степан Маркосович! Просим! Просим! Да здравствует наш тамада!

Растерялся, посмотрел и сам стал просить.

— Просим! просим! — закричал он.— Степан Маркосович!

Кто этот Степан Маркосович — понятия не имел. Во главе стола восседал толстый, с огромным пузом, с красным и полным лицом, множеством складок на шее, с раскосыми глазами, узколобый человек. Подняв мягкие, маленькие руки, он протестовал и говорил что-то, чего Эрьян не слышал.

Ничего не слышал, ничего не понимал.

— Степан Маркосович! Степан Маркосович! — продолжал он, теперь уже громче прежнего.

Все в удивлении обернулись к нему.

— Тамада уже избран,— сказала барышня.

Засмеялась.

Эрьян заметил это удивление и покраснел. Откинулся на спинку стула и, нога на ногу, стал качаться. Огромная грусть — внезапно погасшей электрической лампой —

легла куском мрака ему на сердце. Зажег папиросу и жадно затянулся.

— Прошу наполнить бокалы,— сказал тамада.

Взял бутылку, чтобы наполнить бокал барышне, но тот был еще полон. Налил себе и выпил. Еще налил. Повернул к ней голову, хотел что-то сказать, посмотрел и ничего сказать не смог.

Барышня вскинула брови:

— Вы что-то хотели сказать?

— Не пьете совсем!

— Ладно: глоток, так и быть...

Улыбнулась.

Некрасиво улыбалась. Губы в изломе, глаза пропадали. Красива была серьезной. Широкий лоб, округлое лицо и умные, искристые глаза. Короткая стрижка шла ей, и особенно когда резким движением головы отбрасывала пряди назад. Обаятельная была, когда слушала. Глаза думали, лоб чуть подавался книзу, губы выравнивались. В такие мгновенья она была не только женщина, но дух, и мышление, и само внимание.

И вместе с тем она была женщина. Женственная, холеная. Все в ней свидетельствовало о тонком вкусе и нежных чувствах. Голос трепетал, почти пел, особенно когда говорила по-русски.

— Если вы сделаете глоток, я выпью всю рюмку.

— Ну, вы мужчина и моряк к тому же, мне за вами не угнаться...

— И не в вине дело...

— Слишком сложно: не поняла...

— И отлично, что не поняли. Слова созданы скрывать мысли... И тот, кто лишь слова понимает,— ничего не понимает. Выпьем!

— Ах, капитан, а теперь как философ заговорили вдруг...

— Я философ? Я уже говорил: труженик я, матрос, сбившийся с пути.

У тамады лилась речь. Другие поднимались, тоже говорили. Тамада требовал у хозяйки публично поцеловать мужа. Она целовала, хлопали ей.

Думал: зачем он здесь?

— Я философ? Ах, позвольте посмеяться... Дело, движение, действительность, события, неожиданности, происшествия... Еще кусочек хороваца... Нет! Так вы все жде-

те плова с цыпленком? Ну, расскажите еще о Петербурге...

...В первые минуты все было ново, необычно. Чистая скатерть на большом столе, серебро, свет, яства. Сейчас по-скотски жующие рты, толстые губы в жиру, красные рожи. Аракел Иваныч и его Тандзибаров, выдержанная в молоке селедка и ломберные столы...

Все эти физиономии чем-то напоминали копченую шамайку. Золоченые тела и мертвые глаза. И этот идиотский воротник, так душивший его, и давно не ношенные ботинки, что безбожно жали, и вообще все это сборище, которое теснило ему грудь и сковывало свободу.

— Понимаю, вас интересовали курсы, лекции, науки...

...И чего это брат барышни уставился так на него и ловит каждое его движение?

— Прошу наполнить бокалы! Так нельзя! Я с болью хочу отметить, что наш капитан нет чтобы другим служить примером, бастует сам.

— Штраф! Штраф!

— Народ требует,— значит, капитан обязан выпить штрафной.

Эрьян выпил. Наполнил и выпил снова. И, еще раз наполнив, поднялся, окинул всех взглядом, выпил и захохотал.

— Мы, моряки,— сказал он,— такие карликовые рюмки осушаем без счета...

— Прошу, дайте ему кастрюлю! — воскликнул низкорослый тип со вздернутыми усами и бровями.

— В кастрюле варят таких, как вы, лоби[1], господин,— прорычал Эрьян и сел.

Повисло неловкое молчание. Все обернулись к тамаде.

— Считаю инцидент исчерпанным. В парламентских странах обычно принято...

Эрьян не слышал, о чем говорили.

Низкорослый тип продолжал сверлить его мстительными глазками...

«Инженер, видимо,— подумал Эрьян,— или член парламента».

---

[1] Лоби — фасоль, а также глупый, нерасторопный человек.

...Господи, как красивы берега Коста-Бравы, когда летом, на заре, человек подходит с моря к Барселоне... Барселона в эти часы пахнет морской травой, устрицами и айвой.

— Барышня, вы когда-нибудь бывали в Барселоне?

— Нет, к сожалению, в Барселоне ни разу не приходилось. Вообще из России не выезжала. А вы, верно, всюду побывать успели?

...Приди, склони голову мне на грудь, отвезу тебя далеко, далеко... Утром, чуть свет, станем рядом на мостике корабля и примем душой раскрывшуюся прелесть мира... Тогда твои умные глаза расширятся и заблестят, и лицо твое озарится скользящими с холмов рассветными лучами. Мы подойдем к карабкающейся вверх Барселоне, которая пахнет водорослями, устрицами и айвой, и, пока будем причаливать, ты дрожащими и счастливыми руками обовьешь мне шею и будешь слабыми губами искать мои губы...

— Да, попутешествовал порядком... все больше по делам... Что видишь, путешествуя? Зависит это от человека: можно объехать весь свет и ничего не увидеть... В конце концов мир нам дарит то, что мы ему даруем... Не понимаете? Ведь это так просто! Скажу только: это не философия, а истина... Ну, это другой вопрос, и говорить тут можно долго, чтобы выяснить, где кончается философия и начинается истина.. Знаю, не согласны вы. Я говорю только: пока философия рождает теории, строит системы — жизнь течет, изменяется и требует разрешения совершенно иных проблем... Даже математика не свободна от этих недостатков. Взять хотя бы законы Ньютона: неотрицаемы, так ведь? Жеванные в школах истины. И, однако, сегодня находят, что отдельные движения звезд этими законами объяснить невозможно.

— Прошу у публики внимания.

— Если невозможно объяснить хотя бы одно явление природы, надо, значит, искать снова, так сказать...

— Пожалуйста! Прошу внимания!

— ...Но я не о том. Мы говорим о краях света. Мир настолько многообразен, насколько мы способны воспринимать это многообразие...

— Милая публика, здесь, среди нас, сидит дорогой гость, который, можно сказать, уникален во многих отношениях. Он — один из тех настоящих людей, перед которыми смиряются и море и горы. Вы, конечно, уже догадались, что речь идет о нашем любимом капитане.

Эрьян поднял голову и встретился глазами с низкорослым злобным типом. Злые, завистливые, неприятные глаза. Тот шепнул что-то на ухо соседям по столу, и все дружно рассмеялись.

— Мы каждый день, можно сказать, свидетели его упорства, просто удивительно смотреть, как этот человек, подгоняя волов, с утра и до позднего вечера — «хо!» да «хе!» — не унывая, упорно идет к своей цели.

— Ненужный романтизм! — вскричал не забывший оскорбления низкорослый тип.

— Как бы ни превозносились усилия капитана,— добавил сердито поручик Будагян,— я думаю, что столько энергии лучше было бы употребить на перекатку орудий, чем на какой-то там самовар!

Эрьян заметно побледнел.

— Прошу тишины! — строго потребовал тамада.— Так не годится! Так не годится!

— Замечания уместны,— резким, неестественным голосом крикнула стриженная под мальчишку девушка,— это святое право демократии. Голос народа должен быть услышан прежде всего.

Лицо тамады стало совсем красным, складки на шее обвисли, и заблестели глаза.

— Требую молчания! Порядок! Порядок!

Творилось невообразимое.

Девушка, стриженная под мальчишку, зажав в прокуренных пальцах папиросу, пыталась перекричать остальных:

— Нет, скажите, почему мы должны замолчать? Это просто эксплуатация трудового народа, нечестный способ дурачить массы. Это просто комедия, которой нынешний режим прикрывает свою беспомощность.

На другом конце стола сердито басил другой голос:

— Господи помилуй, здесь, у нас под носом, сидят инженеры, лица технически подготовленные и с опытом.



Пригласите хотя бы, спросите у них совета, потом уже беритесь за дело. Нельзя же, ей-богу, ко всему подходить так кустарно! Это какая-то азиатщина!

Другие протестовали, требовали прекратить подобные разговоры.

— Просто безобразие!

— Стыдно! Нельзя так! Человек душу вкладывает...

— Подумаешь, душу вкладывает! Кто ее не вкладывает?

— Саша точно выразился — самовар!

Но тут сильной рукой сдернули скатерть, зазвенела падающая на пол посуда, и голоса смолкли.

Эрьян вышел в мычащий по улицам ветер и пошел. Еще не совсем отдавал себе отчет в случившемся. Лоб горел, нервы были взвинчены.

Пошел дальше, враскачку, как привык ходить, когда корабль сильно мотало.

Му! Му! Му! — завывал ветер. Голос ветра проник ему в сердце. Факт, что сдернул скатерть, и все полетело на пол. А ничего другого не помнил. Нет, еще округлившиеся в ужасе глаза барышни рядом.

Му! Му! Му!

Звезд не видать. Темно, ветрено, осень.

— Вы — ползучие! Хищные! Гиенные души! — заорал Эрьян в минуту великой ярости. Поручик Будагян выхватил револьвер. Барышня бросилась и удержала руку брата. Какая-то женщина упала в обморок. И пока все разом кричали, вошел музыкант и заиграл на своем сазе.

Глупейшая сцена.

Остановился, раскрыл объятия ветру. Ветер скользнул по лицу, груди, рукам и нежно обласкал его. Эрьян расстегнул пуговицу душившего его ворота, концы которого, как два голубиных крыла, забились вокруг его шеи.

Вот они, мещане, толстосумы и чучела Еревана! Среда выдержанных в молоке селедок. Кровь ударила в голову, и гнев потряс его тело. «Сукины сыны!» — промычал зло. Все эти морды, жирные от плова губы, пустые глаза, холодец телес...

Му! Му! Му!

Жалко, настоящей драки не вышло. Одной из тех, какие случаются в портовых предместьях с английскими или французскими матросами...

...Красивы были глаза барышни: глубокие, бархатные, умные. И он ей предлагал ехать с ним в Барселону! Черт подери, захотелось съездить в Барселону. А вышло,

что никуда не поехали. Вышло безобразие, и осталось тошнотворное чувство от слепленных из воска Тандзибаровых.

И вдруг заметил — рядом шагает тень Тандзибарова. Большие ноги, короткое, квадратное тело, длинные руки, и на груди толстая золотая цепь от часов. Лица не было: одни очки в золотой оправе; на голове огромнейший картуз Межевого института.

И Эрьян почувствовал, что человек с такими ногами и таким картузом должен быть узколобым демоном лжемудрия, законником-гиеной, гложущей бумаги, страдающей от запора канцелярской крысой.

Великий гнев потряс его, и губы посерели.

— Я ненавижу тебя,— заорал он,— я ненавижу тебя, Тандзибаров!

Тень исчезла.

8

Вот тебе на! Окна Бабкена Мираняна светились.

Остановился. Прислушался. Нет, не кейфовали. Ни звука изнутри. Занавеси не давали заглянуть в комнаты. Посмотрел на часы: почти три часа утра. В это время они обычно спали. А что же тогда случилось, раз свет горит? Может, заболел кто из них?

Постоял в нерешительности.

Соседней улицей проходили войска.

Негромко стукнул в окно. Никто не ответил. Подождал и постучал снова, уже сильнее. За занавеской закачалась тень, подошла, отвела занавеску, вплюснула нос в стекло, ничего в ночи не различая.

— Кто там?

Голос Мираняна.

— Я это, Эрьян.

Через минуту открылась дверь.

— Заметил свет, подумал, что случилось... Вы что это, в одиночестве — муж да жена — пируете?

— Нет,— ответил Мираняи, придавая голосу бесстрастность,— нет, сидели просто. Входите.

Когда госпожа Вардуи поднялась с тахты поздороваться, Эрьян заметил, что глаза ее заметно красны, сама бледна и плечи бессильно опущены. Однако — что удивительно — одета не по-домашнему. На ней было темно-

синего бархата платье, привезенное из Баку, которое так шло ей и которое Миранян очень любил.

— Клянусь,— радуясь через силу, вскрикнул Эрьян,— клянусь, вы похожи сейчас на потерявшую трон королеву...

Она посмотрела растерянно, поднесла руки к лицу и зарыдала.

— Что с вами? — смутился Эрьян.

— Ничего, брат,— виновато ответил Миранян,— просто убивается напрасно. Не захотела спать и плачет без конца. Дело в том, что в восемь утра выступаем на фронт.

— На фронт? Что, война?

— Вы так спрашиваете, будто война прекращалась когда-либо. ...Просто бои продолжаются, и все тут. Разве что на этот раз положение серьезное. Турки идут на Карс. С другой стороны — Красная Армия подходит к Грузии и к нам. Говорят, главнокомандующий наш, Назарбекян, сильно озабочен.

Эрьян сел и уставился на свои ноги.

Замолкли.

Миранян вышел в другую комнату и вернулся с бутылкой коньяка. Расставил стаканчики, налил.

— Что, с пирушки идете?

— Да, в гостях был...— ответил Эрьян.

— Варя, милая, выпей и ты с нами. Прошу, не надо! Улыбнись, душка, улыбнись!

Хозяйка вытерла слезы и взяла стаканчик.

— Вот так,— просветлел сотник.— В огне живущий огня не боится. Чего бояться? Вот уже пять лет покоя не знаем. Австрийский фронт, бой в Сарыкамыше. Четыре раны у меня, телу уже привычно. Ну, будем здоровы!

Эрьян выпил и, не желая нарушать их уединения, собрался было уходить. Миранян воспротивился.

— Сядьте, поговорим,— сказал он,— а то кто знает, когда еще увидимся?

Отвернулся и посмотрел куда-то. Очнулся.

— Варя, милая, если хочешь, поставь фонограф, заведи что-нибудь — что-нибудь легкое, цыганское.

— Не сейчас, потом.

— Хорошо, как хочешь. Весь вечер слушали музыку,— наполняя снова стопки, сказал он.— Пейте! Слушали любимые мои отрывки. Должен сказать, музыка — моя любовь.

— Музыка? — грустно и как-то с завистью спросила жена.

— Музыка и моя Варя. Кабы не смутные эти времена, поехал бы, наверно, в Петербургскую консерваторию, на скрипке доучиться. В свое время делал успехи, даже заметные.

Поднялся, подсел к жене и взял ее руки в свои.

— Странное счастье выпало нашему поколению, глупое счастье! Потому что Франции и Германии надо было разрешить свои споры и еще не знаю что — на наши головы посыпался огонь. Мир озверел... Как подумаю, насколько отстали от всего, насколько отстали! Сидели мы с Варей и слушали концерт Баха для двух скрипок, сонаты Бетховена, четвертый квинтет Брамса и многое другое... Как хорошо было! Я люблю Баха, его сдержанный огонь, сферу особой духовности, его холодное тепло и это... Как объяснить? Это светлое начало перед лицом жизни. Ах, милая, поставь концерт для двух скрипок, и пусть господин Эрьян послушает.

Он обхватил голову руками и так сидел, пока пластинка не кончилась. А поднял голову — Эрьян и не помнил, когда видел его в таком состоянии: глаза горели, бледное лицо светилось.

— Ну, вы теперь скажите! — сорвался он взволнованным голосом.— Вот, с одной стороны диалог этих светлых и таинственных скрипок, счастливая беседа жизни и смерти, и с другой — эта кровожадная, грязная сила, что идет на нас. Бах и все звероподобное в человеке. Нет, природа жестока.

Эрьян, привыкший перечить Мираняну, и на этот раз не удержался. Откинулся в кресле и сказал:

— Честно говоря, если взять нашего абаранского крестьянина, то и он в музыке Баха мало что поймет.

— Не в том дело! Не в том дело! — запротестовал Миранян.— Пожалуй, и в самой Германии найдутся такие крестьяне, которые в Бахе ничего не смыслят. Я часто об этом думал... Дело в том, что в армянском крестьянине за его внешней грубоватостью, в его подсознательных глубинах записаны все возможности духовного взлета человеческой мысли. Создай ему другие, нормальные условия, и он проникнется сложным миром Баха и прочих великих так же просто, как входит в собственный дом...

Снова наполнил стопки. Выпил.

— Ужасно то, капитан Эрьян, что в людях сознательно разжигают звериные инстинкты.

— Что и говорить, это правда,— согласился погрустневший Эрьян.— Преступны руководители, вдохновители зверств, убийств.

— Я офицер, война — это война. Воевать порой просто обязанность. Но бесчестие — резать беззащитных женщин и детей, бесчестие — разрушать ради разрушения. Убийца не воин.

Умолк. Заходил из угла в угол.

— Я говорю все это,— продолжал он, останавливаясь перед Эрьяном,— потому что хочу дать себе ясный отчет, зачем подвергаю свою молодую жизнь опасности. Могу быть убитым — хочу знать, за что буду убит. Буду сражаться и убивать других — хочу знать, что защищаю и во имя чего убиваю других. Страна, народ, независимость — скажете вы. Это общие слова. Если эта страна, этот народ, эта независимость не больше, чем они представляют собой ныне, если они не несут в себе воплощение великого и творческого духа человека — тогда я глупец, что хочу пострадать ни за что. Я иду — и пусть не покажется это самонадеянным и странным — оградить искусство Баха от варваров и врагов культуры.

— О чем ты, Бабкен? — удивленно подняла глаза на мужа хозяйка.

— Не знаю,— помедлив секунду-другую, ответил Миранян,— не знаю... Возможно, что мои слова смешны и наивны... Видишь ли, Варя, мы прожили долгие годы вне армянской среды. Оставались армянами, разумеется, но скорей по рождению, душой и мыслью. Русское образование, русское воспитание, русская жизнь. Глаза наши устремлены были на Петербург... В праздники ходили в армянскую церковь — больше во двор, чем вовнутрь, иногда собирали деньги для беженцев из Турции, чтобы по улицам милостыней не побирались и не роняли нашего достоинства. Слышали от отцов нечто неопределенное об армянской литературе. Слово «Айастан» было для нас далекой птицей, свившей в неведомых краях гнездо, рождало в нас мечту и боль. Отец мой в свободные часы любил листать различные книги об армянах: «Братская помощь армянам», альбом выцветших фотовидов Ани, кни-

ги Эзова, Патканяна, Адонца. И вообще, заметили ли вы, что торговцы, по которым чужестранцы составили столь предвзятое мнение о нашем народе, любят, желая польстить своему поверхностному патриотизму, собирать книги об армянах, которые не читают, а если и читают — не понимают. Но я не о том, я хочу сказать, что, открывая эти книги, человек вконец разочаровывается. Поваленные камни и орнаменты, поверженные купола, пустыни и в пустынях — несколько крестьян и один-два монаха... Это чувство разорения подавляло каждого.

— Это верно,— согласился Эрьян,— и я испытал точно такое же чувство.

— Да. На улицах — оборванные, грязные, обнаглевшие попрошайки, в книгах — разрушенные памятники, в газетах — описания бесконечных ужасов... Для нас все это было оскорбительным, унизительным. Наше сердце скорбело, и мысль возмущалась. Не могли примириться с этой действительностью и не могли понять ее. И вот русская революция перевернула всю нашу жизнь. Задумывались ли вы, что произошло? Из прочного уклада жизни, веками устоявшегося, мы ринулись в новую действительность. Оказались на ковре-самолете и попали в другой век... Никогда не забыть мне тот день,— милая Варя, ты помнишь? — когда мы впервые вступили в Айастан...

Закрыл глаза, с минуту помолчал.

— Да. Глянул только — и кажется, зажегся в сердце огонь... Все вдруг таким стало близким, таким влекущим! Словами не выразить, не найти таких слов! Виденные в библиотеке отца фотографии вдруг ожили, наполнились плотью. И я осознал... Говорю — осознал, а следовало бы употребить другое слово, ну, скажем, ощутил, пережил, обрел в себе то, чего и не подозревал. Стал совсем другим. И то, что прежде казалось таким далеким, таким высоким и столь неопределенным, прояснилось разом, и эти земли, эти скалы, эти дома стали другими для меня. Вот что существенно. И если говорю о Бахе, пусть это не удивляет вас... Вы были в Эчмиадзине, капитан?

— Был, а как же?

— Отлично. Вот великолепный храм Рипсимэ, хорошенько вглядитесь в него, и вы увидите, что простые, чет-

кие, гармоничные линии, цвет, горящий внутренним огнем, его лучезарность, его сдержанный полет — не что иное, как одна из баховских композиций... Та же духовность, тот же ритм... Когда Гёте говорит, что архитектура — застывшая музыка, подтверждение этой мысли мы можем найти и здесь... Я чувствую это глубоко, всем существом своим, и вот говорю себе: здесь Рипсимэ, а там — зверь. Бах и лохматый зверь... война между ними...

Миранян говорил искренне, взволнованно. Эрьян никогда еще не видел его таким серьезным, таким сосредоточенным.

— Выходит, говорю, война между ними,— закончил он свою мысль.— Для меня вопрос стоит так — или победит десятки веков отвоевываемое жертвами маленького народа духовное богатство, или победит тьма...

Почти задыхаясь, произнес последние слова.

Эрьян слушал его с искренним изумлением. «Какое странное создание человек,— думал он.— Месяцами живешь бок о бок, вместе ешь, пьешь, беседуешь, споришь, а получается, что человек, которого думаешь, что знаешь,— на самом деле совсем другой. Этот Миранян считал Наполеона своим кумиром, часами перед зеркалом разглядывал свой мундир и погоны, пускался в подробные объяснения по поводу пожарских котлет, любил своего коня и свою изнеженную жену и, вообще, производил впечатление наглого, исполненного надменности, богатого молодого человека. В то время как.. нет, подумать только... Бах! Рипсимэ!»

На окна наседал молочноватый, туманный рассвет. Лица сидевших в комнате побледнели. Утренний первый свет — зовущий с улицы звонким голосом — стал упорно заползать в дом. И постепенно все предметы обрели новые черты. Что-то исчезло, ушло вместе с мраком ночи, народилась иная действительность.

Миранян задул огонь в лампе, поднял руки и зевнул. Варя, подобрав ноги, съежилась на тахте. В своем роскошном платье, в неярком свете утра, похожа была на огромный увядший цветок. Она подняла отяжелевшие веки, посмотрела затуманенными глазами и вдруг, очнувшись, вскочила с места

— Пойду переоденусь,— сказала она,— мой Бабик хотел, чтобы я на вечер надела это платье... Так ему захотелось.

— Я тоже пойду,— сказал Эрьян,— сменю сорочку, скину дурацкие ботинки... Вернусь, и мы попрощаемся.

— Дорогой капитан, погодите, есть еще время,— попросил Миранян.— Варя, ты иди, детка, переоденься, а мы еще по стаканчику пропустим... Ну что, капитан, выпьем по стаканчику?

Офицер подмигнул Эрьяну, давая понять: хочет сказать нечто важное. Когда хозяйка вышла, он отвел Эрьяна в угол и шепотом сказал:

— Я вот об этом... уезжаю... на войне всякое бывает...

— Не впервой же?

— Так-то оно так! Но война — это война... Пуля дура... Признаться, странные предчувствия в этот раз... В конце концов, мы ничего не знаем... Если случится что, прошу, не оставьте Варю одну... Сестра у нее в Тифлисе, пусть к ней едет... Скажите, такова моя воля... пусть к сестре едет...

— Скажу, будьте уверены. И вообще, до своего возвращения можете не беспокоиться. Ну, об этом говорить излишне.

— Идет! Выпили!

Когда хозяйка вошла, они подняли полные стаканчики, и Эрьян, придавая голосу побольше бодрости, воскликнул:

— И пожалуйста, возвращайтесь скорее — так будет лучше!

— И я желаю, чтобы однажды корабль достиг цели... Удачи!

Откинули головы и осушили стопки до дна.

Спустя час, когда Эрьян пришел проститься, Миранян, в теплой шинели, замотав шею башлыком, сидел верхом на коне и собирался отъехать. Но увидел Эрьяна, обрадовался, натянул поводья, нагнулся и пожал ему руку.

— Ну теперь пошли!

— Бабик! Бабик! — бросилась вслед жена.

Наклонился, взял в ладони ее лицо, поцеловал и хлестнул коня.

— С богом! — крикнул Эрьян.

Растаял стук копыт.
Улица вдруг опустела.
Хозяйка, рыдая, ушла к себе.

9

Тот день начался с неожиданностей.

Проводив Мираняна и добравшись до корабля, узнал от ребят, что приехал к нему гость из Батума — русский — искал его.

— Русский?

— Да, сумку оставил на корабле и сказал что-то... Только мы ничего не поняли... по-русски говорил.

— Кто это мог быть?

После скандальной пирушки, бессонной ночи, проводов Мираняна Эрьян выглядел уставшим и подавленным. А дел было много.

— Крестьяне денег требуют,— сказал Мартын.

— Денег? Третьего дня заплатил ведь...

— Говорят, мало, говорят, так дальше не могут...

— Ладно. Пойду в канцелярию министерства финансов, попытаюсь,— может, что и получится.

Распорядился, как дальше быть, и ушел. По каким только ступенькам не поднимался, в какие только двери не стучался, с какими только людьми не виделся! Спорил, возмущался, глотал горькие ответы — вернулся с пустыми руками.

О ночном скандальном случае уже знали в канцелярии.

— Капитан, что же это вчера у вас было, все об этом говорят...

В самодовольных голосах тупых чиновников звучали упреки, недоброжелательность. А денег? Ни даже ничтожного миллиона не получил.

Эрьян шел, озабоченно опустив голову. Но еще издалека заметил, что работы возле корабля приостановлены, крестьяне, прохожие собрались в кучу, а перед ними человек размахивает руками.

Эрьян подошел и ахнул. Забавлял толпу не кто иной, как Федор Пантелеевич. Заметно было, что пьян. Тряс поднятыми руками и хриплым голосом, отрывисто гово-

рил. Вид у него был жалкий: в дырявом картузе, в потертом пальто, без шарфа. Ни дать ни взять — бродяга.

— Знаете, кто я? — орал он.— Я настоящий хозяин этого корабля... Захочу — оставлю корабль тут, захочу — увезу обратно...

Срывал картуз, сложив три пальца, крестился, смотрел в сторону русской церкви.

— Когда царь,— говорил он,— когда Николай Второй, царь всех русских и царь всех армян, вернется, тогда...

— Нет царя! Нет царя! — шумела толпа.

Федор Пантелеевич растерянно умолкал, выкатывая глаза.

— Да, убили!

И вдруг начинал плакать.

— Что вы тут стоите дураками? — заорал Эрьян на собравшихся.

Толпа распалась. Федор Пантелеевич, как увидел его, бросился к нему в объятья и хотел непременно поцеловать.

— Дорогой мой капитан! Ах, дорогой мой капитан!

Пожал Эрьяну руки, погладил.

— Дорогой мой капитан! Ах, как я рад, что вы здесь.

— Продолжайте работу, я сейчас вернусь,— наказал Эрьян Мартыну и, взяв гостя под руку, направился к кафе за углом.

Сели. Заказал кофе.

Уличные мальчишки, любопытствуя, собрались возле витрины кафе. Эрьян вынужден был их прогнать.

— Что вам тут, зрелище, что ли?

Наконец остались одни.

— Что случилось, Федор Пантелеевич? — спросил он полуласково, полусерьезно.— Вы в Армении. И, не успев приехать, уже напились?

— Знаете что,— ответил гость,— зашел я к местному священнику... сидели вместе, пили... он о своих бедах рассказывал, я о своих... Ну, выпили, чтоб отвести душу... Плохо, дорогой капитан, все очень плохо!

Умолк, ушел в себя.

Эрьян был поражен: в несколько месяцев человек состарился, опустился.

Федор Пантелеевич, шумно глотая кофе, рассказал о постигших его бедах. Меньшевистские власти отобрали у

него все. Выставили из квартиры и из конторы. Стула простого и то не дали вынести. Он кричал, шумел — арестовали. Продержав в тюрьме несколько месяцев, отпустили. Бродил по улицам, полуголодный, оборванный, завшивелый. И будто мало было ему этого всего, получил весть, что сын убит в России. А что с женой сталось — никто ничего не знает.

— Я всем говорил, что отправили корабль в Армению и что на озере Севан большое товарищество создается... Письма от вас ждал... Ах, капитан, забыли вы меня... Все меня забыли! Все!

Глаза налились слезами.

— Страшные времена! Страшные люди! И знаете,— обратил он к Эрьяну исполненные ужаса глаза,— идут!

— Кто это?

— Они! Большевики!

— Ну, это уж, Федор Пантелеевич, вы преувеличиваете.

— Идут, говорю я вам! — уверенным тоном повторил гость.— Я знаю! Я уверен! Идут!

Широко раскрытыми глазами посмотрели друг на друга.

— Ладно, оставим,— помолчав, сказал Эрьян.— А что вы намерены здесь делать?

Федор Пантелеевич пожал плечами.

— Ничего,— ответил он,— ничего... Приехал вот... Нет у меня дома. Чтобы до Еревана добраться, полдороги шел пешком... Прятался в товарных вагонах, высаживали, снова садился... без хлеба, без воды! Я вам в свое время помог, капитан, сейчас вы мне должны помочь... Не так ли?

Поднял на него воспаленные глаза.

— Да, да! — ответил Эрьян.— Я обязан сделать что можно.

Федор Пантелеевич схватил его руку и взволнованно, крепко потряс.

— Скажу вам,— добавил Эрьян,— жизнь тут не очень-то веселая! Сами видите — трудности неописуемые... Война все разрушила... Рассказать вам о своих мытарствах — не поверите!

— Ничего! — воскликнул вконец успокоенный Федор Пантелеевич.— Ничего!.. Все вместе вынесем, капитан, все вместе... Главное — не остаться одному...

— И вопрос с жильем надо решить,— продолжал Эрьян.— Проклятый вопрос: угла и то не достать... Вы не могли бы переночевать у своего священника?

— Пойду спрошу.

С того дня население улицы Астафян прибавилось на одного человека.

У священника лечь было негде. Федор Пантелеевич присоединился к Мартыну и остался ночевать на корабле.

Бывший управляющий судоходного товарищества большую часть дня спал, а так — пил и говорил речи. А порой считал долгом своим вмешаться в работу, особенно когда Эрьян отсутствовал. Поднимал свою толстую палку, носился с криком взад-вперед, почем зря набрасывался на волов, покрикивал на крестьян и, видя, что на его распоряжения никто внимания не обращает, стучал ногами и, мыча под нос, удалялся.

Иные мелкие, завистливые люди уводили его в ближайшее кафе, поили водкой, расспрашивали о корабле, об Эрьяне. Лишней стопочки ради, Федор Пантелеевич плел невероятные вещи, наговаривал на Эрьяна и так увлекался, что в конце концов сам начинал верить в свои бредни.

— Капитан Эрьян? Неплохой парень. Но как капитан... Я ему дал корабль: пожалел, и вообще, об этом говорить не стоит, потому что если стану рассказывать...

Подносил руку рупором к уху одного-другого и нашептывал.

— Налей еще! Еще налей! — заказывали хозяину кафе любители сплетен.

Они радовались, что приезжий наговаривает на Эрьяна.

— Ты слышал? Приезжий русский, который знал его много лет, вчера, с фактами на руках, доказывал, что этот Эрьян...

И на всех углах без конца жевались всевозможные сплетни. Они доходили и до ушей Эрьяна. Он клал руку на плечо бывшему управляющему и дружески, спокойно выговаривал ему. Тот отрицал свою вину, клялся, плакал. И несколько дней ходил мокрой курицей. Съежившийся,

смирный. Потом все забывал и, жадный до водки, рыскал по городу, находил новых слушателей и рассказывал истории еще невероятней.

Ночь и ее призраки терзали Федора Пантелеевича.

...Неумолимый треск винтовок, стоны бездомных беженцев, вой собак...

Садился в постели и, потрясенный, озирался.

Мартын, подложив руки под голову, разбросав ноги, крепко спал. Рим приоткрывал глаз и двигал хвостом. И двигалась ночная тьма: ходила тенями. Федор Пантелеевич бледный, со сведенными губами, набрасывал пальто, брал толстую свою палку и сходил с корабля.

Ходил по улице Астафян вверх-вниз и сам с собой разговаривал вслух.

Кто знает, о чем он думал?

Иногда громко молился, размахивал палкой, разгоняя преследующих его духов. Лежавшие на улице беженцы начинали беспокойно шевелиться. Вокруг собиралась толпа. Но тут вмешивались милиционеры и под руки отводили его на корабль.

— Не видите? Человек пьян!

Бывало, не давал Мартыну спать.

Садился в постели, накручивал на палец прядь со лба и быстро-быстро говорил. Мартын не понимал его, а Федор Пантелеевич непременно хотел, чтоб его слушали.

— Понимаешь? — спрашивал.

— Панимаеш,— отвечал Мартын сонным голосом.

Говорил без умолку. Не двигаясь, устремив глаза в небо, монотонным голосом. Мартын отворачивался, засыпал. Но только слипались веки, пришелец дергал его за руку:

— Понимаешь?

— Да, да, панимаеш,— обиженно бормотал Мартын, сжимался в комочек и тихо похрапывал.

Рим уже привык ко всем странностям нового жильца. Свернувшись, спал себе.

На заре, когда просыпались, гость продолжал еще говорить. Мартын смотрел ему в лицо и гоготал. Федор Пантелеевич сердился, начинал одеваться.

Наскоро одевшись, слюнявил пальцы и разглаживал одежду. Выуживал из кармана обломок гребенки, причесывался. Рваные ботинки вытирал о брюки сзади. Напяливал картуз.

И уже окончательно одетый — ложился спать.

Впрягали волов.

— Эй, Багдасар! Выровняй бревно!

— Эй, Аракел! Справа подай волов вперед!

— Взяли?

— Взяли!

— Гур-ро... гур-ро!..

Улица катила шум, и корабль и Федор Пантелеевич продвигались еще на шаг.

10

Корабль почти добрался до Канакера.

Какие дни! Какой ноябрь! Грязь, ветер, дождь, голод.

Грязь — чернее чернил, местами липкая как клей, предательская как ловушка, глубокая, брызжущая, засасывающая. Скулили копыта волов, плакала обувь на людях.

Ветер бешено трепал этот листок календаря. Дождь тяжелыми пальцами стучал по железу корабля. Эрьян и его люди, накинув мешки на головы, походили на обезумевших монахов в клобуках. Бегали, носились взад-вперед, кричали, орали, но, не в силах устоять перед ливнем, хоронились под стенами и, мокрые, ждали...

Едва дождь отпускал малость, брались за работу. Надо было спешить. Скорей! Скорей! Скорей! Каждая минута дорога, каждая минута!

Какие дни настали! Какие дни!

— Эй, Мартын, эй, Мартын! Эй, Овнан! Эй, чего же вы? Тяните!

А из низких дверей домов выходили бледные и за-

думчивые люди, тревожно поглядывали по сторонам, шумно вдыхали сырой воздух и с вещевым мешочком в одной руке, с повесткой на мобилизацию в другой, путая шаг, спешили в казармы.

Городские газеты, отпечатанные на желтой оберточной бумаге, полны были призывов и обнадеживающих вестей.

Столица жужжала, как потерявший матку улей.

К оружию, земляки! К оружию!

Пока дядя Карапет угрожающим письмом требовал незамедлительно вернуть волов, Эрьян, Мартын и Федор Пантелеевич, каждый с револьвером в руке, денно и нощно стерегли волов и наотрез отказывались их возвращать.

— Что? Волов обратно гнать? Отойди, стрелять будем, клянусь солнцем, стрелять будем!

На стены разведенным на муке клеем лепили приказы и призывы. Горожане читали и, без лишних разговоров, отходили, внимательно разглядывая носки своих ботинок.

Случилось и нечто непредвиденное. Беженцы увели вола и где-то за городом зарезали и съели.

В парламенте говорились речи.

Рим, вывалявшись в грязи, сидел отверженный, поджав как мог хвост.

Федор Пантелеевич, на которого уже никто не обращал внимания, хмурый бродил вокруг. Правая половина лица — от челюсти до глаза — нервно дергалась, и он беспричинно плакал.

Со всех сторон спускались воины в лаптях и с песней исчезали в неизвестных направлениях. Проходя мимо корабля, смеялись.

Айастан остался один-одинешенек. Сам со своими горами, со своими скалами, со своим кусочком неба. Наедине со своей пустыней.

Чего же хотят от нас?

Приказы и объявления после дождя отставали от стен. Бумага пахла мукой. Беженцы набрасывались, запихивали в рот, жевали.



Дядя Карапет с группой крестьян каждые два дня приезжал в город и требовал волов. Со старым ружьем, красный как рак, с вытаращенными глазами, кричал изо всех сил, пузырился — вот-вот лопнет.

Некоторые из горожан его поддерживали:

— Одного вола зарезал уже, съел...

— Пустил слух, что явился ему святой, и бедных крестьян обманул...

— Ты на него полюбуйся: адмиралом Черного моря себя величает...

Эрьян оставался невозмутим.

— Волов верну, как доберусь до Канакера... У меня приказ есть! Вы, люди, не понимаете, что ли? Братья-христиане, не понимаете, что ли? Верну волов, как доберемся до Канакера.

Улица звенела сыплющимися на пол медными тарелками.

А трудились в день двадцать часов.

На канакерской круче корабль чуть было не съехал вниз. Выручили камни под бревнами. Теперь вместе с бревнами тащили и камни. Корабль убегал назад.

Грязь, ветер, дождь. Все уже походили на завязших в грязи насекомых. Лицо Эрьяна было черное, как лицо негра. Белки глаз вращались, губы отвисли.

— Стрелять будем! Клянусь солнцем, стрелять будем!

Всю страну трясло. Ухали орудия, стучали зубами пулеметы, рвались бомбы, горы кричали.

— Чего же от нас хотят? Чего?

— Как это чего? Вопрос прост. Турки хотят, чтобы не было армян...

— К оружию, земляки! К оружию!

Но оружия не было.

Не было продовольствия. Не было вагонов, паровозов, топлива.

А корабль не шел в гору. Лезли глаза волов из орбит: ослабшие ноги подкашивались, дрожали. На повороте он случайно ткнулся носом в скалу, задрал опасно корму и остался в таком положении, закрыв собой дорогу.

— Что это за безобразие? Эй, вы! Не видите, из-за вас орудия и батальон пройти не могут. И что вы затащили его сюда, эту дрянь? Говорю вам, дайте дорогу отряду, нет у нас времени.

Голос гремел сердито и резко.

— Честь имею представиться, господин полковник... Капитан Эрьян...

— Что, капитан, шутки шутите? Закрыли дорогу, не даете войску пройти...

— Шутки? Помилуйте, какие шутки? Я здесь по приказу совета министров.

Артиллерийские кони, сытые, крепкие, лоснящиеся, били копытами землю и, мотая головой, ржали.

Полковник в нерешительности поглядывал по сторонам. Солдаты, не шелохнувшись, смотрели на своего командира и ждали.

— Ну ладно, а как теперь быть? Части должны пройти непременно...

— Сожалею, господин полковник, но волы совсем из сил выбились, не хотят шагу сделать...

— Вот история... Капитан Езбекян! Капитан Езбекян!

Капитан дал шпоры коню и, отдав честь, замер перед полковником.

Поговорили, переглянулись озабоченно и вместе выругались. Большой горячей многоэтажной руганью. Артиллерийские же кони, сытые, крепкие, лоснящиеся, продолжали ржать.

Эрьян жадными глазами изучал коней.

— Другого выхода нет,— наконец отрезал капитан Езбекян.— Надо впрячь туда несколько коней и оттащить эту штуковину.

Только сказал — все в Эрьяне перевернулось разом.

— То же хотел предложить я,— не выдержал он.— Поверьте, дело одной минуты всего...

— Ах, боже милостивый! Ах, боже милостивый!

Прозвучала команда. Солдаты выпрягли коней. Запрягли.

Двадцать коней.

— Осторожней! Пожалуйста, осторожней! Эй, Мартын, бревно справа подложи, Мартын! Бревно слева подложи.

Меньше чем за полчаса корабль был наверху.

— Эту гору железа так на дороге оставлять нельзя,— сказал полковник.— Надо оттащить в сторону. В военное время дороги должны быть совершенно свободны.

Оттащили. Поставили на пригорок, смотреть на город.

С грохотом отъехали.

А через час верховой примчал приказ: «Немедленно приостановить все работы по траспортировке корабля, в связи с военными действиями и ввиду необходимости держать для военных нужд дорогу из Севана открытой».

Печать, дата, подпись.

И вот корабль на скалистом выступе Канакера. Чуть задрав нос, со стремительной мачтой, застыл. Корабль смотрел на город, и город смотрел на корабль.

С центральных улиц он напоминал сложившую крылья и вытянувшую шею птицу, которая вот-вот воспарит и камнем упадет на крыши города. С холма Конд он казался белым медведем, который, вертя задом, надвигается напасть на неведомого врага. Издалека — особенно когда местность заволакивало туманом — он напоминал один из тех являющихся в сновидениях кораблей, о которых рассказано в сказках и которые плывут и по гребням волн, и в облаках. А в большие дожди казалось, он Ноев ковчег.

Отныне он стал достопримечательностью и судьбой — символом, рождающим множество дум.

Крестьяне звали его «Железная курица».

Завистники-горожане — «Дерьмо Эрьяна».

Дети — «Огонь-корабль».

Никаких надежд на переброску корабля больше не было. Крестьяне, прихватив своих волов, ушли, понося Эрьяна и его святого Карапета.

События опережали друг друга с быстротой молнии. В народе росло, ширилось недовольство.

Заседания парламента и правительства продолжались день и ночь. Говорили речи, принимали решения, которые претворять в жизнь было невозможно.

— К оружию, земляки!

Корабль стал просто местом жительства. Эрьян, Федор Пантелеевич, Мартын и Рим, потеснившись, обосновались тут.

От корабля несло капустой, стиркой, дымом и нефтью.

Мартын, оставшись без дела, пропадал целыми днями и возвращался с карманами, набитыми темно-красной морковью, которую он делил с Федором Пантелеевичем. Потом садились вместе и резались в дурачка.

В первое время, по приказу Эрьяна, старались держать корабль в чистоте. Раз в два дня мыли мостик, протирали железо, драили медь. По праздникам втыкали трехцветный флаг Армянской буржуазной республики. Однако с течением дней и наступлением холодов все приходило в упадок. Никто не соглашался таскать воду от сельского родника. Мартын чистил добытую таинственным образом картошку и очистки бросал тут же. Федор Пантелеевич, который пытался сварить борщ без мяса, ставил кастрюлю на престарелый примус и внезапно засыпал. Примус коптил, и все чернело. Даже Рим по нужде не хотел уже покидать корабль и, когда на него сердились и гнали вниз, возвращался с давно обглоданными костями в зубах, поиграв с которыми, забрасывал их затем в угол каюты. И будто мало было этого, нередко Мартын и Федор Пантелеевич, простирнув свои носки да платки, развешивали их по мостику.

Эрьян примирился со всем этим.

Прежде почти каждый день спускался в город, в надежде, что будут перемены. Но в государственных канцеляриях встречали его рычанием и враждебными взглядами. На улицах, смерив его с головы до ног, неприлично обсмеивали.

— Ну, адмирал, как дела с вашим флагманом?

Или:

— Приятель, о чем шепчутся рыбы в Канакерском море?

Люди, которых медвежьей лапой задавили нищета, голод, болезни, стали злыми и готовы были приписать все невзгоды ему. Будто он — причина всех их несчастий.

Пошли плести о нем надуманные, бесчестные истории. Это он сожрал вола. Вытянул у правительства деньги и переслал их в Батум, своей милашке. Несколько константинопольских газетчиков будто много лет назад видели его на Пера Шитак, и «он оставлял впечатление человека аморального».

И тысяча прочих сплетен.

Как если бы он, Эрьян, был той самой бурей, которая трясла, как тутовое дерево, этих несчастных людей.

Корабль торчал занозой у всех в глазу и не давал покоя. Откуда ни глянь — он здесь: безмолвный, неумолимый свидетель.

— Его только не хватало на нашу голову!

Враждебно настроенные инженеры ликовали.

— Корабль,— говорили они,— это символ банкротства, беспомощности.

— Одним словом — «Аль-ба-трос»!

— На котором, полюбуйтесь, носки сушат...

Гоготали.

Мартын и Федор Пантелеевич каждый день возвращались на корабль с новыми вестями. В толпе то говорят, се говорят. Сплетники следили за каждым шагом Эрьяна, заприметили и то, что он перестал навещать жену Мираняна. Уже о них поползли темные сплетни.

В город не спускался, не брился, не спал.

Остался один.

Один со своим сильным биноклем — единственной вещью, что не продал. В свое время купил в Тулоне «Цейсс», в который четко видел склоны Арагаца, Эчмиадзин, Армянскую гряду гор, Арарат.

А город, его дома с плоскими кровлями, улицы, дворы, люди были ему открытой книгой, такой понятной, что временами боялся смотреть даже. Видел больше, чем человек видит вблизи ясными глазами. Грязью, мусором, людьми забитые дворы и грязью, мусором, беженцами полные улицы.

На рассвете, пока горы и долины просыпались в пышных фейерверках, по улицам катила подбирающая мертвецов первая повозка. На каждом шагу останавливалась, поднимала раздетые трупы.

Со стороны Канакера, от моста через Зангу, от Конда тянулись крестьянские возы, навьюченные ослы. В ту же минуту открывались двери домов, выходили люди с корзинами и направлялись на базар.

За ними шли беженцы — желтолицые, синюшные, дрожащие в лохмотьях.

Базар заполняло много народу.

Крестьяне высыпали на землю горки моркови, зерна,

лоби, чечевицы и сушеных фруктов и, размахивая прутьями направо и налево, отстаивали свой товар от голодных ребятишек и от налетов голодных матерей. Покупатели подходили, изучали товар и, широко разводя руками, торговались. Кто платил деньги, а кто выменивал на старую одежду — штаны, рубаху, шапку, которые крестьяне, в свою очередь, прощупывали, тщательно рассматривали со всех сторон.

Тем временем бинокль вел дальше, к выходящим во двор окнам домов, где уже трудились женщины. Выносили постель, разводили огонь, выбивали карпеты. Взлохмаченные мужчины, подтягивая штаны, подходили к ведрам с водой и, фыркая, умывались.

Колокола церкви Святого Креста звонили.

Чиновники и школьники торопливо шли к своим занятиям.

Удачливые покупатели, качая тяжелые корзины, возвращались домой. Беженцы голодными глазами провожали их корзины и с протянутой рукой бежали следом.

На базарной площади кое-где развели огонь и жарили потроха. Пьянящий и сомнительный запах растекался по площади, рождая в голодном мозгу сирот жажду неслыханных преступлений.

Чуть выше, напротив здания парламента, бинокль различал солдат. Военный парад. Оркестр гремел бодро и даже яростно. Приказы, речи.

Солдаты уходили.

Городом овладевала зевота.

К двум часам все расходились по домам. Ели. Спали. Пили чай. Выходили на центральную улицу и вверх-вниз, вверх-вниз фланировали. Смотрели на корабль, смеялись, острили. В семь возвращались домой. Солнце садилось, тьма сгущалась.

Вспыхивал свет в окнах. Двери и ставни закрывались.

Ереван вмиг сплющивался.

Со всех сторон начинали палить. Беженцы укладывались спать на тротуарах, обнимались с тьмой.

Бинокль раскрывал Эрьяну и другие виды. Кристальные вершины слитной гряды гор. Впавшая в бескрайнее, спокойное, глубокое раздумье Араратская долина. Как

начертанная сверхчеловеческими буквами таинственная книга. Слова и за словами — скрытые огни. Предложения и за предложениями — безгласные, захватывающие песни. Картина с виду простая, четкая, легко воспринимаемая, однако какая сложная и загадочная.

Начал понимать горы.

Как корабль стал частицей скалы, так и он со своим одиночеством стал частицей этой земли. Конечно, море совсем другое. Море — беспокойная и изменчивая дорога — открытая, широкая. Простор, качающиеся горизонты, неожиданности.

Здесь все иначе. Сердце, мысли, тело сливались, возносились. И было ощущение, что сам ты превосходишь себя.

Эрьян не знал, как объяснить себе все это. Знал, что нечто со временем умирает в нем и зарождается новое.

Случалось, часами не сходил с мостика.

Вот и тьма, а за тьмой — горы. И за горами — на скалах, на склонах гор — армяне сражаются. И — стужа, буран и голод.

Вот и звезды.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

1

Всюду лежал глубокий снег.

Ночью лютовал буран и только к утру чуть улегся. Ветер жаловался придушенным голосом и все дул.

Затверделый снег скрипел под копытами коней.

Сотник Миранян глянул на вставшие перед ним очертания высот и понял, что будет новая буря. Небо темнело свинцом и, тяжелое, подалось к земле.

Полк продвигался без спешки. Кони устали, а дорога предстояла трудная.

Из-за холмов то и дело слышалась перестрелка, шум которой относил ветер. Нет-нет да взвоет орудие.

Все дороги от границы забило панически бегущими толпами. Куда спешили эти люди — они и сами не знали. Едва кончив сеять, заготовив припасы на зиму, теперь должны, оставив дома, поля свои и обжитые села на разграбление, уходить. Шли большими группами. У кого возы были — нагрузили чем успели: столами, стульями, мешочками и прихваченными в последнюю минуту смятения ненужными вещами. На этом скарбе, замотанные в тряпье, сидели дрожащие дети или скрюченные, высохшие старухи с погасшими глазами.

Мимо поминутно увязавших в снегу этих возов, запряженных тощими волами, шли остальные. Мужчины и женщины тащили за плечами тяжелые мешки или узлы, которые часто опускали на землю, дышали на коченев-

шие пальцы, взваливали на себя снова и, вклинившись меж волами, шатаясь, продолжали идти.

Порой невозможно было двигаться. Стужа и ветер хлестали пешеходов, отбрасывали назад. Волы, коровы, возы, люди, сбившись в кучу, ждали. Часто, желая помочь волам, часть вещей сбрасывали в снег. Следом летели мешочки и узлы — бросали их, чтобы взять на плечи детей или старух, не способных передвигаться.

Рядом с вещами валялось вдоль дорог немало трупов. Лошади, случалось, останавливались перед торчащей из снега головой или одеревенелой рукой.

Эта безмолвная, безропотная масса людей шла навстречу кавалерийскому полку, направлявшемуся на фронт.

Вначале картины народного бедствия глубоко ранили Мираняна и его солдат. Расспрашивали, утешали, подбадривали, изредка сходили с коней помочь кому надо. Однако шли дни, и те же картины в механической последовательности повторялись. Отныне они стали неотъемлемой деталью пейзажа. Глаза привыкли, и совесть притупилась.

Стужа и буран, суровый и разоренный пейзаж, трагический поток беженцев, близость смерти — все это, вместе взятое, не поддавалось никакому осмыслению.

Обычные формы жизни распались.

Бабкен Миранян остро чувствовал это и, как все деятельные люди, пытался чем-то отвлечь себя, уходил мыслями в мир любимых образов. В том, верно, крылась причина, почему товарищи смотрели на него с благожелательной улыбкой и говорили о его странностях.

Любили его все. Знали, что избалованный, чуть вздорный парень с красивым лицом, но порядочен, великодушен и, при случае, храбр.

Открытый, горячий на слове, простой. Из-за ерунды выходил из себя, вспыхивал как солома и чуть погодя уже забывал и всем улыбался. Не выносил нравственного уродства, душевной мелочности: оскорблялся, страдал. С солдатами требователен был и честен. Настоящий товарищ, готовый делить с ними все невзгоды.

Барин по привычкам и чуточку шальной, чуточку странный. Это — да!

Без всякого повода вдруг вскакивал ночью, велел седлать коней, брал с собой двух-трех человек и галопом

уносился вдаль. Куда — никто не знал. Погоняв коней часа три, возвращался, отсылал людей спать, а сам отдавался своим мечтам. Утром друзья справлялись; отвечал смехом.

— Так, просто поездили немного...

Бывало, полк уходит, а Бабкена нет. Кто тревожился, кто возмущался. Но всегда, не успевали и несколько верст отъехать, как, подгоняя любимого арабского скакуна, он догонял.

— Ты где пропадал, Бабкен?

— Да так, отстал вот.

Случалось, целыми днями философствовал. Говорил выспренне то о сущности армянских гор, то о своеобразии степей, то о психологии русского воина. Из своих догадок строил всевозможные теории, излагал их с неожиданными подробностями. Любил стихи Тютчева и Ваана Теряна и, хотя голосом не обладал, напевал мелодии Скарлатти и Бенедетто Марчелло. А то часами молчал. Руки в карманах, неподвижно смотрел вдаль. И так до вечера. А вечером собирал солдат и водил круговой танец. Сам воодушевленный, радостный, гибкий, как дикое животное.

О жене своей ни с кем никогда ни слова не говорил. Как получал письма от нее, садился на коня и уезжал. Останавливался в безлюдном месте, распечатывал письмо. Читал несколько раз, от начала до конца, потом отдельные строчки и перечитывал снова. Рвал письмо в мелкие клочки, давал шпоры коню и на скаку бросал их в пасть ветру. По возвращении ходил скованный, разговаривал тихо, смотрел отсутствующим взглядом.

В дни боев неразговорчив был, хладнокровен, сосредоточен. Губы сжаты, глаза горят, молчалив. Приказы отдавал краткие, четкие. В такие часы Бабкен неузнаваемо менялся. Люди чувствовали его решительную волю и слепо подчинялись ему.

Не выносил, когда ненастоящие военные совались в военные дела, хмурил брови и кривил губы. Служба для него была высоким призванием, со строгими правилами, дисциплиной, мундиром, идеологией. Не позволял никаких отклонений, не принимал никаких объяснений.

Каждое утро проверял выправку своих людей, амуницию, строгим взглядом замечая малейшие неполадки, поправляя ремень одному, другому.

— И это ты называешь затянуть ремень? Во, четыре пальца запустил... Настоящий кавалерист ремень затягивает до костей, до кос-ттей!

— Смирно-о! Равнение!

И люди, в полном смысле слова, каменели.

Покричав, пожурив, наказав, что делать, шутил с солдатами и, по-мальчишески озорно, рассказывал смешные истории.

Странности Бабкена.

Вот уже больше месяца, как оставил Ереван.

Всего месяц — и сколько событий!

Участвовали в боях у Караургана и Сарыкамыша, понесли серьезные потери. Воевали в ужасных условиях. Мороз, снежные бури. Не хватало боеприпасов, с перебоями шло продовольствие, мало было средств передвижения.

Враг наседал. Турки, теперь уверенные, что европейские державы не вмешиваются в дела Армении, действовали смелее. Вражеские части наступали на малочисленные отряды армян и брали их в кольцо. Армяне часто вынуждены бывали отходить, не успев подобрать раненых.

Бедный поручик Кадинян!.. Бабкен не мог его забыть. Небольшого роста, худой, с лицом школьника, быстрый, умный юноша, наивный, впечатлительный — романтик. В золотом портсигаре хранил фотокарточку любимой девушки. Часами писал ей письма, а получал ответ — глаза сияли и не мог скрыть своей радости. Пел во весь голос, прыгал, плясал. Или садился на стул, зажимал кисти рук между колен, откидывал голову назад и, певуче растягивая слова, декламировал стихи. Голубоватые, выразительные глаза загорались, худое лицо бледнело, обретало детское выражение. Бедняга Кадинян! Тревожная душа его была полна предчувствий, он часто размышлял о жизни и смерти.

Миранян слушал внимательно, улыбался.

— Нет, не понимаешь ты,— обижался тот, замечая улыбку Мираняна,— все, что говорю тебе, не вычитано где-нибудь, это мои мысли-раздумья...

Все больше говорил о любви и о смерти. Не верил в смерть.

— Любовь не умирает, смерти нет,— повторял бедняга.— Просто разные формы жизни...

— Понимаешь, дорогой Бабкен, я думал об этом...

И вот под Карaурганом, в ту самую минуту, когда, после ожесточенных утренних боев, решили уже, что удалось отбросить турок, вдали показался преследующий врага Кадинян, сжался в седле, закачался, упал и распластался перед мгновенно остановившимся конем. Миранян тотчас выслал двух всадников подобрать его. Те доскакали... Но в эту минуту враг открыл такой огонь со всех сторон, что полк вынужден был отступить. Те двое погибли, и Кадинян остался лежать на земле. Наверное, турки прикончили его и золотой портсигар вместе с фотографией девушки забрали себе. А может быть, остался там лежать, захороненный под снегом.

— Понимаешь, милый Бабкен, я думал...

Прошло уже столько дней, было столько новых событий, а Миранян не мог забыть поручика Кадиняна. Казалось, вот сейчас, подстегивая коня, прискачет он. Улыбнется и вдруг, посерьезнев, скажет...

Что он говорит — не расслышать. Потому что уши Мираняна закутаны — ветер свиреп и поднимает тучи снежной пыли.

— Что говоришь? — кричит Миранян, отогнув край башлыка.

— Да так, думал вот,— кричит Кадинян,— но...

Показывает рукой на разыгравшуюся непогоду. Невозможно говорить.

И едут рядом. Бок о бок. Снежная пыль сечет им лица, оседает на бровях, на ресницах, покрывает плечи, меховые папахи. Покрывает всю равнину.

Ни зги не видать.

Кони трясут головой и кашляют.

Миранян оборачивается. Впереди прижавшихся друг к другу людей его отряда — тяжелые завесы. И хотя рукой подать было — с трудом различал полк. Снег подметал лица людей и конские морды. Подметал и выл.

Вьюга свистела, бесновалась.

И Мираняну казалось, что за ним идут только ветер да снег. И рядом, где ожидал увидеть детское лицо Кадиняна, шагает пустота. Кадинян, увы, остался далеко, вместе с частицей утерянной родины. Наверно, всякий раз, когда воет ветер и взметает снег, высовывается его голо-

ва из сугроба и вечные глаза его видят этот мир таким, каков он есть на самом деле.

Внизу хохочут гиены, как люди после веселого пира. Волки с гор грызутся из-за великого множества трупов и, вытирая морды о снег, стаей воют.

А люди продолжают истреблять друг друга.

— Я думал...

— А ну, поручик Кадинян, говори, о чем ты думал?

Раздумье усопшего так велико, что человеческими словами его не выразить. Велико, как мир, как вселенная, как все солнца, миллионы звезд, как бесконечное пространство. Велико, как бог.

Миранян думает так. И боится, что так думает. Потому что он не покойник, он живой человек — сотник Миранян, командир кавалерийского полка Армянской буржуазной республики, по счастливой случайности, несмотря на все опасности, оставшийся в живых.

Оставшийся в живых... Сейчас его единственная мечта, чтобы война кончилась. Чтобы он вернулся домой, чтобы была у него квартира, фортепьяно, на котором Варя аккомпанировала бы его скрипке. Еще шкаф с избранными книгами, несколько ведер доброго вина и еще — огромная собака... Варя, выхоленная, привыкшая к роскошным нарядам, к дорогим духам... Как она перестрадала в последнее время! Больно ему за Варю.

Из бурана появляется головка Вари и льнет к его груди. Сердце сжимается. Мысль его спускается на край той тахты, на которой в последнюю ночь вместе слушали музыку. Ее прозрачные, с длинными пальцами ручки берет он в свои и смотрит ей в глаза.

— Варя, как красива ты в этом платье!

— Господин сотник! Господин сотник! — услышал сзади.

— В чем дело?

Очнулся, остановил коня.

— Тут наши парни говорят, с пути сбились... Не лезть же нам врагу в зубы?

— Все из-за бурана, ничего не разобрать.

— Стой!

Достал карту и, борясь с ветром, попытался разглядеть ее.

— Справа от нас,— сказал он,— село должно бы остаться. Ну да, дорога через село и идет.

— А села, что вы говорите, мы и не видели.

— Что?

— Села не ви-де-ли!

— Ладно,— крикнул Миранян,— а где обоз? Он уже должен был подняться.

— Обоза не видели... может, с пути сбился...

— Пошли двоих... пусть узнают, что с ним...

Подхорунжий Аресян стегнул коня и отдал приказ. Двое ускакали.

Долго так стоять не могли. Кони, поджав хвосты и опустив головы, по брюхо проваливались в снег и дрогли. И нельзя было вперед идти: тучи снежной пыли атаковали людей и животных и гнали их обратно. И невозможно было определить направление ветра: он дул со всех сторон. Небо и земля сошлись.

Широкий в плечах и быстрый карабахец, подхорунжий Аресян с обвисшими сосульками усов и заснеженными бровями, посоветовавшись с людьми, вернулся и сообщил, что один из парней, Айваз, из здешних мест, хорошо знает местность и думает, что, если вправо свернем и взберемся на ближайший холм, непременно будем в селе Трумбацоц, откуда легче найти дорогу.

— Ну, коли так, пусть проезжает вперед...

И сотня, нестройными рядами, потянулась к холму.

Лицо Мираняна было замотано до глаз,— дышал с трудом. Конь проваливался, ноги подкашивались, и каждую минуту останавливался и утопал в снежных сугробах. А случалось, и падал на передние ноги, сбрасывал Мираняна, вскакивал и пытался убежать. Миранян, не выпуская поводьев, волочился за ним, потом поднимался на ноги, стегал коня и снова садился.

Но где он, холм, о котором говорил Айваз? Видимость — ноль. Людей с трудом различить.

И два полевых орудия тоже не могли продвинуться. Колеса примерзли и не вертелись. Солдаты, навалившись грудью, прилагали огромные усилия, чтобы сдвинуть их вперед.

Миранян с ужасом думал,— что с ними будет, если не подойдут повозки с провиантом? Солдаты голодны. Медикаментов нет. И негде было укрыться: хотя бы скала какая-нибудь, яма или река...

Но где же холм? Холма не видно.

— Подхорунжий Аресян! Подхорунжий Аресян!

Ветер срывал с губ, проглатывал его слова.

— Подхорунжий!..

Ветер свистел плеткой, налетал с воем, сбрасывал людей с седла в снег.

Вставали и смеялись.

— Это не ветер, это... так и жжет...

— Где ребята?

— Вон, едут вразброд... Орудия остались внизу...

— Передайте, пусть все остановятся...

— Слушаюсь, командир!

Передал, чтобы все остановились. Почему не выполняют приказа? Достал часы: пятый час. Скоро стемнеет совсем. Стемнеет, а не знают еще, куда идут. Надо было немедленно всех остановить, собрать, принять решение.

Стегнув коня, крикнул. Подал руками знаки. Ветер тряс ему руку, рвал и разбрасывал приказы.

Ну вот наконец стали.

— Пересчитай людей!..

— Один, два, три, четыре!..

Двадцати недосчитались.

— Отберите пятерых, пусть едут за остальными...

Уехали.

Чуть погодя двое вернулись и с ними шесть солдат. Четырнадцати человек не досчитались.

— А где остальные? Вон уже сколько прошло, а их все нет. Собрать трубачей!

Мяукнули трубы. Ветер разом сглотнул звуки и отрыгнул протяжным воем.

— Едут! Едут!

Еще десять вернулись. Четверых нет.

— Теперь как быть?

— Надо ждать, другого выхода нет... Где этот Айваз, что говорил о холме?

— Не нашли Айваза.

То, что издали казалось холмом, снежное облако было. Выходит, и предполагаемое за ним село — облако.

Коней свели вместе. Сгрудились и люди. Запрыгали, заколотили руками в грудь. Кони и люди обильно выдыхали пар.

— Айваз едет! Айваз!

Айваз и еще один. Издали радостно делали знаки. Все бросились к нему. Что кони, что люди — с ног до головы вывалялись в снегу: ни дать ни взять призраки.

— Что говорит?

— Говорит, с доброй вестью...

— Значит, так, господин командир, отсюда ну самое большее верста. Я же знал, что в той стороне дорога должна быть, только в эту проклятую погоду разглядишь разве? Манук, что со мной был, говорит: «Айваз! Тебе это приснилось». Братец ты мой, это же моя родина, мне ли не знать? И по дороге, что вы думаете, видели... В снегу четыре замерзших трупа... Как увидел, говорю Мануку: «Если тут трупы, брат, значит, тут дорога, по которой они шли... Так ведь?» Манук: мол, может, и так... А как подъехал к бородатому трупу, кого, вы думаете, вижу, а? Шишманц Амаяка, мастера-каменотеса, из соседнего села Акуленц! Других посмотрел: так женщина, ребятишки — семья его, наверно... «Манук, говорю, мы спасены, клянусь солнцем, спасены! Они бежали в Гюмри, а туда через наше село идти». Так, значит, господин командир, нашли дорогу. Так обрадовались... Двоих там оставили, чтобы не потерять снова дорогу.

Сели на коней.

— По че-ты-ре-е! Все вместе!

Ветер еще дул сильно, хотя и заметно спал. Обтекал коней, скользящих по снегу, новых туч не образуя. Весть придала людям бодрости. Даже кони, захваченные общим настроением, оживились. Они больше, чем люди, врожденным инстинктом предчувствовали близость человеческого жилья, тепло, приятный дух стойла. Помахивали хвостами и ржали.

Арабский скакун Мираняна рассердился даже. Все рвал голову вниз, избавиться от узды, бежать. Его рассерженность передалась Мираняну. А после всех этих часов неведения гора с плеч свалилась, тело стало легким.

«Как кончатся эти бои,— думал он,— непременно надо будет перейти в летный отряд. Хорошо летать. Мчаться сквозь облака и сверху острым глазом птицы изучать медленно проплывающую внизу местность».

Быть выше полей, холмов, гор.

Быть с этим миром и в то же время вне его. Нет, непременно, непременно перейти в летный отряд».

И внутренний взор его парил в небесах. Пропеллер жужжал огромным жуком. Аэроплан как ножом разрезает облако, поворачивает, опускает хвост, взмывает

стрелой и карабкается в небо. Крылья — как две вытянутые руки, готовые обнять бескрайность.

Снизу, задрав тяжелые головы, смотрят Масисы и Арагац. Смотрят плотной грядой идущие Гегамские горы и поля, сады, пустыня. Смотрит синее око Севана. Теперь понимает, что все Армянское нагорье тянется ввысь. Хочет и не может и по этой причине качается, растерянно выпрастывает свои тысячи каменных рук.

Он и его аэроплан — гонцы этого застывшего мира. Его взлетающее шумное сердце, его гул.

— Ах да, гул! Потому что, господа высочайшие духи и господа ангелы, я прилетел вам сказать, что там, в нижнем мире, не хорошо. Не слышите, что ли, голоса бурь, отбивающих дробь на ребрах гор, хриплые завывания из тесноты ущелий и рвущиеся из снегов обрывки трудных фраз?

Нет, не хорошо там!

Война, кровь, грязь, вши.

Аэроплан летел как стрела, обыскивал все уголки земли, рассекал тяжелые тучи, проваливался в ямы, качался, как судно на гребнях волн, и вновь задирал нос, взмывал ввысь кругами.

А на высоте высот небо слепило как белый снег. Там начиналась нескончаемая пустота.

Перед этой картиной кружилась голова Мираняна. Сердце сжималось и на него находила дикая тоска. Стегал коня — возвращался к действительности.

— Э, слушайте! Где же ваша дорога?

— Там, командир, вот доедем вон до того сугроба. Видите, вон там, белая точка. Ну да, там...

Полк обрел прежнюю уверенность.

— И ветер вроде стих, а? Ну, это всегда, к вечеру ветер узду подбирает.

— С чего бы это?

— Говорят, темноты боится...

Ветер и вправду заметно утих, но воздух еще не прояснился. Небо было тяжелое, серое. Свет исходил от белизны снега, выедающей людям глаза.

Вдали очерчивались вершины. Неясные, точно за небом прятались.

Тревожная тишина стояла. Слышалось лишь, как хрустит под копытами снег. Хрышт, хрышт, хрышт...

Миранян остановил коня и оглядел своих людей. Пропустил вперед. Сильные, крепкие парни. С такими людьми хоть в пекло.

Погнал коня, поехал впереди полка. Ряды сомкнулись. Поднял руку и сделал знак петь. И первая полусотня, сперва нестройно, потом уверенно, запела:

Ах, стройна, как чинара, ненаглядная яр [1],
Королева красавиц, бесподобная яр!

Вторая полусотня ответила:

Ростом яр моя — карлик, за ворону сойдет,
Как ослица шагает, как ослица ревет...

Снег под копытами хрустел им в лад: хрышт, хрышт, хрышт!

Миранян поравнялся с солдатами. Как хорошо, что поют дружно. Поют на этом богом забытом краю света, под этим затянутым небом, в эти часы продвижения в неизвестность.

И разве вся наша жизнь не продвижение в неизвестность?

Вспомнил — песня будит воспоминания — месяцы на австрийском фронте. И там лежал снег, пространства, пространства; но тот снег и то пространство были другими. Там он был чужим. Не по доброй воле пошел, а принудили поехать в далекие окраины России... Неумолчным грохотом тек нескончаемый поток пехоты, артиллерии, кавалерии. Эти края пахли порохом. Ревели орудия, рвались снаряды, стрекотали пулеметы, с глухими криками падали люди, а враг так и не показывался. Великая безыменная драма, цель которой оставалась ему неясной. Он принимал участие в сражениях, подвергал опасности жизнь, делал все от него зависящее, потому что то был вопрос чести, достоинства, однако душа его не участвовала во всем этом.

В те дни он не так это понимал. Теперь понимает.

Сейчас в хмуром краю, где не бывал он никогда раньше, где звучала наивная эта песня, где продвигался готовый погибнуть отряд воинов, все ему казалось естествен-

[1] Яр — милая, возлюбленная, друг.

ным, необходимым, логичным. Не удивительно ли? Вот, совершенно незнакомые места. Однако будто он знал их. Видел.

...Яр моя огнеокая, груди — спелый гранат...

Хрышт, хрышт, хрышт!

Да! Чувствовал глубоко — после долгих странствий по прошлым жизням вновь обрел то, что ему принадлежало и чему он сам принадлежал. А прошлые жизни: кому дано поднять завесу тьмы?

— Доехали, командир! Доехали... Кто бы мог подумать? Мастер Шишманц Амаяк...

Труп Шишманца Амаяка ушел наполовину под снег. Одеревенелые руки, желтая борода торчком, почерневшее лицо и застывшие глаза: он лежал на боку и будто ждал, что кто-то подойдет сейчас и поможет ему подняться.

Через четыре шага женщина и трое ребятишек, обнявши мать, вытянулись ничком, посинели.

— Их убили! — сказал кто-то из парней, поворачивая один из трупиков.

Снег возле алел, и на горле кровь запеклась.

— Присыпем снегом хотя бы...

— Да, присыпем.

Миранян достал карту, сориентироваться — куда теперь?

В ту же минуту, справа, где виднелись высотки, послышались выстрелы.

Миранян поднял бинокль, всмотрелся и ничего не заметил.

— И вы слышали?

— Так показалось... стреляли...

Кто сошел с коней, вскочил в седло. С карабином на весу, рассыпались мелкими группами.

— Вот, опять стреляют...

Теперь уже стрельба справа и слева.

— Э, а не в ловушке ли мы?

— Надо послать разведчиков... узнать, в чем дело...

Подхорунжий отобрал людей и выслал вперед.

Ветер, казалось, уже уставший, задул вдруг изо всех

сил, взметнув снежную пыль. Борода варпета Амаяка выдалась заметно и побелела.

— Сукин сын ветер, опять взбесился...

Миранян не стал терять время. Возглавил вторую полусотню и решил оседлать склон холма. Остальные, разбившись по десять, разъехались и, готовые к атаке, стали. Оба орудия укрылись за сугробами.

Метель разыгралась. Ни зги не видать. Пришлось дождаться разведчиков. И куда они запропастились? Ужасно было... ведь они не знали, где находятся и откуда огонь. Стреляли по ним, сомнений не осталось. Пули со свистом проносились над головой. Чуть погодя разорвался первый снаряд.

— Приготовиться! — скомандовал Миранян.

Стегнул коня, объехал ряды и отдал команду:

— Прицел пять, огонь! И без конца огонь!

Завыли и оба орудия за спиной.

Вернулись разведчики, двое с донесением, что за холмом видели пешие колонны турок и много артиллерии. Кавалерии не заметили.

Принимать столь неравный бой было бессмысленно. Миранян решил не прекращать огня, чтобы дать сотне отойти и занять более выгодные позиции. Они посреди открытого поля. Турки, идя с высоты, легко могли окружить их.

Появились первые раненые.

И убитые. На правом фланге разорвался снаряд в боевых порядках и несколько человек убило.

Миранян приказал задним рядам отходить незаметно. Сам и с ним двадцать человек остались на первой линии и удвоили огонь. К счастью, ветер с каждой минутой крепчал и снежная пыль застилала видимость.

Спустя полчаса, когда люди его порядком отошли и огонь противника ослаб, приказал, не прекращая огня, тихо отходить.

Следовало вытянуть противника в поле и с выгодных рубежей подготовить контратаку.

Хлестнули коней и умчались галопом. Орудия противника молчали. Один ветер гудел.

«Чисто выбрались,— подумал Миранян,— а то прямо в зубах врага были».

Подхорунжий, озабоченный, подъехал к нему.



— Двое других, что ушли в ту сторону,— и указал, откуда они отступали,— так и не вернулись... Странно как-то...

Сказал и инстинктивно пригнулся. Тотчас оттуда, куда указывал рукой, запели пули.

— При-иготовиться! — крикнул Миранян и выхватил револьвер.

Тем временем противник усилил огонь. Впереди показались вражеские конники. Сомнений не было: окружены. Там, впереди, отстреливались отступавшие парни.

— Ребята мои! — крикнул Миранян.— На прорыв, другого выхода нет!

Рассыпались мигом и, стреляя, бросились навстречу наступающим всадникам.

Скакавший впереди Мираняна солдат, здоровяк Мигран, которого ребята за силу его прозвали Вол, вдруг опустил поводья, схватился за живот, глухо вскрикнул и, продержавшись еще шагов тридцать в седле, рухнул тяжелым мешком и остался на снегу.

Все в голове Мираняна смешалось.

Покуда конь под ним летел стрелой, он безостановочно стрелял. Единственная цель его была догнать своих людей, свести в кулак и общими силами ударить по противнику.

Но где они, его люди?

Метель, вой ветра, грохочущие разрывы снарядов, мелькающие лица — все смешалось в белый хаос, и он ничего не слышал, кроме — тик-тик-тик-тик! Тело и сознание всецело отдались этому размеренному шуму.

Порой просыпалась боль в груди, колола, пекла, сжимала зубы, жгла губы, потом исчезала, и снова — тик-тик-тик-тик! — словно качался метроном. И при качании метронома его учитель по скрипке Карл Эрнестович Мюллер высовывал свою рыжую круглую голову, поднимал кверху длинный и тонкий палец и — айн, цвай, драй, айн, цвай, драй! — отбивал такт...

И мир заливала чудесная музыка. Голос скрипки — четкий и трепетный — обретал невидимые крылья, парил в бескрайних просторах и, обнимая небо с его звездами, жалобно всплакивал, грустил, потом, подчиняясь светлым потокам, пропадал.

И господи, играл ведь он. Эти звуки рождались в его пальцах, в его сердце, в каждой частице его тела. И сам, все его существо было музыкой.

И каждый раз, когда ветер бил в лицо и бросал на горящие губы комья снега, он ощущал счастливую прохладу и пытался сосать снег.

Снег и музыку.

Темно было, когда его люди, отразив нападение, нашли его в снегу. На скрещенных руках понесли.

— Свои, командир, свои!

Открыл на секунду глаза, узнал своих солдат, улыбнулся. Потом рот перекосился, и он потерял сознание.

2

«Все на фронт! Всё для фронта!»

Серое, тяжелое небо.

Над грядой отодвинувшихся гор показалось бледное солнце. Внизу, над полем, стлался белесый туман.

С корабля можно было наблюдать в бинокль трогательные сцены на выходящих во двор балконах. Женщины, рассыпав по плечам волосы, носились взад-вперед в шлепанцах. Вносили горячие самовары, готовили узлы и — в последнюю минуту — бросались мужчинам на шею, плакали.

Мужчины уходили на фронт.

Улицы города доносили звуки маршей. Вдали туман липнул к полю, застилал его тучами. Кое-где торчали верхушки высоких тополей, и казалось, что это — в неведомом море потопленный флот.

Мартын и Федор Пантелеевич, пробродив всю ночь в городе, вернулись на корабль.

Оба желтые, расстроенные, исхудалые. Глаза Федора Пантелеевича еще больше ввалились, руки бессильно повисли, и напоминал он опустевший мешок. Губы все время двигались, кривились влево и вправо.

— Где пропадали? — не поворачиваясь, спросил Эрьян.

— У здания парламента были... Заседают. Положение совсем неважное,— ответил Мартын, глядя себе под ноги.

— Чем неважное?

— Говорили, ну... очень озабоченные...

— Говорили, о чем?

— Говорили... Капитан, пропали!

Шумно потянул носом.

Эрьян догадался, что случилось нечто на самом деле ужасное.

— Пропали! Пропали! Дурак, рассказываешь — так по порядку рассказывай.

— Говорят, турки идут на Игдыр, взяли мост Каракала... Призвали лиц восемьдесят третьего и восемьдесят четвертого годов рождения. Еще — что большевики очень сильны в армии, и части, говорят, не хотят больше воевать. Да, чуть не забыл, видел вашу хозяйку дома, ну ту, где вы раньше жили. Бежала в госпиталь. Велела сказать вам, что мужа привезли, тяжело ранен...

— Миранян?

— Да, да!

Замолчали.

— Ну! — сказал Федор Пантелеевич.— Ну вот, дожили... Господи! Господи!

Правая половина лица сердито дернулась.

— Мир затопила боль, зло,— продолжал он.— Сошли все злые духи и властвуют над жизнью. Что будет? Что будет?

— А что должно быть? — автоматически сказал Эрьян.— С нами случится то же, что и с другими... Ты что говорил, Мартын, турки на Игдыр идут?

— Так сказали...

— Не болтай ерунды! Я пойду в госпиталь... Женщина одна... Еще чего, Игдыр! Я пойду в госпиталь.

— Ладно.

— Значит, так. Я пойду в госпиталь...

Вышел, вернулся, поискал что-то в карманах, снял картуз, снова надел, расстегнул пиджак, застегнул опять.

— Не болтай ерунды! — буркнул под нос.

Выбежал.

Госпожу Вардуи нашел на ступеньках больницы. Напоминала молодое, обломленное дерево. Бледная, с красными глазами.

Широкие коридоры городской больницы дышали йодоформом. Врачи и сиделки озабоченно бегали, исчезали за высокими дверьми, через минуту выскакивали обратно. Опять спешили, исчезали уже в других дверях. Больница переполнена. Из всех углов слышны стоны, приглушенные крики.

Закутанные в шали, с застывшими от горя лицами, женщины и девушки ждали на лестнице.

— Госпожа Вардуи! — позвал Эрьян.

Расширенными глазами посмотрела на него, прижала платок к губам и подавила крик.

— Ах, господин Эрьян! Ах, господин Эрьян! — застонала она, качая стан то вправо, то влево.

— Ну, ну, чего зря-то убиваться! — утешал ее Эрьян.— Не стоит... Когда привезли?

— Вчера,— глотая слезы, сказала Вардуи,— вчера. Не пускают к нему.

Эрьян проглотил слюну и не смог ничего сказать.

— Подождите,— приняв вдруг решение, сказал он,— пойду разузнаю, что нам делать...

Побежал за кем-то в белом.

— Простите, не будете ли вы любезны?

— Чего вам? — недовольным тоном ответил человек, продолжая шагать.

— Вчера раненого офицера привезли... сотника Миpаняна.

— Сотник Миранян? — остановился он в дверях.— Где лежит?

— Об этом я и хотел вас спросить.

— Вы что думаете, в этой неразберихе могу я запомнить всех раненых? Ни сна, ни покоя... Обратитесь в канцелярию...

И захлопнул дверь перед носом Эрьяна.

— Вам что-нибудь нужно, господин Эрьян?

С охапкой ваты и пакетов перед ним стояла, улыбаясь, девица Будагян, которую после той скандальной ночи он не видел.

— Кого я вижу! — воскликнул Эрьян и вспыхнул до ушей.

Барышня заметила это и улыбнулась милее. Лицо усталое, бледное. Наряд сестры милосердия был к лицу ей, придавая спокойствие и нематериальную нежность всему облику. От близости стольких страданий ее лицо стало прозрачным, светилось. Та же девица Будагян и, однако, вроде бы не та.

— Не ожидал вас здесь встретить,— заикаясь, сказал Эрьян и зарделся снова.

— Что поделать? Надо же чем-то быть полезной... Работаю здесь... Положение ужасное: без конца раненых везут, и в больнице уже мест нет, все углы забиты. Не хватает врачей и медикаментов... А вы, у вас тут лежит кто?

Эрьян объяснил.

— Да, этот молодой офицер... Он у меня, наверху... Вы его родственник?

— Нет, друг. Жил у них...

— Ну, раз такое дело, скажу вам... Плох он. Вчера оперировали... Пока донесли, потерял много крови... Конечно, не безнадежен, но плох...

— Жена внизу и очень хотела бы видеть больного...

— Сегодня нельзя... На второй день после операции невозможно... Надо ей объяснить, что подобное известие может разволновать больного и иметь печальные последствия... Должна понять и ждать. А ваши дела как, господин Эрьян?

Эрьян неопределенно развел руками.

— Смотрю всегда на ваш корабль и вспоминаю ту ночь...

— Жалею, что так получилось...

— Не вы были виноваты. Люди так измельчали... Ну, вы извините меня, я должна бежать...

Мелкими, скользящими шажками быстро-быстро пошла и. взбежала по ступенькам... Эрьян восторженно проводил ее взглядом.

— Какое прелестное создание,— прошептал он.

Жена Мираняна не хотела отходить от больницы.

— Оставьте,— говорила она,— оставьте меня здесь! Иначе я с ума сойду, понимаете?

— Я вам говорю,— лгал Эрьян,— никакой опасности нет. Сестра мне просто все объяснила: операция прошла удачно... больной нуждается в совершенном покое. Вы женщина образованная... должны понимать это.

Она трясла головой и, глотая слезы, не соглашалась.

— Я знаю... я знаю! Он очень плох... Хотя бы дозволили смотреть за ним...

Прислонилась к стене, и лицо ее было бело как мел. Выходя, у самых ворот, чуть не потеряла сознание.

По длине тротуара у больницы солдаты положили раненых — в грязном обмундировании, с восковыми лицами, с закатившимися глазами— и ругались со сторожем.

— Братцы, я вам человеческим языком говорю...— кричал сторож.— В больнице и вершка свободного нет...

да поймите вы, все углы забиты, заполнены... нельзя никак...

— То есть как нельзя? Они тяжелораненые, не на улице же им лежать? — зверели солдаты.— Начальство выдало бумагу, и приказ надо выполнить...

— Ну попробуй тут разберись... Говорю же вам, места нет... Везите их во второй военный госпиталь...

— А думаешь, мы там не были? В четырех местах были. Не принимают...

— А я виноват, что не принимают? Везите их к чертям...

— Заткни пасть! Начальство бумагу выдало...

Ругались, оскорбляли друг друга.

А рваные раны прикрытых шинелями солдат ныли. Облизывая перекошенный рот, глазами в небо, они стонали и слушали темную ругань.

Госпожа Вардуи, став свидетелем этой сцены, совсем потеряла голову и со словами: «Бабкен, мой Бабкен» — упала Эрьяну на руки. Принесли воды, обрызгали ее. Пришла в себя.

Эрьян взял фаэтон, отвез ее домой.

Улицы почти обезлюдели.

Редкие прохожие, опустив головы, неслись бог знает куда.

В воздухе повисла тяжелая и давящая тишина. Даже растянувшиеся по тротуарам беженцы притихли, скучились, сжались, еще более убогие, чем вчера. Не слышно было привычно громких голосов чистильщиков сапог и разносчиков папирос.

Со стен, как всегда, кричало множество лозунгов.

Эрьян остановился, стал читать. Это чтение, несмотря на приподнятый тон призывов, вселило в него разочарование. Ясно, что стены вопили о беде и крахе.

Что будет? Что будет? Что будет?

Упрямый, металлически холодящий факт, что турки уже под Игдыром, у ворот Еревана.

Решил свернуть к парламенту. Деревья на Бульваре черны от ворон. Качаясь на ветках, они высматривали дали, потом, встревоженные, поднимались стаей, натягивая в воздухе живой лук.

Оба кафе на углах центральной улицы пустовали. Ниже, уединившись, шептались несколько человек. Их

лица были, как небо: серы и тяжелы. Эрьян не подошел. Направил шаги к парламенту, над которым висел большой трехцветный флаг. Несколько человек подняли головы к балкону и ждали.

Балкон был пуст, и флаг печален.

— Здравствуйте, господин Эрьян.

Обернулся. Отец Зварт.

Молча смотрели друг на друга. Потом на балкон, флаг, небо. Человек тяжело вздохнул и уставился Эрьяну в глаза.

Сказал:

— И что будет?

Эрьян не ответил.

— Нет больше уверенности,— сказал отец Зварт.— Лучше пусть спустят флаг: какой смысл устраивать кровопролитие... Красные скоро придут. Зварт моя письмо прислала...

— А где она? — бесстрастно спросил Эрьян.

— В Александрополе.

— По делу?

— Так, с товарищами... Она пишет, что нет надежды...

— До свиданья.

И Эрьян быстрым шагом вошел в здание парламента.

Несколько человек, подняв воротники пальто, руки в карманах, разговаривая, выходили. «На собрании фракции об этом зашла речь...» «Это решение было принято почти месяц назад без споров...» «Я говорю, это прежде всего вопрос принципиальный, прежде всего принципы...» «Да, принципиальный, но надо учитывать создавшуюся ситуацию...»

По обрывкам долетавших до ушей Эрьяна фраз судить о чем-либо было трудно.

«Если речь о «принципах»,— подумал он,— значит, положение не такое уж безнадежное».

Всмотрелся в их лица. Спокойные. Подошел к шедшему из коридора молодому человеку:

— Извините, сегодня заседают?

— Нет, собрание фракции... Парламент будет заседать, видимо, сегодня вечером... Члены правительства заняты... надеемся... к вечеру освободятся...

— В городе ходят разные слухи,— сказал Эрьян,— говорят, турки...

— Слухам не нужно верить,— обрывая его, сказал молодой человек,— читайте газету дашнакской партии... Конечно, война; это не новость... Наши войска выполняют свой долг... командиры, которые только что отчитывались перед фракцией, полагают, что могут остановить врага...

— Благодарю вас. Простите за беспокойство.

— Пожалуйста!

Дощатый пол коридора, выкрашенный в цвет бычьей крови, блестел. Пахло керосином и парафином. Этот запах и этот блеск подействовали на Эрьяна успокаивающе. Нет, мир еще держится, не рушится пока.

Ожидавших на улице стало больше. Чего ждали — не знали сами. Приумолкшие, придавленные, с устремленными в пустоту глазами. Несколько человек подошли к Эрьяну.

— Какие вести? Что говорят?..

— Ничего. Ничего особенного. Войска воюют... Командование надеется...

— Скрывают, не говорят,— возмущенно бросил небольшого роста, с бегающими глазами юноша,— врут, бессовестно врут!

— Правду говорит,— поддержал другой.— Отовсюду беженцы идут и страшные вещи рассказывают... А раз такое дело, зачем предложения красных не примут и не положат конец страданиям народа?

— Народ устал от бесконечных войн,— продолжал юноша.— Говорят, солдаты отказываются воевать. Эти люди не понимают, что мир изменился, что революция докатилась до этих мест и как буря все сметает на своем пути.

Эрьян изучающе посмотрел на юношу.

— Народ понимает,— продолжал юноша,— народ понимает, что единственное спасение в России. Русские трудовые массы протягивают нам руку помощи.

— А в чем эта помощь? — спросил Эрьян.

К ним подошли другие юноши.

— Вы что? Не понимаете? Или хотите, чтобы наш народ совсем вымер?

— Мы воюем за свою независимость,— ответил Эрьян,— лучше с честью умереть, исчезнуть, чем утратить независимость.

— Это буржуазная точка зрения,— выходя из задних рядов, возразил худой человек с остренькой бородкой, в очках.— Умереть за независимость — прекрасно, но если не останется людей — для кого независимость?

— Не понял вас...

— А просто. Мало иметь независимость, надо уметь отстоять ее. Нынешнее правительство все свои надежды возлагает на союзные державы и особенно на протекторат Америки... А я убежден, что посулы Вильсона — мыльные пузыри, пустые слова...

— А Россия, думаете, отличается от них?

— Да, отличается. Революция все изменила. Ленин не раз заявлял, что Советы уважают независимость Айастана... Его представитель Легран, он находится здесь, неустанно повторяет, что будет защищать наши национальные права.

— А раз так, зачем... зачем подписали Брест-Литовский договор? — спросил Эрьян.

— Во имя победы революции. Сегодня вопрос о границах существенного значения не имеет, потому что мировая революция все изменит... Многие другие страны станут коммунистическими.

И человек нарисовал заманчивую картину нового, рождающегося в муках мира. Власть трудящихся в международном масштабе возьмет управление мировыми делами в свои руки, ликвидирует классы, утвердит справедливость и равенство, сотрет границы, сочтет ненужным существование государств, армий, полиции.

— Да, так будет!

Человек говорил так убежденно, что Эрьян не знал, что и сказать. Кому не хотелось жить в отмытом от зверства, несправедливости, обездоленности мире? На всех горизонтах Армении потрескивали пожары, из всех углов пахло кровью, по всем дорогам ходила смерть, и, естественно, все устали и жаждали веры...

Армяне тосковали по надежде.

Эрьян отошел. Заметил, что везде, на Бульваре и на углах центральной улицы, люди, в группах, говорили о том же. И всюду большевики, уже не таясь, открыто, пропагандировали. Обещали хлеб, мир, независимость.

Ясно было, что буржуазной республике недолго жить. Народ обращал взоры к Красной Армии.

Идя вверх по улице, он заметил вдруг свой корабль.

Упершись носом в неведомое, он стоял на скале, как большой лапоть. Чужой, одинокий, смешной. Что у него общего с этими скалами, с этой развороченной пустотой, с этими лезущими одна на другую плоскими кровлями?

И все же его сердце, его мысль были с ним. Наверно, и он, подобно кораблю, здесь чужой, одинокий, смешной. И сам он пребывал в щемящем неведении — большой такой лапоть.

Продолжал путь, разговаривая с самим собой.

На тротуаре чья-то рука потянула его за штанину. Глянул — тянулись к нему костлявые, изъязвленные руки. Отдернул ногу.

— Хлеба! Кусочек хлеба! — взмолился человек.

— Хлеба! Хлеба! — застонали другие голоса.

Истощенные тела в ранах, налитые гноем глаза, изъязвленные губы.

Эрьян отпрянул, достал из кармана смятый клочок бумаги, на котором значился миллион, бросил и, не оборачиваясь, ушел.

Бродил без цели. Не знал, куда идти, не знал, что делать.

Что ожидало страну? Что ожидало корабль? Что ожидало его? Сердце теснили дурные предчувствия.

Хотел устать, хотел, чтобы уснула мысль, не тревожилось сердце. Ему казалось, что жизнь остановилась, втянулась улиткой, ушла в себя. Двери домов словно открыты в пустоту: окна смотрят, как слепые.

Господи, что будет, если турки дойдут до Еревана?

На углу улицы Тарханян играли дети, шумели, дрались. В избытке жизненных сил, бегали бесцельно, вытирали штанишками стены, валялись в пыли, орали, кричали.

Решил снова спуститься к центру города. Хотел дойти до парламента и на базар зайти. Может, новые вести будут или встретит кого.

— Простите,— у продуктового магазина окликнули его,— не скажете, который час?

— Без пяти два,— посмотрев на часы, ответил Эрьян.

— Мои стали... и солнце скрылось. Не знаешь, полдень или вечер. Все перепуталось... Благодарю вас.

Человек заморгал и вошел в магазин.

Прохожие остановились. Приложив руку козырьком ко лбу, с интересом смотрели на западную часть неба.

С деревьев снялась большая стая ворон, полетела с криками.

Эрьян тоже глянул вверх. Сомнений нет: аэроплан. По всему небу ходила гулкая дрожь.

Прохожие перебежали улицу и, вытянув руки, показывали на плывущую в небе точку. Точка стала расти и, разворачиваясь, полетела к главной площади города.

Люди снова перебежали улицу и сбились, как завидевшие волка овцы. Рокот рос и обнял весь горизонт. Высыпали из домов зеваки. У окон столпились женщины и дети.

— Аэропла-ан!

Напротив, на балконе дома, выкрашенного в красный цвет, показался человек, поправил очки, посмотрел вверх, потер лысину. Прохожие озабоченно подняли глаза на этого человека, это был министр, и хотели понять выражение его лица. Человек потер лысину еще раз и ушел в дом.

Аэроплан — биплан какой-то — стал снижаться, покружил неуверенно, потом клюнул носом, резко пошел к земле и исчез за крышами домов.

Толпа бросилась вниз.

Эрьян, влекомый общим потоком, хотел пойти туда же, но передумал, сдержал свое нетерпение, не спеша достал из кармана трубку, набил, зажег, затянулся несколько раз и, зажав трубку в зубах, пошел без спешки к парламенту.

Вороны вернулись и, вычернив деревья, закаркали.

...Была поздняя ночь, когда он пустился в обратный путь на корабль.

Темно. Холодно. Холодно и на сердце. И голова тяжелая, словно начинена свинцом.

Старался идти быстрее, чтобы согреться, но ноги с трудом передвигались. Похолодало, как перед снегом.

Шагал, ориентируясь на слезящийся фонарь в конце улицы. За этим светом была больница, а за ней начиналась пустота: чернели сады и тьма липла к скалам.

На Канакерское плато карабкаться приходилось вслепую — осторожно нащупывая землю под ногами и шаря руками в пустоте.

Но не в том было дело.

Ах, не в том было дело! Тьма ударила ему в грудь кулаками, и голова закружилась.

Дело было в том, что пал Карс.

Эту страшную весть обрушил на город аэроплан. Карс! Эта сильная крепость с гигантскими припасами, складами военного снаряжения, неприступными, казалось, бастионами очутилась в руках турок.

Пал Карс. Значит? Все кончено. Значит...

Ах, хорошо, что ночь, тьма, холод! И Эрьян чуть было не закричал, завопил, заплакал... Кровь прилила к лицу — стыдился.

Летчик поведал трагедию во всех деталях. Солдаты отказались воевать. Приказы офицеров не выполнялись. Один из них, Мазманян, достал револьвер и на глазах у солдат застрелился.

Единственным светлым пятном оставался труп покончившего с собой командира.

Да, уж лучше умереть, лучше умереть!

Резко выдернул руку из кармана.

— Корабль! — сказал он себе.— Нельзя забывать о корабле... И еще не все кончено, никто не знает, что еще может произойти!

Прибавил шагу. Сам себя боялся.

От себя самого бежал.

Заседание парламента не выходило из головы. Прежде чем зайти, походил вокруг здания. За день во рту и кусочка не держал, но голода не ощущал. Смотрел на бледноликий поток молчаливых и грустных людей. Шли друг за другом и, опустив головы, ни на кого не глядя, входили в здание парламента. Словно умер кто-то незаменимый. Словно лежал там внутри заполнивший собой весь зал гигантский труп. И люди проходили молча, приглушенными шагами.

И эти люди разбудили в нем жалость, потому что были мелки и несчастны.

Потом с остальными вошел и он, устроился на одном из выделенных для граждан стульев.

Этот скромный театральный зал провинциального клуба, с прочной пока сценой, двумя ложами и допотопной меблировкой, стечением обстоятельств стал местом переживаемой целым народом трагедии. Словно забытые тени продолжали жить в нем и теперь. Словно сейчас выйдут на сцену любители и непрофессиональными же-

стами, неестественно начнут играть величественный и сложный классический шедевр.

И впечатление это усилилось, когда увидел он входящих растерянно членов парламента, которых встречал каждый день на улице... Это были обычные простые лица, лишенные печати значительности. Озабоченные, грустные лица. И не было среди них ни одного человека, кто бы мог указать путь к спасению.

Не было такого человека!

Когда председатель вошел, сел, опустил глаза на лежавшие перед ним бумаги и зазвенел белый металлический колокольчик — собственность клуба,— зал наполнился вдруг тяжелыми, незримыми тенями.

В глубокой тишине поднялся один из министров.

— Господа, сегодня после полудня получена весть о падении Карса... С болью узнали, что турецкие аскеры вошли в город почти без единого выстрела... Полководец Пирумян с верными присяге офицерами, министр Бабалян, около тысячи пятисот армянских солдат и сто пятьдесят армянских офицеров попали в плен и отправлены в Эрзрум... В Карсе турки учинили беспорядки, убийства, грабежи. Согласно первым уже полученным сведениям, турки убили три тысячи пятьсот человек... Остальная часть населения бежит к Александрополю, Тифлису, Еревану... Считаю долгом своим припомнить здесь горестный инцидент... Храбрый командир Мазманян, вконец разочарованный, прямо на глазах у солдат, покончил с собой...

В ту же секунду — показалось — бесшумно, с простреленной головой, прошла меж рядов тень полковника Мазманяна и в глубине остановилась.

— Правительство, учитывая создавшееся положение, решило любой ценой укрепить фронт, всячески поддерживать дух народа и внушить войскам новую энергию... Одновременно решено начать переговоры с Турцией о прекращении огня и мире...

В ту же секунду — показалось — тень полковника с простреленной головой закачалась и всей тяжестью тела рухнула на пол.

Присутствующие побледнели.

— Прошу... внимания,— сказал председатель и задвигал белым колокольчиком.

...Самого себя боялся, от самого себя бежал...

3

Командир вооруженной галоши, именуемой «Ашот Еркат», Туманян по виду напоминал узел, выпавший из беженского воза.

На ногах высокие русские валенки. Грубая телогрейка под шинелью уродливо раздувала тело. Шея и уши замотаны — дальше некуда. Картуз сполз на брови, и видны лишь раскрасневшийся кончик носа да наивные глаза.

Передвигался, как медведь.

А открывая рот, прежде пускал клубы пара, точно в узле пекарню запрятали. Потом голос звенел, как стекло, и тотчас таял в морозном воздухе — двадцать пять градусов ниже нуля было.

Еленовка оделась в метровой толщины снежный тулуп.

На еле проступавших окнах мороз писал цветы безмолвия. Единственным признаком жизни были дымоходы. Над их шапками клубились черные тучи. Временами снаряды падали на голый берег и, обрывая вой, вспарывали снег и землю.

Окружающие озеро высоты, белым-белые, отражались в незамерзшей воде, медленно плавали.

— Ну вот, опять начали! — говорил Маргар, озабоченно поглядывая на черные фонтаны разрывов.

— Забавляются, что ли?

Туманян зорко всматривался в берега за островом, где стояли части наступающей Красной Армии, и, волоча валенки, отходил от берега, водил биноклем по избам — не подают ли, случаем, оттуда знаков большевикам...

— На всякий случай,— говорил он,— машина пусть стоит под парами.

— Есть под парами! — отвечал Сурен.

Красные не стреляли по острову, по деревне тоже. Обычно они обстреливали безлюдный берег, напоминая о своей близости и наводя страх.

Туманян тоже отвечал на огонь, чтобы противник знал, что здесь готовы дать отпор.

Попытки потопить корабль остались безуспешными. Туманян изучил всю местность и ловко использовал позиции, часто прикрывался островом и стрелял. Вечно менял позиции — влево, вправо, ходил по кругу. В полночь корабль отходил в направлении пологого берега, хо-

ронился за огромными валунами и стрелял по позициям противника. Только начинали отвечать ему, а его и след простыл.

Красные знали командира корабля. О корабле и вообще о действиях дашнакских частей они знали от местных крестьян.

Единственным другом Туманяна была Анастасия, дочь русского крестьянина Егора Кожухина. Волосы цвета свежеобмолоченной соломы, большие, цвета озера глаза, в которых бродила печаль и неспокойно прыгали искры. Среднего роста, с упругой грудью и ненасытными губами, красивая и задумчивая девушка.

Жила несколько лет в Баку, в семье своего дяди, богатого торговца кожей, и училась в гимназии, которую в связи с революционными событиями не смогла окончить. Не любила деревню и своего строгого, фанатически верующего отца.

— Я задыхаюсь тут! Понимаешь, Миша, я задыхаюсь...

Егор Кожухин — небольшого роста, ладно сбитый человек,— узколобый, длиннобородый, с отогнутыми назад большими пальцами на руках. От него несло капустой, кожей и библейским духом. Для него все люди были грешники, заслужившие гнев господний. Маленькие острые глаза, сухой голос холодили собеседника. Пререканий не терпел, и, когда сердился, стены в доме ходили ходуном, и жена — худенькое забитое существо — в страхе ежилась, дрожала всем телом.

Анастасия была его единственной дочерью. Очень любил ее и поэтому причинял ей страдания. Бывало, смотрел на нее, и сердце полнилось нежностью, глаза пропадали вовсе, и губы под усами расходились в улыбке. В такие минуты он опускал брови и, подходя к дочери, собирался сказать ласковое слово. Но и рта не раскрыв, передумывал: человеческая любовь — слабость! — считал он, человеческая любовь — воровство! Мы воруем то, что принадлежит одному всевышнему!

И тотчас менялось выражение глаз, веки застывали, сходились брови и голос суровел.

— Ты что это лентой повязалась? Сегодня не суббота и не бал-маскарад! Сколько раз говорил... И потом, эти

книги, не хочу их в своем доме! Не хочу! Истинный человек — человек одной книги! Читай то, что читаю я, что читает каждый верующий! Слышишь?

И, запуская толстые пальцы в бороду, удалялся.

Анастасия давно бы убежала из дома, если бы не встретила она здесь Туманяна. Стоя на берегу, целыми днями следила за работами затерянного в новой для себя местности молодого моряка-офицера. Возмущалась, когда крестьяне говорили о нем с иронией. Полюбила его серьезность, его упорство, его одиночество. Детские глаза и бедность. И то, что, проходя мимо, вежливо здоровался и опускал глаза. И то, что на нем шинель вылиняла и ботинки разбиты были и стары. Сиянье глаз, трепет голоса. Она полюбила его, потому что и сама была одинока и несчастна.

Страдать стала, не спать по ночам.

Как-то вечером, когда отца не было дома, задворками, чтоб крестьяне не заметили, пошла и стала на пороге комнаты Туманяна.

— Добрый вечер, господин командир,— поздоровалась она, улыбаясь.

— Добрый вечер, барышня,— ответил Туманян, смущенный от неожиданности.

Так они и стояли с минуту, друг против друга.

— В гости к вам пришла. Принимаете? — сказала Анастасия.

Туманян залился краской и пригласил сесть.

— Как видите, комната моя на военном положении,— извинился он.

— Вижу, комната солдата...

И Анастасия опустилась на край постели и глянула на него искристыми глазами. Потом, без слов, навела порядок в комнате, взбила постель, соскребла чернила со стола.

— Я к вам приду еще...

Пришла через два дня, пряча под передником тарелку и щетку.

— Михаил Авакимович, не могу вас таким видеть! — воскликнула она.— Смотрю вот, смотрю каждый день, и сердце так и разламывается...

Подошла к офицеру так близко, что дыхание ее сме-

шалось с его дыханием, волосы коснулись его лица и руки обвили его шею. Началась безрассудная и счастливая пора любви.

И с того самого дня постройка корабля пошла с невиданной быстротой. Глаза Анастасии следили за каждым шагом офицера, за каждым движением и наполняли его сердце приятным волнением.

Егор Кожухин заметил близость дочери к офицеру, и дома у них разыгрались тяжелые сцены. Упрямый отец не раз грозился избить ее.

— Отец! — кричала Анастасия.— Говорю тебе, оставь меня в покое! Сердцу не прикажешь! Слышишь, отец? Уйду из дому! Навсегда уйду!

Мать, дрожа как лист, упала в ноги разъяренному мужу:

— Бей! Меня бей! Но ее не тронь! Не дай моей дочери уйти! Не убивай, батюшка! Не убивай!..

Егор Мартыныч зло швырнул об пол одну из книг дочери, ушел в комнату, заперся и два дня не выходил, не отзывался на уговоры ближайших родичей. На третий день вышел с аккуратно расчесанной бородой и попросил у всех прощения.

— Такова воля божья! — сказал он смиренным голосом.— Так велит всемогущий.

И больше о том ни слова.

Случалось, в поздний час, когда на дворе шумела непогода, Анастасия, закутавшись в шаль, с румянцем на щеках, с горящими глазами, приходила к Туманяну. Ласкала его, рассказывала о том, что слышала.

— Слушай, Мишенька, что тебе расскажу... Ты знаешь, от меня все скрывают, боятся, передам тебе... но ведь мать моя утаивать ничего не умеет: все на ухо мне нашептывает... Наши получают тайные сведения как из Сухого Фонтана, так и со стороны Дилижана... Ах, Мишенька, красные придут! Непременно придут!

— Не говори глупостей!

— Ой, нет, не глупости это. У наших есть точные сведения. Скажу тебе ясно: наши с красными заодно, им сигналы подают...

— Сигналы? Какие сигналы?

— Мать говорит, костры жгут. Освещают окна или

фонарь вывешивают... Передают сведения о проходящих войсках и еще о передвижениях твоего корабля... Как слышу, Мишенька, так сердце разрывается... Тебя могут убить, родненький! Тебя могут убить!

И, захлебываясь слезами, бросалась ему на грудь и судорожно целовала его.

Туманян успокаивал ее, на другой день принимал свои меры. Ночью стражники выстрелами гасили выставленные фонари. Приказывали завешивать окна. За неповиновение грозили арестом.

Несколько раз собирали мужиков, разъясняли, как ложна занятая ими позиция.

— Вы думаете,— говорил им Туманян,— что красные придут и дадут вам свободу и землю. А я вам говорю, что придут и разграбят все, что вами нажито.

Мужики слушали и, хмуря брови, молчали.

Артиллерия продолжала перепахивать берег.

— И впрямь взбесились, снарядов не жалеют...

— Слыхали, пришел человек из Нор-Баязета, говорит, правительство хочет договориться с турками о прекращении огня...

В ту же секунду вода вскинулась вверх и корабль сильно тряхнуло.

— К бою! — крикнул Туманян.— Право руля!.. Лево... Полный вперед!

Снаряды сыпались градом. Еленовка замерла в ужасе. В домах осыпались стекла. На острове жались к стенам монастыря. Купол древнего храма расползался трещиной.

Корабль подошел близко к острову, замер меж двух скал, стал ждать. На мгновенье все стихло.

Далеко ударили винтовочные залпы. Затрещали пулеметы. Озеро приняло эти звуки, размножило и эхом прокатило от берега к берегу.

— Наверно, воюют с нашими войсками,— сказал Маргар, заряжая орудие.

— Приготовиться!

Туманян поднял бинокль к скалам напротив. Грохот оружия шел издалека, ширился.

Поодаль от корабля разорвался новый снаряд.

— Огонь!

Орудие выстрелило, и корабль, содрогнувшись, подался назад.

— Еще огонь! Огонь! Право! Лево! Вперед! Полный вперед! Стоп! Огонь!

Корабль без конца носился и вел огонь.

Озеро звенело и грохотало.

В нижней церкви монах и инок, стоя на коленях перед ликами святых, молились.

Вздрагивали свечи. Гудел воздух, и казалось, вот-вот обрушится купол. По землистым лицам молящихся пробегала судорога, и из распахнутых сердец возносились жаркие слова молитвы.

— Господи, помилуй! Господи, помилуй!..

И господь стучал по земле огромными ногами, бия рассерженными кулаками в стены, по колоннам, по куполам. Откинув голову, широко раскрыв рот, поручив ветру длинную бороду, что есть силы он орал. И когда орал, звенели ближние скалы, ходили берега и озеро отзывалось синими криками.

Со лба молящих небо катился холодный пот, руки их дрожали.

А из кельи в глубине монастыря, где уже более двенадцати лет жил полоумный инок Аветис, слышался глухой хохот.

В определенные часы дверь его кельи тихо открывалась и показывалось страшенное создание. Большеногий, босой, с лоскутом одеяла на плечах, с высохшим лицом, горящими глазами, спутанной бородой и волосами, искусанными в кровь губами, отросшими черными ногтями, он входил в церковь. Замирал на мгновенье в дверях, потом, продвигаясь на цыпочках, подходил к алтарю, растягивался во весь рост и как кот мяукал.

— Господи, помилуй! Господи, помилуй!..

А там, в селе, стоя на крыше дома, держа в руках концы платка, обернутого вокруг шеи, Анастасия внимательными глазами следила за передвижениями корабля.

4

Эрьян каждый день ходил в больницу. Госпожа Вардуи совсем пала духом. Здоровье Мираняна день ото дня ухудшалось.

Лежа в одной из забитых койками комнат, он тоскливо смотрел вокруг и все требовал, чтобы его отвезли

домой. Запахи пота, ран, медикаментов, бесконечные стоны раненых не давали ему покоя. Когда умер оставшийся без обеих ног тысячник из соседней одиночной палаты, Эрьян, при содействии барышни Будагян, сумел перевести Мираняна туда.

С больным можно было видеться в определенные часы, обычно после уколов, когда он немного успокаивался.

В такие минуты он выставлял вперед выжелтевший лоб, облизывал сухие губы, приоткрывая глаза.

— Варя, милая,— говорил он тихо,— сейчас мне лучше, ты напрасно так убиваешься...

— Знаю... поправляешься... Еще немного, и мы поедем домой...

Жена говорила ему это и, глотая слезы, собиралась в комочек.

— Да, поедем домой! — радовался больной.— Знаешь, соскучился я что-то по музыке... Какая глупость воевать, истреблять друг друга! Жизнь так коротка! Так коротка! И так много хорошего — музыка, стихи, цветы...

Начинал задыхаться.

— Бабкен, милый...

Больной закрывал глаза и умолкал.

Иногда говорил бессвязно, сердился, отдавал приказы, бредил. Жена прижимала руки к груди и качалась в горе.

— Не понимаю,— жаловался больной,— внутри будто огонь перекатывается, кишки горят... Проклятые, не дают покоя, идут и идут...

— Кто, дорогой Бабкен, кто идет?

Не отвечал. Глаза смотрели в потолок. Мысли его бродили ощупью за пределами реального мира.

Жена чувствовала это и не повторяла вопроса. Знала, что неизбежное близится, но не хотела верить, хотела надеяться. Возможно ли, господи? Возможно ли? Силилась не потерять сознания.

Эрьян выходил из палаты и оставлял их одних. Что было сказать? Знал, что спасения нет. Пулю не смогли извлечь, гангрена началась, и больной держался на одних уколах.

Об этом узнавал он от барышни Будагян. Иногда она заходила в палату, быстро выходила и посылала туда Эрьяна.

— Госпожа Вардуи опять очень бледна, постарайтесь увести ее домой...

Эрьян вбегал и встречался с озабоченными глазами больного. Миранян ширил на него взгляд и просил сведений о своей части, о ходе боев. Не переча ему, Эрьян выдумывал тут же: «Турки отброшены на всех фронтах, и мир — вопрос ближайших дней».

— Как хорошо! Как здорово! — радовался больной и снова впадал в забытье.

Эрьян делал Вардуи знак — выйти. Та противилась.

— Еще минутку...

Только выходили на балкон, она зажимала платком рот и рыдала. Не хотела отходить от больницы. Тогда вмешивалась барышня Будагян, резко сообщала, что время посещений истекло и больному нужен покой.

Присутствие барышни было счастливой случайностью. Одну ее Вардуи и слушалась.

Что за чудесное создание эта барышня Будагян!

Больница походила на израненную страну. Все здесь было за пределами обычных норм. Операционные столы и минуты не пустовали. Каталки были в постоянном движении. Медикаментов и наркотиков не хватало. Врачи и сестры милосердия выбились из сил. С улицы несли раненых и не знали, что с ними делать.

Эрьян диву давался — как выдерживала на такой работе эта хрупкая девушка? И еще: как ошибочно порой первое впечатление. В ту ночь, сидя рядом с ней, он животным инстинктом почувствовал в этой дозревающей как плод девушке лишь женщину. Но вот жизнь перевернула страницу, и то же создание словно обрело душу. Сошло с лица капризное, самодовольное выражение девушки из обеспеченного дома, стерлись следы напускного, из Петербурга привезенного, и отпала надобность принудительной демонстрации интеллекта, что у женщин всего лишь одно из средств обольщения.

Теперь девушка обрела душу. Умылась в страданиях и крови.

Эрьян чутко следил за каждым ее движением. Нужно — не нужно, останавливал ее и задавал вопросы.

Барышня, склонив голову, внимательно слушала. На вопросы отвечала коротко и определенно. Если что обещала — выполняла тотчас.

— Простите, барышня...

— Я вас слушаю.

— Хотел вот спросить... больного нашего не могли бы оперировать снова и достать пулю?

— Я уже говорила вам... не от меня это зависит... Если врачи не хотят класть его на повторную операцию, значит, нет в том нужды и даже опасно...

— Нет, просто человек хочет надеяться... эта несчастная женщина...

Барышня заглядывала ему в глаза, словно хотела прочесть сокрытую мысль. Морщила лоб и щурила глаза.

— Да,— говорила,— несчастная женщина... Но взгляните только, что творится вокруг! Все мы несчастны!

Улыбалась.

— Каждый должен делать то, что обязан.

Поднимала руки кверху и быстро удалялась.

Ее слова оседали в голове Эрьяна, росли, светились. Не смысл их, а звучание, форма, интонация.

Ладно. А теперь что делать?

Кязим Карабекир-паша — турецкий главнокомандующий — предложил для прекращения огня слишком тяжелые условия. Сдачу Александрополя с прилегающей территорией, отвод армянских войск на пятнадцать верст за реку Арпачай.

...Неожиданно появился Пероняп.

Красно-алым шарфом обмотал шею, в светло-коричневом, очень длинном и очень старинном пальто и в желтых крагах.

Глаза опухли и выкатились, нос красный, и рот безостановочно двигался, будто жевал что-то.

— Пероняп! Где ты пропадал, друг?

— Это не существенно. Существенно то, что условия для прекращения огня приняты. Брат, нет, ты понимаешь, что я говорю: условия для прекращения огня приняты! Я знал, что так все и кончится, я говорил... А кто слушал?

— Да, ужасно! Постой, а где ты купил это пальто?

— На тифлисской толкучке. Английское... Торгуют, кто чем может... Надо бы видеть, что творится по доро-

гам... Беженец на беженце... проваливаются в снег, замерзают, мрут...

— Ладно, а при чем тут желтые краги?

— Я тебе о чем, а ты о крагах... Желтые, потому что мода такая во Франции: так говорят... Я ведь артист, новшества люблю... Пусть говорят что хотят: кроме как у большевиков, нигде нет спасения...

— Ты что говоришь?!

— Говорю, другого спасения нет. Ты что, хочешь, чтобы пришли турки, сели нам на голову? Хочешь разделить судьбу турецких армян? С русскими мы столько лет ладили и опять поладим... Говорил ведь я! Нет, отвечали мне, американцы придут... Пришли, как бы не так! Карс пал, Александрополь взят... Если Карс уплыл, Александрополь уплыл — что же осталось? На Арарате трехцветному флагу полоскаться бы, а вышло что — Арарат, взяв в руки шлепанцы, драпает босиком... Вот, смотри, здесь он и уже не здесь...

— И на деньгах ты Арарат печатал.

— Каких деньгах?

— И на деньгах ты Арарат печатал.

— Давно оставил это дело, на моем месте другой уже. Да, чуть не забыл, заехал в Батум по хлопковым делам, и одна русская женщина, узнав от консула, что знаю тебя, приходила спросить о тебе...

— Русская женщина?

— Русая, красивая. Шалишь, брат! Подробно расспрашивала о тебе... Сказала, что с братьями уезжает в Испанию, в Барселону... Что очень хотела бы, чтоб и капитан Эрьян поехал туда...

— Не помню. Не знаю, кто она.

— Не ври... Я тебе не ребенок!

Эрьян не ответил, и Перонян переменил тему.

— Я говорю тебе: на вулкане пляшем. Беда в том, что людей нет и вообще... Я, к примеру, артист, а чем занят? Деньги печатал, теперь хлопком торгую. Непостижимо!

Эрьян поднял руки, точно так, как это делала барышня Будагян, и, осознав это сходство, так и замер. Перонян удивленно глянул на него, откинул голову и громко расхохотался.

— Что смеешься?

— А что? Можно малость и посмеяться... Да, что го-

ворил... Значит, так, капитан Эрьян, значит, так: дела идут из рук вон плохо, очень плохо... Подумать только, что за эти два года вынесли? Горькие-прегорькие, ядовитые и напичканные наигранным воодушевлением годы... Бессмысленные бои, бесконечные жертвы... Думали, достигли своей цели. Собрали наши беды, наших беженцев, наши раны, нашу малярию, наш сыпной тиф, наши сожженные дома, наши хижины, наши тониры [1], наши две пары паровозов и десять пар наших ободранных вагонов, наши чудесные сады, наши величественные горы, наши скалы, наши голые-преголые пустыни и сказали: это наше! Мы этим довольствуемся, пусть только нас оставят в покое... А вместо этого погнались за авантюрами...

— Погоди, ты говоришь словами большевиков...

— Может быть... А что мы? Нас несколько сот тысяч человек, а их миллионы. Наша страна разорена и бедна, а их земли полны рудников и прочих богатств.

Перонян говорил, а его шарф горел языком пламени. Топал ногой, и желтые краги вспыхивали в лучах. Глаза блестели. Он продолжал:

— Ленин заявил, что наша независимость будет признана, а остальное не столь существенно. Говорят, коммунистические порядки — ну и пусть коммунистические... Мы — бедный народ, промышленности у нас нет... Если идут земли делить, сады делить — пускай делят... Что нам-то терять? Не так ли?

— Оптимист ты...

— Я? Оптимист?

— А что?

— Не видишь, что ли? Я — человек, попавший в огонь, который думает лишь о спасении своей шкуры... Передохнём, понимаешь, чуточку передохнём! Соберемся с силами, выгребем грязь нашу и пыль, залечим раны, там видно будет. Вот уже сотни лет пытаемся создать государственность и не можем создать...

Закинул за спину спадавший конец шарфа и смолк. И тут — как это он раньше не заметил — Эрьян увидел его огромные варежки из меха. Ярко-желтый лисий цвет их гармонировал с крагами, и потому ему показалось, что если Перонян и стоит на двух ногах, то это случай-

---

[1] Тонир — вырытая в земле печь, в которой пекут лаваш.

ность. Вот сейчас он опустится на четыре лапы и, задрав хвост, полулиса-полумедведь, побежит вразвалочку.

Жесты Пероняна, его мимика, глаза, брови, мясистый и бесформенный нос усиливали это впечатление.

Наверно, мысли Эрьяна отразились в его взгляде, потому что Перонян странно посмотрел на него и неожиданно спросил:

— Эй, ты чего зенки вылупил?

— Я? Зенки?..

Вполголоса обменялись вопросами.

Перонян продолжал:

— О том и говорю, многие тысячи лет уже лепимся мы к склонам этих гор, отстаиваем свое существование...

Под щетиной Эрьянова лица прошла судорога. Шумно вдохнул.

— Ну да! Жили сражаясь... Сражаясь за каждый камень. Народ хранил, защищал наши предания, наших богов, наши души. Истинные наши князья и господа — крестьяне. Они привыкли сражаться с природой и сражаться с врагами... Косой размахивают, как Давид Сасунский мечом. И мечом работают, как косой. Думал ты об этом, капитан Эрьян? Век за веком проходят, приходят притеснители, разоряют страну, жгут и уходят. А народ сидит на месте...

Эрьян слушал, удивленный.

— Говорим: мы — армяне! — воскликнул Перонян.— Каждый, кому не лень, говорит, что армянин, а что это — армянин? Сами смутно представляем... Быть армянином сложная и тяжелая доля...

Зло рассмеялся.

— Скажу тебе: быть армянином — жестокое и героическое дело. Не понимают многие этого. Что делаем сейчас? Живем идеалами, заимствованными у других. Не понимают, что то, что может быть к месту в других краях, не к месту здесь...

— Что за вещи ты говоришь сегодня?

Расширенные глаза Эрьяна остановились на нем.

— Знаешь, переполнило всего... Сверх меры!

— Понимаю, отчего же, понимаю.

В ту минуту проходили улицей двое.

Один небольшого роста, квадратный, с монгольскими глазами, смуглый, и другой — круглый, с вздутыми ще-

ками, выпяченным пузом, короткими руками и толстой красной шеей.

Завидев Пероняна, остановились.

— Вот наше лингвистическое общество,— представил их Перонян.

Они шли с базара. В одной руке держали корзину с продуктами, в другой — по книге.

— Ну, что нового? — спросил Перонян.

Те поставили корзины, опустили головы, разглядывая носки своих ботинок.

— А чего ждать? — ответил один.— Плохо.

Повернулся к другому. Тот продолжал:

— «Племя язычников издревле рычало зверем в логове своем...» А дальше как?

— «Рычало в логове своем...» Э, да я тоже запамятовал...

Склонили головы и, гордые познаниями своими, улыбнулись.

— Откуда это? — спросил Перонян.

— Аристакес Ластивертци [1],— вместе ответили ученые.

— Так, вечно одно и то же,— сказал Эрьян, хотя и не понял грабара.— Этот Ластивеци хорошо сказал.

— Лас-ти-верт-ци,— поправили его.

Улыбнулись.

— Как бы там ни было,— воскликнул Перонян, — не в том дело, а вот как выберемся из этого положения?

Ученые пожали плечами.

Подняли корзины, попрощались.

— Кулечки слов и цитат,— бросил им вслед Перонян.— Читают книги и мочатся статьями... Стали, пропсалмили дьячками, пошли дальше. Оставим их: ты что, на корабле живешь?

— На корабле!

— Хочу прийти взглянуть. Да, чуть не забыл, привез две бутылки отменной водки... Достать бы к ней закуски.

— Тут, к сожалению...

— Знаю. Да обожди ты: соленые огурчики есть, мясные консервы, лаваш... Ох, как вспомню увиденное по дороге, волосы дыбом встают... Ну, капитан Эрьян, до скорого... Загляну обязательно...

---

[1] Ластивертци — армянский историк X—XI веков.

И, переваливаясь на огромных ножищах, он удалился торопливо.

Эрьян глянул вслед.

Нет, шагал нормально, как человек...

По дороге домой Эрьян решил завернуть в больницу.

Но и двух ступенек не одолел, его остановили и сообщили печальную весть.

Миранян умер.

На другой день рассказали ему в подробностях.

В день смерти удивительно спокоен был. Попросил жену рассказать о положении в стране. Та рассказала все как есть. Сказала, что турки заняли Александрополь и предложили очень тяжелые условия перемирия, что Красная Армия близка...

Больной все выслушал без единой нотки волнения.

— Если они придут,— сказал он,— я не хочу здесь оставаться! Я хочу уехать! Непременно уехать!

— Куда, Бабкен, дорогой? Куда?

Не ответил.

Долго молчал, весь в своих мыслях.

— Знаешь, Варя, милая,— сказал наконец,— сердце киселя просит...

Жена бросилась домой, сварила кисель, привезла на фаэтоне. Больной поел с удовольствием, как-то торопясь, шумно, точно огонь какой гасил в себе.

— Вкусный! Очень вкусный! Теперь мне совсем хорошо...

Вытянулся и... умер.

В день похорон шел снег. Крупными хлопьями — сухой, почти теплый.

Эрьян, Федор Пантелеевич и Мартын из сил выбились. Вся тяжесть погребения легла на них: и могилу заказать, и гроб доставать, и попа найти, и фаэтоны нанимать. Труднейшее дело! В нескольких милях за городом шли бои — жизнь остановилась. Усохший город укутался в снег и умолк. Безлюдны улицы, закрыты магазины.

Священник с места не хотел двинуться. Пришлось ходить, просить, умолять, возмущаться.

— И что вам приспичило сегодня его хоронить? — говорил он неживым голосом.— Пусть денек еще побу-

дет, завтра, с богом, все уляжется и отнесем, похороним как положено...

Челюсть его дрожала, и руки не находили себе места.

И ко всему еще добавились требования госпожи Вардуи. Сразу после смерти, в больнице, разыгралась раздирающая душу сцена. Рыдала, кричала, вопила, рассыпая волосы, и под конец, побелев как стена, лишилась чувств. Отвезли домой, уложили. Всю ночь пролежала без движения — обессиленная, безголосая, желтая. Поднялась утром и, вдруг ожив, потребовала для похорон военный оркестр.

Военный оркестр... когда в городе солдат не осталось, когда в двух шагах шли бои, когда власть могла смениться с минуты на минуту.

Топнула каблуком:

— Не мое это дело! Муж мой был офицер... и это его право — быть погребенным с военным оркестром.

А на улице снег, воют орудия, город осажден.

В этом всеобщем замешательстве Федор Пантелеевич вел себя трезво и рассудительно, старался быть полезным. Мартын смотрел на него, улыбался.

С большим трудом сумели нанять два экипажа, но, едва подъехали к госпиталю, извозчики наотрез отказались везти гроб на кладбище.

— Гроб тяжелый, и в такой снег лошади не потянут...

Стали спорить, кричать, ругаться.

— Меньше чем за двадцать миллионов не можем... Ну, как хотите, меньше не возьмем...

Священник в рясе, размахивая серебряным крестом, пытался уговорить их сбавить цену. Федор Пантелеевич орал и грозился, что вызовет полицию. Госпожа Вардуи, закутанная в большую черную шаль, сидела в фаэтоне и плакала.

Наконец уговорили извозчиков. Но когда поднимали тяжелый гроб, кто-то поскользнулся, гроб накренился, крышка упала — и высунулись голова и плечи Мираняна. И невозможно было втиснуть его обратно и закрыть гроб. В таком положении погрузили и тронулись.

Федора Пантелеевича посадили к покойнику. На другом фаэтоне поехали поп, Эрьян, Мартын и госпожа Вардуи. Она забилась в угол и молчала. Поп, заслышав иду-

щие издалека звуки боя, каждый раз вздрагивал и, закрыв глаза, что-то нашептывал.

...Копыта лошадей скользили, фаэтон резко заносило, и Федор Пантелеевич поднимал крик, что гроб падает. Эрьян и Мартын бежали на помощь. Так большую часть пути и прошагали, придерживая гроб.

На желтое лицо Мираняна падал снег. Глаза были полуоткрыты, и нос как-то странно удлинился и вздернулся. Федор Пантелеевич смотрел на покойника, тихо беседовал с ним.

Снег ложился крупными хлопьями.

Добрались до кладбища, а могилу еще не вырыли.

Опустили гроб. Подождали.

Могильщик наваливался всем телом на заступ. Твердый грунт не поддавался, и человек выходил из себя.

— И земля не земля, камень один! С утра вот долблю, и хоть бы что, затвердела...

— Давай скорее, дорогой, покойник тебя дожидается!

— Покойник, он подождет. Это человек ждать не может... На сегодня и смерть подешевела. Вон, слышите, без конца ухает...

Священник озабоченно смотрел вверх и все слюну глотал.

— Ты не очень-то глубоко рой,— нетерпеливо, упавшим голосом сказал он,— какая нужда, лишь бы засыпать...

— Теперь-то ничего, а летом, не вырой глубоко, сюда и близко не подойдешь... Труп, он, как корни дерева, земли просит...

Священник, качая головой, бубнил под нос:

— «Обломаны ветви мои, как у пальмы; растеряны плоды мои, как у оливы, но без злобы и мести, помилуй покойного раба своего...»

— Что ты сказал, поп?

— Молюсь...

Федор Пантелеевич стал себе в сторонку. Смиренно смотрел на священника. Потом заволновался вдруг, в глазах проснулась озабоченность, и он быстрым шагом подошел к священнику, вытянул шею и стал философствовать:

— Ты мне, батюшка, вот что скажи, вот был человек — и нет человека... Был, и вдруг — не стало! И хотя

нет его, он не хочет совсем перестать быть... Вон, высовывает голову из гроба, и земля тоже, затвердев, не хочет его принять... Нет, ты скажи мне, батюшка, вот был человек — и нет человека... Ничего не понимаю! Ничего!

Священник пытался улыбнуться, тыча в небо пальцем:

— Бог, бог, господь...

— Какой бог? Господь сам по себе, мы сами по себе... Нет, ты вот объясни... был человек, и вдруг не стало человека... Эх, батюшка, и ты не знаешь, и я не знаю... В том-то и дело, в этом самом...

Священник смотрел виновато и, соблюдая приличествующую сану торжественность, шумно шмыгал носом...

Когда опускали гроб, госпожа Вардуи сошла нетвердыми шагами с фаэтона, подошла к могиле и во весь рост рухнула на землю. Эрьян и Мартын подняли ее и взяли под руки. Когда поп запел заупокойную хриплым и меланхолическим голосом, она простерла руки и в голос запричитала:

— И меня с ним! И меня!

Федор Пантелеевич, заслышав плач женщины, достал из кармана красный платок, шумно сморкнулся несколько раз подряд и, упав на колени, завыл не своим голосом, точно его резали.

Священник растерянно умолк, побледнел и, держа высоко кадило, застыл.

Эрьян и Мартын бросились к Федору Пантелеевичу, решив, что стряслась беда. Тот стал рвать на себе волосы и истерично бить себя в грудь.

— Не могу-у! Не могу-у-у!

Долетели звуки боя.

Священник, глотая треть слов, заторопился с молитвой и, качаясь, обошел кругом могилу.

В ту же минуту на другом конце кладбища со страшным грохотом упал снаряд. Все, естественно, попятились. Федор Пантелеевич, разинув рот, глянул в ужасе.

— Мы поехали! — крикнули извозчики.— Мы поехали!

Без единого звука все бросились к фаэтонам. Хлестнули лошадей.

Снег продолжал падать большими хлопьями.

5

Высыпало все население Еленовки.

Части Красной Армии из Дилижана шли на Севан.

Местные стражники исчезли. Остатки дашнакской армии, после нескольких дней неравных боев, получили приказ отходить. Предполагалось, что решающие бои будут у Сухого Фонтана.

На рассвете крестьяне проникли в монастырь и освободили заключенных коммунистов. Часть из них пошла навстречу красным. А другие, собрав население, организовали митинг. Ораторы поднимались на плоскую кровлю одного из домов и говорили речи о новой власти.

Дома украсились красными флагами.

Крестьяне, радостные и заинтересованные, слушали, не все понимали, думали о том, что будет дальше. Беспокойно вытирали свои лапти о снег и мысленно крестились.

Солнце. Мороз.

Крестьяне вполголоса разговаривали.

— Не понял, что сказал...

— А что тут понимать: русские идут, и все...

— Ну, раз идут, выходит, идут...

— Ну да, так и получилось... Поживем — увидим, как с нами обойдутся...

И все вытирали лапти о снег.

У берега, невдалеке от корабля, бледный, с искусанной нижней губой, стоял командир Туманян. Вокруг — вооруженные русские солдаты и юноша-армянин. Тут же — Егор Кожухин.

Вчера до полуночи корабль расстрелял последний снаряд. И когда не осталось уже надежды обороняться и отступать было некуда, держали совет с ребятами и решили сойти на берег. Бродили долго, но никого из военных не нашли. Воинская часть отошла, местные стражники исчезли.

— Ну, раз такое дело,— сказали ребята,— и нам пора о себе подумать...

Туманян взорвался. Никаких приказов из центра не поступало, и бросать корабль не имели права. Могло быть, что войска пошли в сторону Дилижана, остановить красных. Уйти, оставить корабль — противоречило воин-

скому уставу. Лучший выход — дождаться утра: на рассвете все прояснилось бы.

— Ложитесь отдыхайте, завтра увидим,— приказал Туманян и ушел к себе.

Ушел к себе и, не раздеваясь, опустился на край постели. Удивительно, что Анастасии не видно. Если ему угрожает опасность, она обязательно дала бы знать. Может, придет еще? Подошел к окну и прислушался. Нет, шагов не слышно. И никаких других звуков тоже: все было придавлено глубокой тишиной.

Сон не шел. Словно чья-то тяжелая рука давила на сердце. Заходил из угла в угол. Снова постоял у окна, прислушался. Никто не шел. В конце концов, это был добрый признак: это означало, что Анастасии нечего сообщить нового и нет причин тревожиться. Завтра чуть свет разведает обстановку. Если не будет вестей из центра, отправится в город добывать боеприпасы.

Повидает отца.

Огромная волна сыновней нежности захлестнула сердце. Никогда раньше желание видеть отца не было таким сильным. Глаза полны были слез, и губы дрожали.

Несчастный отец, и несчастный он сам.

Последние годы оба они чего только не перевидали! Все рушилось у них под ногами. И вот однажды озарены были новой надеждой, новым и прекрасным сном о далекой родине. Мечтали найти здесь приют любви и утешения, зажить новой, возрожденной жизнью, все силы отдать созиданию страны.

Далекая родина!

Ничего не знал он об этой родине. И что представляли собой бессарабские армяне! Несколько старцев, которые вечно враждовали из-за церковных дел и приходской школы; несколько старух, которые примешивали к русскому мудреные армянские слова, прикладывались к толстой и волосатой руке отца Керовпе, хранили вековые обычаи и готовили сложные вкусные блюда.

Для него быть армянином почти ничего не означало. Какое-то смутное и неясное чувство, родившееся в нем помимо его желания... И вот естественный порядок в его душе вдруг был нарушен. Какая-то сила опрокинула всю его сущность, потрясла, и неожиданно из ее глубин вырвались наружу тайные связи и влечения, о которых до того и не помышлял.

Помнил радость отца и друзей его, когда пришла весть о создании республики в Армении. Расстелив на столах карту, эти мужчины и женщины часами спорили и мечтали. В зале школы, в церкви, по клубам шли бесконечные собрания, и люди со счастливыми и озаренными лицами говорили речи, тыча указательным пальцем в заветную даль.

Когда они с отцом решили ехать,— провожала их вся колония.

— Поцелуйте родную землю! И сделайте все возможное, чтобы и мы могли приехать в скором времени...

Дорогой натерпелись трудностей. Ехали в вагонах для скота, днями ждали на станциях, валяясь в грязи, кормя вшей.

— Ничего, Миша, ничего,— повторял отец,— это последние трудности, вот приедем в Айастан, увидишь... Английский путешественник Линч описывает Араратскую долину с восторгом, он говорит...

И отец, чуть прикрыв глаза, заученно воспроизвел великолепную картину, нарисованную чужестранцем.

Разумеется, Айастан был не тот, о котором мечтали. Нагота, разор, обездоленность. Но — великий, таинственный, захватывающий.

— Ничего, Миша, ничего,— продолжал повторять отец.— Айастан беден, но он наш, понимаешь? Необходимо поднять, впрячься в дело... Да, гол, беден, зато наш, понимаешь?!

И впряглись в дело.

Вот.

Ах, увидеть бы ему отца!

«Ну, папаша, а теперь что будет? Красные идут... Лучше вернуться в Бессарабию: как-нибудь выбраться и вернуться в Бессарабию. Не отрываться нам: не стоит, чтобы ты без меня остался и я, папаша, остался без тебя...»

Думал так, и дурные предчувствия угнетали его.

Шагал из угла в угол. Замирал у окна, прислушивался. Анастасия не шла.

А дело было в том, что Егор Кожухин запер Анастасию в доме.

Девушка в отчаянии колотила кулаками в дверь, жаловалась, кричала. С воем билась об стены... Проклиная отца, поносила.

— Открой дверь, сатана!.. Разбойник, убийца, открой дверь! Открой, или я себя убью, головой об стенку убьюсь!

— Замолчи, бесстыжая! — рыча ответил Егор.

— Говорю тебе, открой дверь, ты не имеешь права запирать меня! Открой, не то худо будет! Слышишь, проклятый, слышишь?.. Я проклинаю тебя, отец! Я проклинаю тебя!

— Замолчи! Хочешь погубить себя? И так все знают, что ты с этим армянином связана... Хочешь, чтобы красные из-за тебя всех нас сничтожили? Хочешь, чтобы говорили, что враги мы? Контрреволюционеры?.. Замолчи! Я тебе приказываю, замолчи!..

— Не буду молчать! Если не выпустишь меня из этой комнаты, когда придут красные, я стану на крыше и закричу: «Эй, слушай, народ! Слушайте, люди добрые! Егор Кожухин, который стоит тут, подлый обманщик и разбойник! Говорю вам, потому что я дочь его, потому говорю вам: он контрреволюционер, кулак и эксплуататор... Не верьте ему, люди! Не верьте ему!»

— Я говорю тебе, сиди тихо. В селе шпионы кругом... Ты что, всю нашу общину погубить хочешь? Хочешь, чтобы из-за тебя все молоканство разогнали, сничтожили? Из-за дочери Егора Кожухина? В селе все знают, что ты шпионила за нами, шла и открывала все наши тайны этому бывшему царскому офицеру... Завтра, когда красные придут, тебя могут арестовать, расстрелять могут...

— И пусть хватают! Пусть сажают! Пусть расстреливают! Ты выпусти меня! Лучше выпусти! Не то такой крик подниму, что с улицы подумают — режут меня... О-о-о-о!

Мать бросилась к двери, припала грудью и взмолилась:

— Ну, ну, Анастасенька, в своем уме ли ты? Нешто опозорить нас хочешь? Ну, ну, Анастасенька!

— О-о-о-о!.. О-о-о!

— Ты впусти меня к ней, Егор, утишу ее.

Кожухин впустил жену и снова запер дверь.

Анастасия упала матери в ноги.

— Отпусти, матушка, Арина Матвеевна! Отпусти, голубушка! Отпусти! Если не пойду, не предупрежу, завтра его могут убить... Я его люблю, мать! Я его люблю...

— За что убьют? Никто его не убьет...

— Я знаю! Ох, я знаю! Наши же мужики выдать его решили... Я знаю, решили отсюда его не выпустить...

— Угомонись, Анастасенька! Угомонись!

Анастасия каталась по полу, рвала на себе волосы, ломала руки, умоляла, выла и наконец, поднявшись, сорвала с себя платье и показала вздувшийся живот:

— Беременна я, пойми! От него беременна!

И две женщины стали выть вместе.

Туманян ждал, мучился.

Никогда еще одиночество не угнетало его так. Никогда не был он несчастнее. Достал фотоснимок матери, долго смотрел. Почувствовал себя беззащитным, покинутым.

Снова лег — собраться с силами. Чуть свет уже должен шагать к Еревану. Отец, видимо, в курсе передвижений: наверно, он тоже не спит, тоже ходит по своей комнате из угла в угол, тоже сам с собой разговаривает.

— Ну, Миша, так, значит, получилось... Ничего, Миша, снова вернемся в Бессарабию; ничего...

К половине пятого утра Туманян вскочил с постели и стал готовиться в дорогу. Умылся холодной водой, освежился.

На дворе темень еще, но рассвет уже ощущался.

Холод полоснул как ножом.

Помахал руками — согреться чуточку. Спрятал фото матери в правый карман на груди, потом переложил в левый: к сердцу. Несколько других бумаг сунул в правый карман. Пожитки: носки, две рубашки, несколько писем — увязал в платок. Другого добра не имел.

Внимательно осмотрел все. Ничего не оставил, не забыл.

На столе заметил кусок хлеба; хотел съесть, да передумал: лучше в дорогу взять.

Следовало торопиться. Надо пойти разбудить ребят и поручить им корабль. А в городе он сразу же в военное министерство пойдет и сделает необходимые распоряжения.

Распахнул дверь, и снег и тьма прилипли к глазам.

Стал. Повел плечами: крепкий мороз. Озеро погрузи-

лось в тяжелый покой. На краю неба бродили тусклые огни. Снег отливал темно-синим.

Далеко закричал петух. Тишина стала глубже.

Туманян направил шаги к ближайшему белому домику. Подошел и у дверей обернулся. Ему почудилось, что шаги его продолжают идти за ним.

Нет, ничего не видно.

Постучал. Не ответили. Постучал сильнее. Дверь была открыта. Вошел, окликнул. Никого. Ясно. Ребята ушли ночью.

Почему ему не сказали?

Полные грусти глаза уставил в темень. Не того ждал. Вместе воевали, рисковали жизнью, презирали смерть — и вдруг так вот...

Всем телом мерз.

Вышел и быстро направился к кораблю. Спустился к берегу — ни души. Пришвартованный к причалу корабль вытянулся над водой как тень, задрав рыла своих пушечек. Сердце сжалось. «Ашот Еркат» стоял сиротливый и одинокий: ткнувшись носом, совсем как он сам. Отеческая ласка проснулась к кораблю. Он его создал, вместе прошли боевую жизнь...

Тряхнул головой. Пошел мимо домов через село. Жители еще спали: ни огонька в окнах. Задержал шаг возле дома Анастасии. Ставни закрыты. Странно, что не пришла и никаких вестей от нее. Наверное, в Сухой Фонтан уехала, к родственникам. Там остановится, выпьет молока у крестьян, расспросит об Анастасии. А если и там ее не будет, выходит, в Ереване она. Как хорошо: встретятся в Ереване.

Свет уже схватился с тьмой. Снег все больше бледнел, и по озеру ходили белые пятна. Кое-где лучи вспыхивали. Этот свет озарил его сердце.

Как и всегда, в эти минуты пробуждения дня запела в нем первая строчка бодрого морского марша. Эта песня разбудила в нем воспоминания: всплыла знакомая картина. Матросы в струнку стоят у передней мачты боевого корабля, подняты флаги, адмирал со своими офицерами поднимается наверх, духовой оркестр гремит маршем.

Рука потянулась к карману, нащупала хлеб. Острый голод испытывал. Достал, откусил, сунул обратно. Жуя пошел.

Там, где кончалось село и начинался спуск, стояли

трое. Смотрели в его сторону. Когда подошел ближе, шагов на десять, заметил, что один из них — Егор Кожухин, отец Анастасии. Другой, коротышка с желтой бородкой, тоже молоканин, а третий — кряжистый, широкий в плечах, с круглой папахой на голове, с оружием — армянин был вроде.

Хлеб так и застрял в горле.

Проходил мимо — стали на пути.

— Ты куда? Куда так идешь? — спросил Егор.

— В город иду,— ответил Туманян.

— Нет! Нет! Нет! — вращая злыми глазами и качая головой, сказал Егор.

— То есть как?

— А так! Где был до сих пор, там и сиди...

— Велено тебя не выпускать... Так!

Туманян разжевал до конца хлеб во рту, проглотил и растерянно посмотрел на них.

— Не понимаю,— сказал.

— Тут тебе никаких «понимаю — не понимаю» нет,— вмешался третий.

— Должны подождать, пока наши придут...

— Наши?

— Да! Красноармейцы... Военно-революционный комитет.

— Мне их ждать ни к чему,— возмутился Туманян,— я иду в Ереван, у меня там дела...

— Приказа вам нет идти.

— Приказа?

Хотел рассмеяться, показать, что не боится таких угроз,— не смог: губы скривились и так застыли. Вдруг осознал, что в ловушке. Оружия при нем не было.

— Пропустите, у меня нет времени! — крикнул и, сжав кулаки, бросился вперед.

Отрезали путь.

Толкнул их что есть силы. Один схватил за воротник и ударил кулаком в лицо. Другой сзади ударил по затылку. В глазах запрыгали искры; закачался. Из нижней губы хлынула кровь.

Приставили револьверы к груди.

— Зачем? Зачем? — прошептал он, поднося руку к губе.

— Ты лучше делай, что говорят... Сопротивляться бес-

полезно, все равно не уйдешь! — сказал Егор, не глядя ему в лицо.

— Чего вы требуете?

— Ты давай иди!

Сейчас он стоял на берегу невдалеке от корабля.

Освобожденные местные большевики сразу включились в работу, выступали с речами. Несколько человек из них пришли, стали подле Туманяна.

Он стоял оцепенелый. Будто упал с большой высоты, все тело раздроблено, онемело. Из разбитой губы продолжала бежать кровь: на бороду, грудь, руки. Опухшее, в синяках, лицо белело мелом. Жили только детские, широко раскрытые глаза.

Обращал глаза к ведущей в Ереван дороге и ждал. Ему казалось, должны прийти оттуда люди и спасти его. Отец и другие. Непременно должны прийти.

Не шли.

Недавно выступавшие здесь ораторы, клеймя дашнаков, указывали пальцем на него. Он был чудовищем, изменником. Туманян этого не понимал, растерянно оглядывался вокруг... Он никого не эксплуатировал: сам ходил в развалившихся ботинках, сидел на хлебе и сыре, мерз, мучился, не спал ночами... Любил свою несчастную родину и защищал ее...

Он заметил: крестьяне все это знали и все же злобно поглядывали на него.

Порой сознание обострялось, понимал свое положение и готов был с ума сойти. Хотел рычать, как зверь, попавший в клетку:

— Да, я служил своей нации, был верен воинскому долгу...

Губа вспухла, набрякла, повисла: больно было слюну глотать.

...Издали послышалась песня.

— Идут! Идут!..

Крестьяне толпой ринулись навстречу, выкрикивая приветствия. Распахнулись окна, и высунулись головы. Другие поднялись на крыши.

Туманяну стало не по себе. В глазах потемнело, лицо

стало одного цвета с мокрым цементом. Несмотря на это, инстинктивно выпрямился, стал навытяжку. Руки по швам, голова прямо.

Сперва проскакал отряд верховых, потом два автомобиля проехали. Затем с пением «Интернационала» вошли части Красной Армии.

Туманян слышал голоса: шумели, пели. Он заметил, что красноармейцы одеты плохо. Кто форму носил, а кто в рабочих тужурках ходил. У кого винтовка на плече висела, у кого за спиной, а третьи просто в руке держали. Оживленны были: смеялись, пускали шуточки, останавливались, закуривали, заговаривали с сельчанами.

— Товарищи! Сюда! Товарищи, не останавливаться!

Товарищи не слушали. Толпились перед домами, откуда молокане выносили молоко и хлеб. Голодны были. Здоровыми зубами откусывали хлеб, жевали, запивали молоком. Это было так естественно и человечно, что Туманян стал отходить от страха и с вниманием их разглядывал. Так просто жующие и смеющиеся люди не могли причинить ему зла. На него внимания даже не обращали. Проснулся голод и в нем.

Первые отряды прошли, и пришли новые.

Им тоже выносили хлеб и молоко. Где-то запела гармошка. Стали петь хором. Многие девушки села присоединились к ним. Собрались в круг, и двое плясали. Мелодия знакомая, и танец тоже. В морских странствиях, по праздникам и воскресеньям, матросы точно так пели и плясали. Вспомнил: был среди них молодой и горячий парень, из Керчи, Матвей Микулин. Совсем как резиновый: без костей, как мяч подпрыгивал...

— Вот он, стоит там!

Туманян услышал и очнулся. К нему шли с ног до головы вооруженные люди. В папахах. С виду армяне. Желтоликие, с маленькими, поблескивающими, колючими глазками.

— Ваше имя? — спросил один, худой, с короткой шеей, большеголовый.

— Микаэл Туманян...

— Бывший царский офицер?

— Да!

— Вы командовали этим корабликом?

— Командовал.

— Сам он и строил,— вмешался Егор.— Сам построил и вооружил!

— Ничего. Теперь он безвреден... Уведите пока, потом разберемся.

— Я,— сказал Туманян,— я!..

— Идите с этими товарищами, там все объяснения и дадите...

Чуть погодя за крайним домом села ударил залп.

В селе продолжали плясать.

6

На «Альбатрос» Перонян пришел торжественный и грустный. Принес водки и закусок.

— Посидим в этой абстрактной палате твоих снов, на поднявшемся на вершину несчастий корабле-призраке и выпьем...

— Высоким стилем начал... Никак из Константинополя едешь?

— Заметил ли ты, что всякий раз, когда дела идут скверно и, так сказать, говорить, собственно, нечего, многие армяне переходят на высокий стиль... Оставим: ровно в четыре заедет за мной автомобиль и заберет. Ночь принадлежит нам, спать я не собираюсь, а если и хотел — глаз бы не сомкнул.

— Ты прямо в окопы?..

— Да! От министерства везу деньги и прочее.

— Ничего не понимаю: говорили, заключено перемирие.

— В последнюю минуту турки передумали, нашли условия неприемлемыми. Узнали, что Лига наций отказала Армении и Грузии в членстве, дабы не быть обязанной оказывать этим нациям помощь. Турки, пронюхав про это, выдвинули такие условия, что нам остается разве только принять смерть в бою...

— Лига наций? Вот тебе и человечность!

— Нет человечности, есть волчность...

Перонян выглянул за дверь.

— Нет человечности! — повторил он.— Есть лишь эта густая, беззвездная, темная ночь, обутая в резиновую обувь... Чтоб не слышны были ее вкрадчивые шаги... Выгляни — тьма и безмолвие...

— А друзья твои где?

— Подойдут, видимо...

Вскоре появились Мартирос Уранян и Стэпан Бандуни. Они тоже с вином и закуской пришли.

Федор Пантелеевич при виде гостей наскоро причесался и принял торжественный вид. Всё выложили на стол и ели. Аппетита ни у кого. Светильник выдохся — жгли свечи. В каюте теснота, полумрак..

— Такие дела! — вздохнул Уранян и умолк..

Смуглый, подвижный Уранян — врач. Несмотря на университетское образование и прожитые в Петербурге годы, остался крестьянином. Простым, честным, упорным, как и все крестьянство Карабаха. Разделял взгляды русских социал-революционеров, сторонник федерации наций, террора, философии Бакунина и Михайловского. Оставаясь один, в полный голос, с сильным армянским акцентом читал Короленко, и глаза ему застилали слезы.

Стэпан Бандуни — высокого роста, в очках — чем-то напоминал плохо вбитый в землю и качающийся кол. Отличные зубы блестели, близорукие глаза щурились под стеклами. Несмотря на плаксивые свои писания, любил жизнь и с полным эгоизмом брал ее дары. Воспитанник духовной академии. От него, как и от всех семинаристов, пахло рясой, хотя он всегда с жаром осуждал клерикалов.

— Братцы, стаканы полные ждут, и никто не пьет...

Не пил и Федор Пантелеевич. После второго стакана забился в угол, и плечи его дрожали. Лицо поблекло, глаза заволокло. Эрьян стал беспокоиться за него: старился на глазах. Вечно жаловался — здоровье, мол. В кармане держал маленький образок. Оставаясь один, целовал его и часами с ним беседовал...

— Полные стаканы, и не пьете...

— Пошли-ка ты этого больного спать: жалко его... Ну, Федор Пантелеевич, так, значит...

— Вот здесь, доктор, вот здесь... Не понимаю — давит все...

— Выберу денек, обследую вас... А пока ложитесь, отдохните...

— Верите, ложусь только, и... Откуда только берутся? Духи, целые тучи духов... Будь они прокляты!

— Не вас одного — всех нас окружают духи... Заполонены мы...

— Почему не пьете? Не понимаю!

— Ни аппетита нет, ни настроения.

— Верно сказал, доктор, все мы окружены духами... Злыми, жестокими духами, мстительными... Нет! Стоит человеку подумать...

— Духи внутри: в телах людских, в мозгу... Злой дух — дух посредственностей...

— Мы не были подготовлены к грозным событиям...

— В том-то и дело. Подготовлены были только к мелкой, ползучей, повседневной жизни... Врачевали, учительствовали, аргументировали: укрывались под посредственным партийным одеялом. Вмешивались в церковные, школьные дела, собирали деньги для беженцев, перебрасывали какие-то крохи оружия, проводили тайные собрания... Я о так называемых интеллигентах говорю...

— Против волков европейской дипломатии мы выставили бывших учителей приходских школ.

— На Берлинском конгрессе хитрейший Дизраэли увидел перед собой наивного и тщеславного Хримяна...

— Нам нужен был Гарибальди.

— Большие события — маленькие люди...

— Только народ остался на своей духовной высоте. Это он, с завидной стойкостью и невиданным героизмом, вынес тяжесть испытаний.

— Выпьем за наш народ!

— За это стоит, выпьем!

...Голубая ночь обтекала корабль. Издалека шли приглушенные звуки битвы и, отдаваясь эхом, разбивались волной и умирали у ворот города.

— Перонян, я очень хочу поехать с тобой...

— Если в автомобиле найдется место... А твой корабль? Как он без капитана плавать будет?

— Корабль наскочил на риф. Моря, увы, испарились, и плывем мы по волнам тьмы... Видишь, и я высоким стилем начал... Нет, ты возьмешь меня с собой!

— Завтрашнее сражение с турками решит. Или погибнем, или...

— Что бы ни случилось, красные придут. Придут русские. Они уже на Севане.

— Не русские это, а большевики...

— Какая разница?

— Есть разница, Бандуни. Прежде всего, идущие —

в большинстве своем это армяне, и только вспомогательные войска состоят из русских. И потом — принципы царской России и России сегодняшней разнятся. Принципы царского господства известны нам: грубая сила, ассимиляция, деспотизм. Большевики — другие, они воодушевлены другими идеалами. Теперешняя Россия — хаос, и большевики прилагают огромные усилия как-то преодолеть этот хаос.

— Не понимаю, зачем надо нам быть с ней, с новой Россией?

— Это уже другой вопрос, Бандуни. Красная Россия провозгласила братство народов... На иной основе она ищет объединения наций...

— Нам надо воспользоваться этой исторической возможностью и залечить свои раны...

— Ленин сказал, что Армения нуждается в орошении, в каналах, в интенсивной обработке земель,— вставил Эрьян.

— Да, это истина.

— Айастан должен возродиться, вновь воссоздаться... Великая драма этого воссоздания размечена действиями. Действие первое: страшная трагедия западных армянских областей. Действие второе: концентрация армян на родной земле. Действие третье: материальное восстановление Айастана. Четвертое: материальное и духовное возрождение Армении и начало нового исторического периода...

— Ну и оптимист ты, Мартирос!

— Не оптимизм вовсе, а мое убеждение. Знаю одно: когда тело устало — нуждается в отдыхе, стремится восстановить свои силы. Мы должны восстановить самих себя, перестроиться. Не так ли, Бандуни?

— Не так! Перестроиться можно лишь духовно, став на путь вольных и непринужденных исканий, а не по чужому велению...

— Это слова интеллигента,— вставил Пероняи,— не соответствующие реальному положению вещей.

— Как, ты отказываешься от принципа свободы?

— Нет, голубчик, прежде надо подумать о народе...

— Народ! Народ! А что мы знаем о народе?

— Вот в том-то и дело...

— Я — крестьянский сын,— сказал Уранян,— и могу сказать вам, что народ спокойно останется на своем ме-

сте, как остается на месте скала после бури, метели, бурана. Мы плохо знаем народ: наш и его мир, наши и его чувствования отличны. Я жил в селе, я знаю... Мы утратили основное это качество, эту глубину, эту связь с природой, которой наделен он... Мы бежим за временем, тогда как он, твердо стоя на своей земле, пропускает время течь мимо себя... Нетерпеливые и нервные, мы участвуем всей полнотой мысли в движениях жизни, а он — спокойный и невозмутимый — уступает дорогу этим движениям и смотрит на людей и события с высоты, нам неведомой. Он чувствует себя реальным, как реальны поле, гора, страна и солнце.

— Братья! — воскликнул Эрьян.— Вы тут уже о чем только не говорили, а что с нашими границами будет? Без Сурмалу, без тех земель, что мы потеряли, как без них жить будем?

Все задумались, замолчали.

— Это, конечно, важный и большой вопрос,— сказал Перонян,— очень важный... Но надо признать, что большая часть наших трудностей и возникла, собственно, в связи с землями. Каждый армянин хотел объединения земель своих. Нас принудили заняться этим, оказали моральное давление, и, можно сказать, это и погубило правительство...

— Зажглись дашнакским умонастроением, забыли о государственной политике...

— Это преступление.

— Так оно и есть,— согласился Уранян.— Сперва государство притесняет народ, а потом всякие там буржуазные партии...

— Вот Бакунин наружу и выплыл,— смеясь сказал Перонян.

— Вы снова отвлеклись. Я говорил о границах, а вы Бакунина приводите,— сердито сказал Эрьян.

— Ты что думаешь, Уранян?

— Я думаю, что пока вопрос о границах — дело второстепенное. Цель народов — культура; а культура — это глубина, а не территория. Разве вы забыли про малые цивилизованные народы севера Европы? В труднейших условиях, в борьбе за каждый клочок земли они благоустроили свои страны. Это — культура!

— Так-то оно так,— сказал Перонян.— Надо начинать с самого элементарного. Надо забыть прошлое, хотя бы

временно, и начать все сначала — с чистым сердцем и ясными глазами.

— Ты прав!

— ...Бутылка вина еще осталась...

Федор Пантелеевич, который все это время пребывал в полудреме, вдруг открыл глаза, удивленно огляделся и, потрясенный преследующей его мыслью, поднялся и с мольбой в голосе сказал:

— Господа! Я хочу пойти...

— Куда вы так, Федор Пантелеевич?

— Куда? Не знаю... Я ничего не знаю, ничего не знаю! Хочу пойти, хочу бежать куда глаза глядят... Господа! Был у меня сын... С маленькими желтыми усиками, с голубыми глазами, с таким умным лбом... И вот...

Развел разочарованно руками, и глаза налились слезами.

— Мой сынок... Маленькие желтые усы носил... Я не могу, понимаете? Я не могу... Я ухожу...

Сказал и сел на место.

— Расклеился. Оставьте!

— Вот сидим себе, пьем, говорим, спорим... Человек спорит, потому что боится думать...

— Ну да...

— Верно. Когда человек замолкает на миг, кажется, что кто-то приближается грохочущим шагом... И человек говорит, спорит, чтобы забыться.

— Ну да...

— Человек просто задыхается и — ни крикнуть, ни позвать на помощь... Даже вино не берет: чем больше пьешь, тем трезвее становишься... Бывает еще, человек немеет, не чувствует своего тела, будто говорит: «Меня здесь нет»... Разочарованность это...

— Оставим болезненную впечатлительность...

— Какую впечатлительность? Я истинно говорю...

— Пусть будет как будет... Что мы можем?

— Легко говорить так... Что же, мы — верующие фанатики: что написано — то случится?

— Если и написано — то все разное... Коран, Библия, Заратустра...

— Шутки в сторону: хотел бы знать, о чем в эту минуту католикос думает?

— В эту минуту католикос спит и ни о чем не думает...

— Если есть некто, кто, убитый горем, ходит по Айастану, так это наш сосед Абовян...

— Ходит и готовит второй том «Ран Армении»...

— Но и на его долю выпали страдания!

— ...Коллежский асессор Абовян на рассвете вышел из дому и не вернулся...

— И его проглотил мрак Айастана...

— Боже, что за длинная ночь!

— И пусть длинная. Все равно рассвет радости не принесет.

— Ужасна эта неопределенность. Каждый из нас отныне Абовян: был, и нет тебя...

— Сменяется действие, сменяются декорации, и ты убегаешь за кулисы. События накладывают на лицо твое новую маску, ты не тот, кем ты себя считал...

— Если не тот, так кто же?

— Это жалкая философия...

— ...Вина не осталось...

— Который час?

— Около четырех, автомобиль не пришел.

— Я на всякий случай приготовлюсь.

— Стойте, кажется, машина идет...

— Нет! Ничего не слышно...

— А мне показалось...

— Да, это он!

— Федор Пантелеевич, я вернусь только вечером... Не спускайте глаз с корабля, прошу вас! Вот уже сколько дней пес не возвращается, кто знает, где его носит? Прибежит, привяжите. И вообще, Федор Пантелеевич, черт возьми, держитесь молодцом! Ну!..

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

С Канакера гремел «Интернационал». Спешно сматывались флаги Армянской буржуазной республики.

На тротуарах высыпавшие отовсюду группы юношей ликовали, кричали «ура!». Многие, столпившись здесь и там, с любопытством смотрели и ждали — что будет дальше?

На самом верху центральной улицы какой-то дашнакский министр с каким-то хмбапетом — с разлитой по бессонным лицам желчной улыбкой, беспокойно шаря по сторонам глазами — поджидали.

Они приехали приветствовать Красную Армию и руководителей партии большевиков.

Наконец заслышали стук копыт.

Показались люди. Заиграли трубы. «Интернационал» — громом меди и железа — торжественно прозвучал над городом, над всей равниной.

— Пусть каждый продолжает заниматься своим делом...

Члены комитета партии, запыленные, вышли из автомобиля, вошли в один из домов по улице Налбандян, руками сбили пыль с одежд, топнули затекшими ногами, сели за круглый стол, закурили и объявили собрание открытым.

Перед домом, винтовка к ноге, встали солдаты.

Парни в кожанках, с револьверами на боку, забегали взад-вперед, торопливо вошли в здание и тут же выскочили, ушли кто куда.

— Пусть каждый продолжает заниматься своим делом...

Пока войска, выставив древко с красным флагом, проходили улицей, население восторженно приветствовало их криками «ура!».

Ничего не случилось.

Затворившиеся в домах мужчины и женщины подошли к окнам, боязливо отодвинули занавески, посмотрели, прислушались и, видя, что внешне все спокойно, тихонько приоткрыли дверь на улицу, стали на пороге с видом невинных зрителей, глянули по сторонам, потом — будь что будет! — сдерживая мелкую дрожь в коленях, вышли на улицу.

Прошлись. Вверх-вниз.

Даже стали громко разговаривать. Засмеялись с деланной искренностью, как и подобает наивным людям, далеким от политики.

— Братец, армяне же они? Такие же, как мы, армяне...

— Армяне, да.

Многие даже встретились со старыми знакомыми — большевиками. Протянув руку, бежали их приветствовать. Шумно радовались...

— Кто? Аракел? Да мы с ним как родные братья были, хлеб-соль делили долгие годы... Должен сказать: парень он достойный...

Аракел или Маркос на такие приветствия отвечали вежливо, сдержанно улыбаясь.

Иные вставляли в разговор имена Маркса, Энгельса, Ленина.

— Ну, Маркс об этом сказал определенно...

Слушали и наблюдали.

— Пусть каждый продолжает заниматься своим делом...

Была зима.

В дымоходах тревожно мяукал ветер. Порывистый ветер подметал снег с крыш. В городском клубе ни души.

Магазины давно на запоре. В доме на улице Налбандян продолжалось собрание комитета.

Там, на скале, дрожала палуба корабля и пустая труба пела.

Капитан Эрьян, сидя перед огарком, снова, в который раз, перечитывал письмо. Вот уже несколько дней носил его в кармане и все не решался вручить барышне Будагян. Завтра опять пойдет в больницу под предлогом, что воспалилась старая рана на плече. А какой толк? С самого начала знал, что последует дальше.

— Ах, это вы, капитан Эрьян? Хорошо, что зашли... Всего минуточку, и я вся буду потом в вашем распоряжении...

И все это — не глядя ему в глаза, расхаживая из угла в угол, протирая флаконы с лекарствами, перекладывая с места на место вату, выходя из палаты и входя с озабоченным лицом.

Он должен был ждать, на ногах, как провинившийся мальчик. Со щемящим сердцем, оробелый.

— Если вы так заняты, милая барышня, я могу в другой раз зайти...

— Нет! Нет! Будьте чуть терпеливее, сейчас займусь вами...

Понятно, что ходила взад-вперед без всякой надобности, силилась выглядеть равнодушной, хотела скрыть свои чувства.

Да! Скрыть свои чувства.

Оба они знали об этом и ничего не могли поделать. Боялись. Боялись и мучились. Зачем?

— Ну, показывайте ваше плечо...

Эрьян снимал пиджак, протягивал руку и внимательно следил за каждым ее движением.

Брала вату и быстро-быстро прочищала спиртом. Перевязывая, чуть бледнела, и руки дрожали. Эрьян искал ее глаза, она же отводила их в сторону и не смотрела на него.

— Вот и все! Можете идти... придете еще дня через три...

Эрьян выбегал из комнаты с решением никогда уже сюда не возвращаться.

«...Я стал сам над собой насмехаться... Чего только не случалось со мной в жизни, но чтобы я краснел как гимназист какой-то, боялся, мучился — не было такого...

Всякий раз, как прихожу к вам, за дверью повторяю несколько раз все, что должен вам сказать... Я вхожу, вижу ваше озабоченное и серьезное лицо, избегающие меня глаза, все во мне леденеет; слова, жгущие мне сердце, куда-то вмиг разбегаются, и я не знаю, что и делать...»

— Не то! Не то! — шептал он, складывая письмо. Таланта писать не имел. Все, что он чувствовал, так велико было, так важно, тогда как слова бессильны были и невыразительны.

Обхватив голову руками, долго сидел.

На дворе ветер кричал и сердился. Федор Пантелеевич храпел.

Федор Пантелеевич...

Только дошла до него весть о приходе большевиков, забился в угол и мерз. Но едва заслышал трубы вступающей в город Красной Армии, вскочил, бросился на улицу, побежал встречать. Бешено размахивая шапкой, бежал рядом с воинами и что есть силы кричал «ура!».

— Братцы! Братишки! Товарищи! Да здравствует! Да здравствует!

Сошел с ними в город. Перескакивая с тротуара на тротуар, колотя в грудь кулаками, сиплым голосом выкрикивал приветствия.

— Капитан, знаете, они пришли, пришли! — сказал, запыхавшись, едва ступил на корабль.

Эрьян глянул ему в глаза и не ответил.

— Не понимаете? Пришли! Наконец пришли!

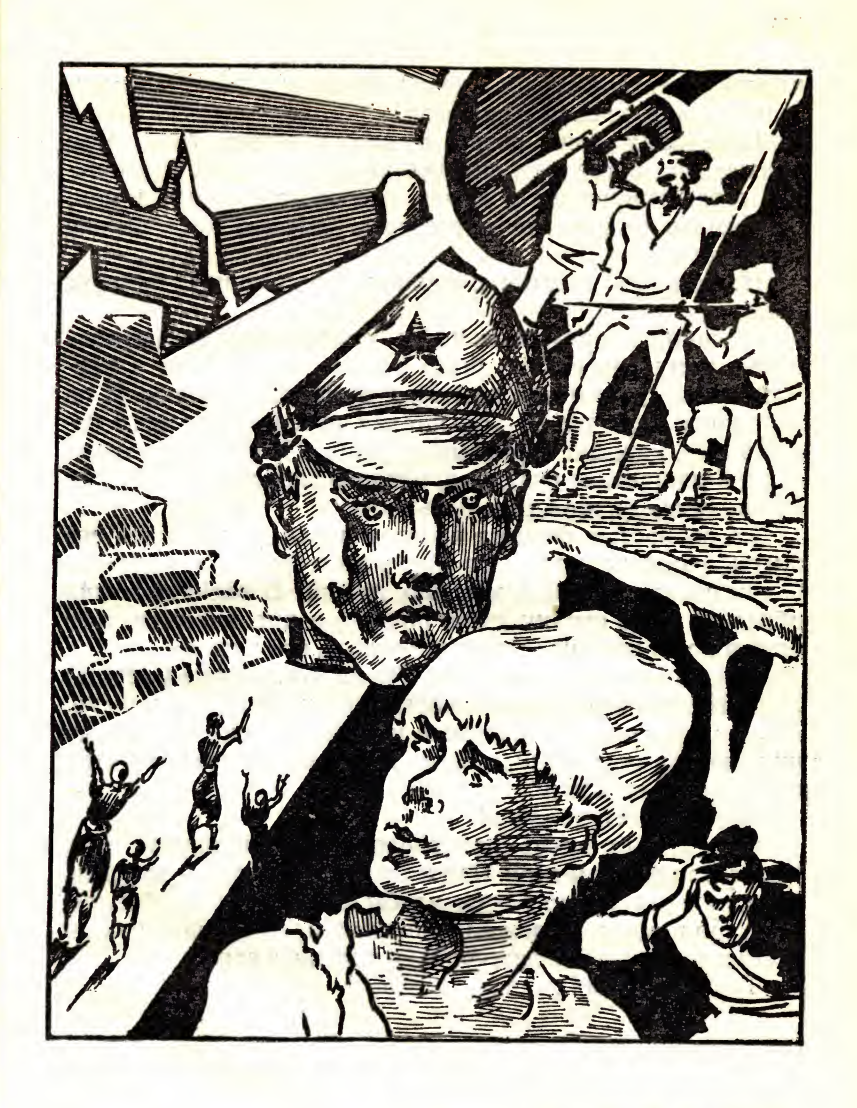
— Вы рады?

— Да! А чего мне не радоваться? Пришли-то кто, знаете? Настоящие русские люди, настоящие русские солдаты... Пришел конец войне, голоду, мучениям. Теперь и вздохнуть можем, работать, о корабле подумать... Настоящие русские люди! Настоящие русские солдаты!

Вытянул из кармана длинную ленту лаваша, торопливо съел и, натянув на себя пальто, лег. Уснул.

Мартына и собаки вот уже два дня нет.

Эрьян надвинул картуз, поднял ворот пиджака и вышел на мостик. Ветер толкнул его назад и влепил оплеуху. Темень. Город погасил огни. Ничего не видно.



Ничего не слышно. Даже привычной стрельбы по ночам.

Эрьян чувствовал себя обессиленным, опустелым. Ах, по морю ходить! Водить корабли!..

Раздул ноздри и, тоскуя по простору, втянул воздух. Не то. Недоставало соли. Горами и землей пахло. Камнями, прелыми листьями, снегом пахло. Древней, изму-

ченной и усталой страной пахло. Навозом, домашним мылом из жира, хлевом и соломой.

Подставил лицо ветру и дал хлестать себя. Чем больше бил ветер, тем сильнее щемило сердце. Безмолвное горе, непонятное и немое, тревожно бродило в нем.

Думать не мог, не мог объять мыслью наступление перемены.

Нашел, что смешон и одинок. Беспомощен, покинут и сир.

И полное признательности сердце его потянулось к той, кому адресовано было письмо, спрятанное в кармане. Никогда раньше не любил он такой любовью. И он сиротливо зарыдал. В нем плакал ребенок, которого носит в себе каждый взрослый мужчина. Плакало то наивное и беззащитное существо, которое тянулось ручонками к новому свету, жаждало цельности.

Со скоростью фильма прошла перед глазами вся его жизнь, увидел самого себя. Кто у него был на этом свете? С кем связан сердцем, мыслью, душой? В великих муках обрел он свою страну, свою родину, и вот, кажется, и ее он теряет. А что будет, если и корабля его лишат?

Мысль эта ужаснула. Нет! Ни за что! Лучше умереть! Нет! Ни за что! Глаза сверкнули, и сжались кулаки. Может, для многих скромный кораблик ничего и не значил, но для него он был всем. Для него он был жизнью, внутренним смыслом.

Корабль, его корабль!

От сырости плечо разболелось. Зашел внутрь, сел. Свеча догорела. Федор Пантелеевич продолжал храпеть. Когда же рассветет? Хотел, чтобы пришло утро, и боялся, что утро придет. Положил голову на край стола — так он всегда делал в часы дежурств — и закрыл глаза.

Труба корабля пела.

— Ах ты, сатана проклятый! — отбрасывая пальто, вскричал Федор Пантелеевич.

Поворочался, сел.

— Что, капитан, спите?

Эрьян поднял голову и зевнул.

— Нет,— ответил,— не сплю.

— Ах, какое счастье, что не спите...

— Почему?

— Мучение одно...

Коснулся рукою лба.

— Мучение одно,— повторил он.— Черт побери! Что, свеча погасла?

— Кончилась.

Вздохнул и заговорил в темноте:

— Сон это? Что-то невероятное, что-то совсем другое... Представьте себе, мои же собственные глаза преследуют меня... Как вы это объясните, а? Как? Говорю же вам, вот эти мои глаза, выскочив из-под век, бегут за мной и преследуют...

— Ну, Федор Пантелеевич,— обиженным голосом буркнул Эрьян,— будет вам...

Не в силах был закончить предложение. Шумно зевнул.

— Просто,— добавил он,— съеденный вами лаваш был плохо выпечен, и вы его не переварили...

— Что хотите думайте, капитан! Не понимаю... Мои глаза! И не те глаза, что сейчас у меня, а те, что двадцать лет назад имел и которые помню в зеркале... В те годы выпивка и жизнь не успели их так изменить: веки полны были солнца и взгляд — решительный, прямой и чуточку суровый... Вот они и были... Как описать вам, что я пережил! Испугался, капитан... И зачем мне было бояться собственных глаз? — вот в том-то и вопрос... Они шли, скользя по воздуху, устремив на меня искрящиеся иголки из-под век... И я бежал от них...

— Никак вчера хватили чего...

— К сожалению, ни единой капли...

Замолк. Чуть погодя вроде постучал.

— Что вы делаете? — спросил Эрьян.

— Ничего. Стучу указательным, как молоточком, по черепу...

— Что?..

— Стучу указательным по черепу и хочу понять... Мои собственные глаза, капитан. И думаю вот: когда умрем и все кончится, как эта свеча наша, останутся одни глаза с их тысячами взглядов... В них отражены будут все истории нашей жизни, все события, все чувства, все волнения, любови, ненависти... И вдруг в этих взглядах заметим мы много из того, что жило в нас и чего мы не ощущали... Мы поймем и ужаснемся...

— М-да-а! — промычал Эрьян.

Потом помолчали.

«Когда же рассветет?» — подумал.

Ожидание становилось невыносимым. Невыносимым.

— Я говорю,— продолжал Федор Пантелеевич,— я говорю, что после смерти жизнь идет вспять, а не вперед...

— О чем вы?

— Не понимаете, что ли? Глаза бегут назад... Как раки, прожитые годы всегда возвращаются... К той ночи неизвестности, откуда неведомая пружина совершенно напрасно выбросила нас на свет божий... Из земли вышел, в землю обратишься...

— Вот это новости!

— Не новость, капитан, но правда... Странно вот что: думаю о смерти и прочих философских вопросах, а сердце мое, ну, готово разорваться, паюсной икры просит... И вот, человеком именуемый, тьма вокруг тебя, полон ты всяких дурных предчувствий, а тело твое — как есть животное — требует нежных и вкусных вещей...

Расхохотался.

Что же сулит завтра?

— Федор Пантелеевич, как вы думаете, что с нами будет?!

— А что бы вы хотели? Я уже решил.

— Что решили?

— Я, капитан, объявлю себя красным.

— Глупости говорите.

— Глупости? Совсем не глупости... Я полагаю, что уже мертв... Вот в чем штука: мертв я, меня нет... Переступил грань жизни и вошел в пределы другого бытия... Ну, представьте, что упал я бездыханный и пришли люди и предали меня земле. Вы думаете, что все кончено, а выходит, что нет: открываете свои глаза и замечаете вдруг, что этот другой мир удивительно похож на тот, в котором мы сейчас,— те же люди, те же дома, те же улицы. Радуетесь. Смерть не так уж ужасна, говорите себе. Все то же, с небольшой разницей... Изменился строй... Ведь рождаясь, мы же не знали, что будем жить под царями или еще под кем?..

Эрьян громко смеялся.

— Ну что ж, попробуем теперь заснуть...

— Да, заснуть.

Никто не уснул. Слушали ветер.

2

Утром первым встретился Эрьяну Матос, привратник больницы. Заспанные, испуганные глаза, обмякшие плечи. Подтягивая спадавшие штаны, едва завидев Эрьяна, он стал, глотая слова, плюясь, вздыхая, рассказывать и жаловаться.

Эрьян не хотел верить. Он знал, что враги красных обычно распространяют ложные слухи.

— Не может быть...

— И так всю ночь... до рассвета... никто в городе глаз не сомкнул... Нагрянули совсем неожиданно... среди ночи и даже чуть попозже... Приходят, окружают дом, врываются и начинают обыск...

— Что ищут?

Матос поднял руки к небу.

— Откуда мне знать, бог с тобой? Откуда мне знать? Детишки плачут, жены в ужасе, мужья вскакивают с постели и бледнеют на месте... Так слышал,— продолжал он упавшим голосом.— Больше всего припасов да еды разной искали... Тащат подчистую... Говорят, наши братья в России голодают и надо, чтобы народ Армении помог...

— Чтоб Армения помогла России?

Эрьян недоуменно посмотрел на Матоса.

— Чтоб Армения помогла России? — повторил он.— Ты тоже придумаешь...

— Клянусь богом! Так говорят...

— Не поняли. Такого быть не может! Они ведь за тем и пришли, чтобы оказать помощь нашему народу. Матос, спятил ты, что ли?.. Припасы из России должны прибыть, а не... Клянусь солнцем, не понял ты.

И Эрьян зло рассмеялся.

Матос, обиженный, снял шапку, отряхнул и напялил опять. Приблизил лицо к Эрьяну и широко раскрыл глаза.

— Мне рассказали... тащат всё, что находят, тащат... что тебе муку, что лаваш, мед, мясо, кур, чортан [1], лоби... А многих в тюрьму уводят... Пришли, говорят, в дом соседа нашего Мисак-бидзы [2]... «Ничего у меня нет! — ска-

---

[1] Чортан — сухая пахта.

[2] Бидза — дядя.

зал им Мисак.— Шестеро у меня, и жена вон лежит больная...» Забрались в маран[1]...

— Враки это, не верь,— сказал Эрьян.

— Так, значит?

— А ты думал?

Помолчали. Эрьян спросил:

— Барышня Будагян здесь?

— Не приходила.

— Не приходила? Уже девять.

— Девять-то девять, а не приходила.

Эрьян задумался.

— Так. А как же мое плечо?

— Наверху другие есть, посмотрят...

— Нет, лучше подожду.

Стал расхаживать в коридоре.

...Ходил, чуть шаркая ногой по полу. И звук этот напомнил ему сначала о тихом плеске волн, затем о шорохе скашиваемой травы... Чрик, чрик... Подумал, что, когда острая коса врезается в траву, растения по соседству, наверно, чувствуют приближающуюся опасность и не могут убежать...

В коридоре справа открылась дверь, и из палаты потянуло теплом и йодом. Заметил койки и головы больных. Дверь тотчас закрылась.

Чрик, чрик... Коса продолжала петь в голове Эрьяна.

В ту же секунду вошла барышня Будагян. Эрьян тотчас определил: случилось что-то. Глаза усталые, изменилось выражение лица, вокруг рта залегли складки.

— Опоздала,— вскинув брови, растерянным голосом сказала барышня.

Эрьян внимательно посмотрел ей в глаза.

— Скажите,— начал он, не в силах сдержать волнение,— скажите, случилось что-нибудь?

Пошли рядом.

— Брат мой... офицер...— промолвила она.

— Что с ним?

— Ночью пришли за ним...

— Забрали?

— Всю ночь не спали... моя мама...

Остановившись перед лестницей, колебалась с минуту, потом сказала решительным тоном:

---

[1] Маран — кладовая.

— Должна вернуться, я должна вернуться домой! Моя мама...

Повернулась и, опустив голову, быстро-быстро пошла, не оглянувшись на Эрьяна.

Эрьян стал на ступеньках больницы, сунул руки в карманы и покачался.

Решил направиться в центр города.

Пошел не спеша, посматривая по сторонам. Прохожие торопливо мелькали и исчезали за углом. Перед церковью на центральной улице заметил священника. Поглаживая бороду, тот зашел в церковь. За ним вошли несколько стариков.

Значит, ничего не изменилось. Матос преувеличивал.

Кто-то идущий снизу — в кожанке, в сапогах, с револьвером на боку — прошел мимо, остановив острый взгляд на нем.

Этот взгляд отравил Эрьяну сердце.

«Кто же мог быть? — подумал.— Никак за другого принял».

И тем не менее осталась невыносимая тяжесть. Неведомая сила взяла его в клещи и сдавила. Почувствовал себя стесненным, закованным, подавленным. К стеснению непривычен был: вольную жизнь любил, любил делать что хотел и говорить что думал. Возмутился. Кровь ударила в голову. Хотел стать посреди улицы и закричать. Посреди улицы не стал, не закричал, а с равнодушным видом, руки за спину, пошел дальше вниз.

На углу улицы Налбандян повстречал знакомого. Где его видел, не помнил. Высокий, шея чуть набок. Страшно обрадовался, что встретил кого-то. Протянул руку и, улыбаясь, пошел навстречу. Рука повисла в воздухе. Человек, едва завидел его, проскочил мимо, не ответив на приветствие и даже на него не глядя.

Что это значило?

Залился краской, затем побледнел.

В то же мгновенье из-за угла высыпала группа людей. Спереди, сзади, с обоих боков с винтовками наперевес шли солдаты. Лица у конвоируемых были пепельные. Вспомнил: видел их в парламенте. Шли молча, не глядя по сторонам.

Рядом с Эрьяном спокойно наблюдали это несколько

человек. Эрьян широко открытыми глазами вопросительно посмотрел на них. Отвернулись.

Бросился прочь. Ушел и не мог решить, куда идти.

Надо скорее на корабль и принять решение.

Шел мимо больницы, опять два палящих глаза замерли на нем, обдали жаром и долго-долго задержались на капитанском картузе.

Сделал вид, что не заметил, и заторопил шаги.

Догадался. Его капитанская фуражка вызывала подозрение. С царских времен носил.

Бегом поднялся в Канакер.

Федор Пантелеевич, стоя перед кораблем, поджидал его.

— Ах, капитан, как хорошо, что пришли... Не знал, что делать... приходили, вас спрашивали...

— Меня? Кто спрашивал?

— От имени власти. Сказал, что если им о корабле нужны сведения, то я могу, и самым подробнейшим образом, потому что и я ведь... Так нет, хотели вас лично видеть.

Эрьян заглянул ему в глаза.

— Знаете что, капитан... не понравилось мне, как они разговаривали... не к добру это... Я хочу в город идти.

— Ладно, идите...

Эрьян поднялся, наполнил сумку чем мог, запер на ключ каюту и тоже вышел.

Темно было.

Поднял сумку, в последний раз посмотрел на корабль и, подставляя тьме грудь, зашагал в ночь.

3

Эрьян решил было идти в сторону Севана, но, пройдя немного, передумал, боковыми улочками спустился к мосту через Раздан и направился на Вагаршапат.

Повернул, недолго раздумывая, почти инстинктивно, как птица, выбирающая в воздушных потоках направление полета. Еще и потому, что в это время года дорога на Севан была занесена снегами, хлестала ветрами и кишела голодными волками с гор.

Зима уже. Холодно. Все забились по своим домам, запрятались за толстыми стенами, он же не имел дома, не имел убежища и отныне — ничего уже не имел, ничего.

Он пришел со стороны моря с глазами, полными мечты. Он и его корабль пришли со стороны моря и очутились за пазухой у камней, скал, гор.

Скотом, землей, кровью, навозом пахло.

Холодно было, темно.

Шел быстро, чтобы согреться. И быстрее шагов бежали его мысли. Куда шел — и сам не знал.

По небу ходили зеленые звезды. Твердый снег скулил под ногами.

Сады обнесены были земляными заборами. За ними толстый снег погреб все под собой. Лозы давно окопали, прикрыли землей. Зимой они хранили свое тепло в летаргическом сне. Весной их вскроют, и они, припав губами к лучам солнца, потянутся ввысь, отряхнут с плеч землю, начнут новую жизнь.

«И человек,— подумал Эрьян,— сколько раз он уходит в себя, погружается в душевную спячку и только под солнцем воодушевляющей идеи пробуждается к новой жизни, цветет».

Да, многими жизнями живет существо по имени человек!

Вот и он затерялся в ночных снегах. Его ведет дорога, за одну руку держит ветер, за другую — ночь, и ведут, и не знаешь, куда приведут. И он — капитан дальнего плавания Ара Эрьян — подчиняется ветру, ночи, дороге и дает им вести себя.

И Ара Эрьян вроде и не полностью Ара Эрьян. Он, подобно лозе, погребен под ночью, холодом, звездами, неизвестностью. Важно оставаться самим собой. Не утратить внутреннего видения, которое позволяет со стороны следить за каждым своим движением, за миром.

Как хорошо, что ушел из города!

Места, которыми шел, были так близки ему, так родственны духовно, что больше он не чувствовал себя одиноким и покинутым. Араратская равнина, огромная тень Масиса, близкий Эчмиадзин, сады, крестьяне, спящие в домах, и, дышащая холодом, эта беспредельная ночь, эти смотрящие сверху звезды, снег, зима — все это было родное и успокаивало его.

Нет, сердце билось ровно. Теперь он даже знал, куда

пойдет. Ведь Уранян в Вагаршапате? После последнего сражения с турками он остался там долечивать раненых. Уранян! Живой, чистый, увлеченный своими идеями. Уранян, от которого веяло скалами и тутовником.

Эта мысль его обрадовала. Остановился, улыбнулся ночи, потер руки, поднял сумку, пошел. Проходя мимо какого-то села, заслышал лай собак. Выстрелили в воздух. И все смолкло.

Эта несказанность, неизреченность окружающей природы! Она вобрала в себя все, опутала и его, и он шел почти зачарованный.

Под порывом ветра ночь дребезжала, как бубен.

— Дело в том,— говорил он сам с собой,— что мы слишком привязаны к вещам. Наши руки, наша мысль, наши чувства стеснены, скованы вещами. В обыденной жизни мы не принадлежим себе, мы — не мы, мы в плену у вещей.

А ночь раскрыла перед ним беспредельный мир. Он идет, и шаги его звучат в некоей просторной, огромной, бесконечной неизвестности. Никаких границ! Никаких цепей!

Единство, полнота.

— Ах, остаться навечно в этом состоянии, суметь отказаться от всего во имя этого единства.

Теперь он знает. Богат тот, кто отказывается от всего. Кто распахивает все окна своей души и вбирает в себя мир, как мелодию. А она звучит в крови, в пульсе.

На подходе к Вагаршапату россыпи звезд поредели. На краю неба вспыхнули агатовые и золотые полосы.

Эрьян стал в нерешительности. Городок еще окутан тенями. Никого не видно.

Поставил сумку и запрыгал на носках: от холода весь одеревенел. Вскоре по небу скользнули широкие лучи и поднялись с востока огненные языки. Глаза Эрьяна расширились: приветствовать его явились Арарат в золотом венце и стоящий справа от дороги храм Рипсимэ.

Эрьян снял картуз, отвесил поклон Арарату и отдал поклон Рипсимэ.

Сел на сумку и стал смотреть.

Волнение охватило его, сняло всю усталость. Утро прохладными руками умыло ему лицо.

— Господин земли Армянской! — прошептал он, глядя на Арарат.— Все начинается с него...

Снова снял картуз и поклонился.

Посмотрел на Рипсимэ и припомнил слова Мираняна в ночь отъезда.

Да, пламя, ставшее мелодией, сокрытая песня, гармония.

Мысль его шла кругами, парила в поднебесье, углублялась в метафизические лабиринты.

Читал когда-то, что служители культа, живущие на склонах Тибетских гор, способны были своим дыханием вдохнуть жизнь в сотворенных руками людей идолов. Свою духовность, свою веру они передавали предметам, озаряли их незримым светом, который все переделывал, возрождал, оживлял.

Предметы обожествлялись.

«И вот то же самое,— подумал он,— имеет место здесь. В течение веков народ наложил отпечаток своей духовности на эти камни, горы, на всю местность».

Понимал теперь: Рипсимэ сооружен из мельчайших росинок духа армянского. И пока армяне, разбросанные по миру, теряли свое лицо, храм Рипсимэ оставался стоять на месте не как свидетель, не как памятник, а как выражение духовной силы народа.

Подумал о себе, подумал о корабле своем.

И он, подобно магам Тибета, дышал на это прибывшее с моря железное существо — своей верой, волей жить и действовать, своим желанием продолжаться... И сам он, через корабль, хотел причаститься к тому духовному миру, от которого все эти годы был оторван...

А сейчас...

Поднял сумку и пошел.

Едва Уранян его увидел, поднял голову с подушки, удивленно вытаращил глаза, потом обрадовался и, вскочив с постели, подошел к нему, и они обнялись.

— Как здорово, что ты приехал! Как здорово, что ты приехал! Постой-ка, пусть принесут самовар, выпьем чайку горяченького, потом перейдем к делам... Нет, ты только подумай! А когда я говорил, не хотели мне верить... Да сиди ты, ради бога!

Эрьян сел и поведал обо всех событиях.

— Говорят, обыскивают дома, припасы ищут...

— Припасы? Ты шутишь! Где они в Айастане, эти припасы? Бог с тобой, у Айастана изо рта несет голодом... Да будет тебе небылицы плести...

И громко и нервно засмеялся.

Принесли самовар, и оба, в молчании, пили чай.

— Знаешь что,— сказал Уранян, когда кончили завтракать,— ты ночь не спал, ложись отдохни, а я пойду своих больных проведаю... Через несколько часов буду, вместе пообедаем и поговорим о делах наших... Пока!

Эрьян лег и тотчас заснул.

— Присаживайтесь, доктор... Добро пожаловать, капитан! — приветствовал Эрьяна с Ураняном ученый монах.— Добро пожаловать! Такие дела! Да, такие дела! Что я думаю? А что думать-то... Не забывайте, армянская апостольская церковь долгую жизнь за плечами имеет... Каких только не видела она событий и трагедий... Если бы эти камни могли рассказать обо всем, что видели,— та книга писалась бы огнем и кровью... Монашескую жизнь эту избрали мы по доброй воле, готовые снести все за народ наш, и ничего не боимся... Пришельцы армяне ведь, не так ли? Многие из них в наших семинариях учились, на монастырском хлебе нашем выросли, возмужали под сенью нашего Арарата... Поскребите их чуточку и увидите, какие патриоты в них сидят... Поверьте мне! Напрасно смеетесь... Человеческая психология очень странная... Порой встречаешь людей, которые отрекаются от бога, веры, церкви. Отрекаются с тяжелым сердцем, с тревожной, протестующей мыслью, рассерженные, разъяренные... Я отдаю им предпочтение перед верующими для вида, перед теми, кто ходит в церковь каждое воскресенье — ставит свечи, крестится, так просто, привычки ради, без внутреннего огня, без страдания, лишь бы состоять в дружбе с богом... Страдающий неверием — в действительности страстный верующий...

То же самое с патриотизмом. По мне, все эти решительные действия большевиков проистекают по той лишь причине, что их патриотизм слишком гордый, не довольствуется малым. Они чувствуют, что имеющимися средствами не достигнуть никакой цели. Мы должны сплести наши слабые руки с миллионами других рук, должны

организоваться, возродиться. Те, другие, что стояли до сих пор у власти, ждали помощи Европы, поддержки Америки, вмешательства Лиги наций... Армянские большевики поняли, что Европа обманет, и — обманула, что все обещания Вильсона — розовый ветер, что так называемая Лига наций всего лишь орудие в руках государств-хищников. Они поняли все это. Обратились к революционным силам, и — вот эти силы, пришли... Могу одно лишь сказать, что и они ярые патриоты и будут клясться Вартанами Мамиконянами, нашими храбрецами, и будут дрожать над всеми национальными ценностями... Вы сказали, что церковь будет под угрозой? И это не в новость... Жила ли когда-либо армянская церковь без нее?.. Я, как монах, так думаю: армянская церковь для армянского народа, а не армянский народ для армянской церкви. Если завтра народ армянский найдет, что эта церковь уже не удовлетворяет его духовных нужд... на то его воля, пусть ищет себе другой путь!

— И в древности,—сказал доктор,— наши боги были вспомогательными силами, служили, покровительствовали нашим храбрецам, а не наоборот...

— Что теперь делать? Какую занять позицию? — спросил Эрьян.

— Что касается меня, то я продолжаю свои труды по истории, как делал это до сих пор... Вот, взгляните: сколько рукописей, плоды тридцатилетней работы, и все еще не изданное... Какие у нас сокровища есть, о которых ни чужеземцы не имеют представления, ни сами армяне! В этом-то и несчастье, что мы даже самих себя не знаем... Будем продолжать работать,— это главное! Рассказывают, что ученик духовной академии, играя в мяч, на неожиданный вопрос: «Что бы ты делал, если бы знал, что через полчаса грядет Страшный суд?» — ответил: «А что еще делать: продолжал бы играть в мяч»... Вот и мы: продолжим наше дело. Очень рад был, очень... Заходите еще, непременно, прошу вас...

И глаза рослого бровастого монаха улыбнулись, и большие, полные волосатые руки сложились на груди.

По коридору торопливо прошли другие озабоченные монахи. Один из них заметил Ураняна, остановился и долго смотрел ему в глаза.

— Так, значит? — сказал он голосом издалека.

— Так,— ответил Уранян.

Большинство келий Эчмиадзинского монастыря было на замке. В других разместились новые хозяева. Слышались голоса детей и женщин. Хохот.

В дверях одной из келий Уранян и Эрьян столкнулись с одним из пришельцев. Лысым, с серыми глазами коротышкой.

Уранян, видимо знавший его, воскликнул:

— Откуда, куда? И вы тут разместились?

— Что поделаешь, кое-как перебиваемся.

Свел кулаки, поднес ко рту и захохотал.

— Под квартиру не так уж и плохо... В свое время наши богатеи о монахах заботились, построили им жилье... Думали, если церковь поставят — прямо укатят в рай... Тщеславие, ничего больше... Высекли на зданиях надписи на грабаре, армянские числа — и помните: моя мать — Антарам, отец — Абисогом...

Расхохотался вновь и продолжал:

— А раз построили, так и мы малость воспользуемся. Две комнаты, кухня, проточная вода: не так уж плохо... Наш этот Айастан — большой дом: крыша — небо, стены — горы, только комнат не сыщешь... Ну, разумеется, монахи не очень-то довольны — с их лиц каплет яд, ходят, покусывая кончик бороды, бубнят под нос: мелкий люд занял, мол, их помещения, в патриарших покоях крутят кино, отобрали-де запасы зерна, вскрыли мешки с сушеными фруктами... Положим, ничего там уже и не было. Беженцы как саранча сожрали все, и на здоровье... А ты глянь, большая часть молодых монахов, пользуясь приходом большевиков, скинули рясы, ходят в городе вольными гражданами, флиртуют себе с девицами... В монастыре старики остались, и так даже лучше... Как вы сказали, доктор? Нет, я совсем и не думаю, что надо все разрушать, напротив... думаю, когда над полем проносится ураган, остаются стоять лишь стойкие деревья, корни которых глубоко в землю ушли... Ведь монах — это одно, религиозное чувство — совсем другое. Эчмиадзин был, есть и будет... Все понемногу устроится. Помните, доктор, когда мы жили в Харькове, в сердце каждого из нас далекая родина цвела как сон: мы думали о ней, грустили... не так ли? Тосковали, всегда тосковали...

Посерьезнел, задумался:

— Если мы сейчас приехали и теперь должны пустить корни в этих землях наших, во имя любви к родине,

отбросим все старое, избавимся от всяких кадил, отделаемся от иллюзий и, как подобает мужчине, здесь, перед лицом Арарата, поищем новые решения, новые пути... Страна пусть скажет свое слово, и мы свое скажем стране, без всяких посредников... Как зрелые люди будем предлагать решения, камень тесать, камень класть... Не так ли? Я очень рад! Очень! А как-нибудь зайдите, кусок хлеба переломим, стакан вина разопьем...

Вечер был, а колокола Эчмиадзина не звонили.

Безмолвствовала Гаянэ. Безмолвствовала Рипсимэ.

Внизу без отдыха стучала типография. Печатали «Речи Ленина», «О комсомоле», «Религия — яд». По 25 тысяч экземпляров.

С балкона какой-то монах смотрел испуганными глазами и грыз губы.

Улеглись, но не могли уснуть.

— Что, друг, заболел? Глаза блестят, и успокоиться не можешь... Может, температура у тебя: подойди, послушаю пульс...

— Какая температура! Да что ты! Просто много бродил...

— Ну, ты пропал куда-то. Подумал, в Ереван вернулся.

— Завтра, возможно, и вернусь. Нельзя так оставить корабль: надо предпринять что-то...

— Да, что-то надо...

— Корабль, понимаешь? Нельзя его так оставить...

— Понимаю, как не понимать...

— Вот и думаю об этом...

— Ты что умолк?

— Просто удивительно...

— Удивительно?

— Ну да...

— О чем ты, не понимаю...

— Есть такой индийский армянин... Скажи-ка, ты не встречал его?

— Индийский армянин? Как-то встретил в Харькове одного: говорил на грабаре...

— Грабара его не знаю. Но этот неясно, мудрёно говорит...

— Ну и черт с ним... Эти индийские армяне немного безумцы... Ловкие торговцы, спекулянты, говорят... Грабар с английским мешают и стерлинг спрягают с Маштоцем... С ними мхитаристы только и умеют ладить...

— Посредством грабара?

— Да... удивительно, как этот неживой, книжный язык умиляет армян...

— Этот, о котором говорю, очень странная личность... Уже третий раз встречаю его...

— Где?

— Смеяться будешь, клянусь солнцем...

— Не понимаю...

— Разглядываю его, разговариваю с ним. И не уверен, что он на самом деле человек...

— Сказал же, дай пульс проверю...

— Знаю, скажешь, что я болен, брежу и так далее...

— Э, парень, да что с тобой?

— Давай лучше спать...

— Э, ну, раз начал, продолжай. Кого видел? Где?

— Вечером, во дворе монастыря. У престольного храма не было никого, стоял я у могил католикосов... И вдруг знакомый голос слышу... С кем-то сердито спорил... «От твари, которая не может бегать,— кричал он,— напрасно требовать, чтобы она летала...» И дальше: «У каждого народа — свой жизненный стиль: или он живет согласно ему, или не живет вообще...» Отвечал ему другой голос — густой бас... Как ни старался уловить, о чем он, ничего не разобрал... Го-мо-го-мо... Не больше. Глянул: ветер трепал чью-то бороду, потом с силой захлопнулась дверь. Спорящий подошел ко мне. И кто, ты думаешь? Индийский армянин Петрос Марк, собственной персоной, которого на Севане встречал. Честно говоря, при виде его желтого лица и черных вращающихся глаз дрожь пробежала по телу. «Ах, кэптн! — воскликнул он придушенным голосом.— Как хорошо, что холодный ветер подул!» Сказал, подставив лицо ветру, и замолчал. А я так и онемел — не знал, что и вымолвить. «Ветер,— сказал он,— божественность, чистый дух... Вы обратили внимание? В Библии всемогущий всегда является в облике бури... Впереди Ариэлей, идей, ангелов,— сказал,— всегда бежит ураган... Ах, я бы хотел, кэптн, чтобы ветер все рос

и сдул всю эту пыль... Мир — нов, а люди стары». Взял мои руки в свои и потряс: «Рад! Очень рад, что вновь увидел вас, господин лоцман...»

— Лоцман?

— Да, так и сказал — господин лоцман... Горячо говорил, жарко-жарко, потому что, по всему, сердит был...

— Странные вещи рассказываешь... А что еще говорил?

— В том-то и дело... Не могу припомнить, так запутанно было... Что-то о духовном созвездии говорил, о центробежных и центростремительных силах и бог знает о чем...

— Слушай, никак он протестантский священник.

— Нет, будь он священник-протестант, говорил бы плоские и всем известные вещи... Но кто он — не понимаю... Армянин, в том никакого сомнения, но черты и взгляды его какие-то другие, издалека, из глубины веков идущие...

— И больше ничего не сказал?

— Наверно, с монахами разругался, не иначе... «Не понимают,— сказал, показывая в сторону монастыря,— не понимают, что величие человеческое рождается на краю бездны: спокойная и обеспеченная жизнь никогда не была родиной великих идей и не порождала великих духовных событий... Только и повторяют, что — освободиться! Освободиться — от чего? Поверьте, господин лоцман, эти люди напоминают стоящие вокруг садов земляные, рассыпающиеся стены, разъедаемые дождем и ветрами...»

— И как ты запомнил все это?

— Я и сам удивляюсь, засело в голове...

— А дальше?

— Дальше еще сложнее стало, и уже плохо помню... Говорил, не обращая на меня внимания, будто меня и не было... А потом...

— Что?

— Стал жаловаться, что в Айастане не найти добротной кожи на обувь... Рассказывал о способах обработки кожи и показал свои ноги... Представь, лапти были на нем. По этой причине, видимо, незаметно исчез: как улетел... Посмотрел вокруг, нет его... Это уже в третий раз...

— Никак, басню рассказываешь...

— Какая тебе еще басня! Голос вот в ушах звенит, и слова его примерно передал ведь?

— Такие дела!

— И что ты думаешь?

— Думаю, что в наши смутные времена по свету много ходит людей, которым место в сумасшедшем доме...

— Ты что, на меня намекаешь?

— Нет... вообще...

— Вас, врачей, послушать, так за пределы больниц волов, да буйволов, да швейцарских коров только выпускать... Это тоже болезнь своего рода.

— Может быть. Что касается меня, то я больше сведущ в микробах.

— Был у меня приятель, высшее химическое образование получил в Париже, звали его Бостанджян... Очень неплохой парень. Но постоянно кусал губы и — тьфу-тьфу-тьфу — шумно выплевывал воздух из легких. Говорил: «Ара, дружок, если бы ты знал, какие в воздухе микробы водятся... С ума сойдешь...»

Уранян не ответил.

— Ты спишь?

— Нет. Ворочаюсь, не спится.

— Думал вот: знаешь, в словах твоего индийского армянина есть известный смысл... Эти люди совершенно утратили чувство родины. Они — худшие из космополитов, где выгода — там и родина для них. А впрочем, мне кажется, темные речи он произносит, чтобы скрыть за ними еще более темные свои дела. Кто знает — может, он крупный делец или осведомитель английский? Лучше забудь о нем...

— Скажу тебе: на меня подействовал его голос... И вообще, ты заметил, как разнятся голоса людей и как часто они несравнимо больше говорят, чем слова.

В море, к примеру, по первому гласу ветров можно узнать характер бури... Порой идут орущие впустую ветры, шумят, кричат, зовут и уносятся прочь... А бывают шипящие вполголоса, тихо дующие ветры, чей голос идет из дальних далей, из сердца самого неба: они опасные и предательские. Не вздымают волн по воде, а только морщат гладь: пьют воздух, просеивают сквозь зубы свои и с силой кидают вниз. Каждый моряк знает: за такими ветрами затаились свирепые стихии... Хороший капитан тотчас принимает возможные меры...

— Интересно...

— Ну да! Вообще, мы мало прислушиваемся к оттенкам человеческого голоса. Следим за выражением лица, глаз, иногда за движениями рук, а к голосу обычно прислушиваемся, чтоб уловить слова. Не так ли?

— Бывают женские голоса — рождают музыку в душе, пронизывают все клетки тела.

— Да! Голоса удивительным образом остаются в памяти, продолжают звучать... Возьмем того же Марка, голос его всегда во мне, из дальних далей идущий голос... И заметь, все можно подделать, но не голос человека.

— Голос меняется с возрастом души...

— Ты прав.

— Ну как, спишь?

— Да нет, куда там... Ну, раз ты, врач, уснуть не можешь, как же тогда мне быть? Говорят, Эдисон спал три часа в сутки.

— Оставим Эдисона... Дело в том, что великие, исторические дни настали. Несколько лет назад, когда еще студентами были, в коридорах университета, в дешевых столовых, на тайных собраниях говорили, спорили вокруг различных политических вопросов, обсуждали программы, участвовали в небольших демонстрациях, но никто из нас не мог и предположить, что в кабинетах и затем в тюрьмах разработанные программы могут осуществиться... Так думали, что, может, однажды дети наших детей...

— Выходит, когда мечты осуществляются, люди чувствуют себя несчастными...

— Частично, да. Причина в том, что человек, его психология консервативны, медлительны, не любят перемен. Человек любит свои привычки, свою лень, свои рефлексы. Есть люди, верящие в рай, есть ведь? Ладно, а возьми их и в следующую секунду закинь в рай — не думаю, чтобы они были счастливы. Сядут в укромном уголочке садов Эдема и станут беспокойными глазами искать свои домашние предметы — кресло, в котором дремали после сытного обеда, прокуренную свою трубку, кофейную чашку, теплые тапочки... Человек мещанин в гораздо большей степени, чем полагаем. Есть мелкие факторы, влияние которых очень значительно. Но вот пришли люди, твердые, упрямые, и вытряхивают жизнь, как по-

ловую тряпку... Большие дела вершатся в этом нашем мире, большие дела...

— Есть мера всему. А в наши дни многое безмерно. События опережают сознание людей. Ну да, что же еще! Люди малы, а события велики: не могут соразмериться... Не так ли? Конечно, есть еще вопрос о прогрессе науки и техники. Сказывается их чрезмерно быстрое развитие. Словом, жизнь пошла по всем швам. Люди испуганы, ожесточены.

— Верно... Но не совсем так.

— А что не так? А чем же иначе объяснить эти войны, эти бои, эти реки крови?! Люди хотят одолеть смерть смертью же...

— Сложные вопросы... Не знаю, не знаю. Истина в том, что мы очень мало знаем... И поэтому примем новое с подобающим спокойствием. Будем работать, трудиться... Надо быть деятельным, надо действовать...

— А как?

— Ты возьмешься за свой корабль, я буду заниматься своими больными...

— Если корабль национализировали?

— А раньше он не государству принадлежал?

— Государству.

— Значит, завтра, когда решат перевезти его на Севан, хотят не хотят, а за тобой пошлют: других капитанов пока нет... Говорю тебе, иди к своему кораблю...

— Разговоры тут излишни: за чем же, как не за кораблем, смотреть мне? Ведь ты не знаешь, что значит для меня этот корабль. Для меня корабль — это нечто такое, такое, что выразить не могу. Понимаешь?

— Догадываюсь.

— В былые времена жили люди, которые, забыв о суетном, начинали воздвигать храмы, памятники... Не говорю, что сделанное мною так уж важно: может, совсем и не важно... Да я как-то не могу выразить словом свою мысль. Одно скажу: с этим кораблем много чего связано. И будь что будет, а корабль до Севана доведу непременно. Для меня это вопрос жизни и смерти. Непременно! Непременно должен довести до Севана! Ты что, заснул?

А январь прибрал ночь к рукам и вместе с ней, растянувшись в рост, залег на пороге престольного храма.

Какой-то монах, черный, волосатый, призраком опустился на колени перед той же дверью и, торопливо шевеля жаркими губами, беседовал с тенями земли и неба.

Ветер выл придушенным голосом.

4

Эрьян, возвращаясь в Ереван, побродил несколько дней в Араратской долине. Задерживаясь у хижин, подолгу беседовал с крестьянами. Посетил храм Гаянэ. Задумчиво походил вкруг камней Звартноца. Растрогался, вдохновился и, наконец, нетерпеливый и озабоченный — будь что будет! — пошел к Еревану.

Беседуя с самим собой, прошел мост через Зангу, ступил на карабкающуюся вверх улицу и остановился перед винным и коньячным заводом Шустова. Увидел корабль. Вдалеке. Корабль на макушке Канакера.

Опустил сумку и жадно смотрел. Припавший к снегам и скалам «Альбатрос» похож был на несчастное огромное создание, закованное невидимыми цепями. Задрав нос, чуть накренив мачту, со скошенной кормой — он словно хотел убежать, вырваться на свободу.

— Терзается,— зашептал Эрьян,— хочет убежать, уйти...

Сердце забилось, и у самого горла задохнулся готовый вырваться крик скорби и жалобы. Задохнулся, потому что в ту самую минуту из огромных ворот винного завода вышли трое вооруженных людей, уперли в него взгляды, замешкались, обернулись, посмотрели и пошли.

Вскоре люди скрылись из виду, а Эрьян все стоял в нерешительности. Куда ему идти?

Ни дома, ни друзей, ни денег.

Оставил сумку в кафе «Урарту» на Бульваре и вышел на центральную улицу — в сердце города. Внешне ничего вроде не изменилось. Те же дома, те же разбитые тротуары, те же беженцы.

Снег, грязь.

Много молодых, все с наганами. Русские солдаты. Несколько новых автомобилей. Красные флаги. Пошел

неуверенно, посматривая по сторонам, преследуемый незримыми тенями. Нет, особого внимания никто не обращает. Постарался идти ровнее. Сдержал дыхание, надел маску холодного равнодушия.

На углу улицы Назарян встретил знакомого сироту.

— Здравствуй, дорогой капитан,— радостно приветствовал его сирота.

— Здравствуй. Вижу, разбогател ты...

С коробкой из-под марсельского мыла на шее — парень торговал папиросами.

— Да так, перебиваемся...

— Хорошо, что встретил тебя,— сказал Эрьян,— ты, может, знаешь, куда наш Мартын пропал?

Парень рассказал, что Мартын стал важным человеком. Встретил прибывшего из России и промышлявшего золотом своего родича из Вана. Тот нуждался в верном человеке и взял Мартына в помощники.

— Теперь с Мартыном заговорить не так просто...

И еще сообщил новость.

— Этого юродивого с корабля,— сказал он,— Чека арестовала и засудила...

— Как? Федора Пантелеевича?

Колени Эрьяна дрогнули.

— Ну да, этого дружка твоего...

Парень отошел с криками: «Папиросы! Папиросы!»

«Дурной знак»,— подумал Эрьян.

Пошел, еще больше сдерживая дыхание. Не знал: что делать? куда идти? где укрыться? Один из прохожих внимательно посмотрел на него. Ему казалось, что теперь на него смотрят со всех сторон. Что окна домов, уличные фонари, камни, тротуары будто говорили в один голос:

— Ах, пришли вы! Явились наконец, господин капитан дальних странствий!

Завернул на узкую боковую улочку. Никого. Достал из кармана бритву, срезал с картуза стершиеся уже золоченые знаки, затер выделявшиеся полосы и снова надел. Снял галстук и сунул в карман.

«Так,— решил он,— меньше внимания будут обращать».

И снова вышел на центральную улицу.

Прошелся вверх, спустился вниз.

Да, сомнений никаких: тот же город, те же улицы. Те же мужчины и женщины. Встречаются и новые. Из привычных ему лиц кое-кого не было. Были беженцы.

Одни были, других не было.

Атмосфера стала другой. Менее медлительными, более подтянутыми казались пешеходы.

И не удивительно ли? — изменилось выражение лиц, походка, взгляд, манера разговаривать.

По-прежнему неколебимо стояли Арарат, Арагац, хребты, скалы, беспризорная толпа и торговцы золотом.

И еще. Отныне никто не желал тебя узнавать. Словно пребывание в Эчмиадзине длилось не какой-то десяток дней, а годы — он отбыл к Лабрадору, объехал острова Тихого, заходил в Иокогаму, на Тумбукту,— отправленные им открытки не дошли, и его забыли.

Ну да, отправленные открытки не дошли. Ну да, ничего больше.

А вот и новый пришелец, старый знакомый. Художник Асканян. Человек узкоплечий, с большой головой, маленькой бородкой и с вечно удивленными глазами, которого Эрьян годы назад знал по Батуму.

Из Пятигорска ехал.

Прошел мимо, не поздоровавшись. Потом остановился, уставил на Эрьяна удивленные глаза, вытянутой в его сторону рукой радостно замахал:

— Вот так встреча! Ты в Ереване? Вот так дела!

— Ну да, а то как же? Здравствуй! Здравствуй!

Теплое приветствие старого знакомого обрадовало Эрьяна. Наконец пожал руку знакомому человеку!

— Ну да, а то как же! — воскликнул он.— Это сколько же лет...

Хотел было рукой на корабль указать, да тотчас передумал и ничего не показал. Художник инстинктивно уловил его душевное состояние, потупил взгляд и смолчал.

— Просто с ума сойти можно,— сказал он, понижая голос.

— А что? — тоже понижая голос, спросил Эрьян.

— Что? — повторил художник, оглянулся вокруг и еще тише: — Вот в том-то и дело, что ничего. Красок нет! Холста нет! Кисти нет! Какое искусство в таких условиях может быть?

Вместе вздохнули.

— Приказ издали — всем офицерам дашнакской армии собраться в здании бывшего парламента... Сообщить должны что-то...

— Может, призывают в Красную Армию служить...

Эрьян откинул голову и, чуть повышая голос, заговорил:

— Да, ну тут и сомневаться нечего: непременно на службу призовут,— можете быть уверены... Ясно ведь? Как дважды два четыре... Не так ли? Армия, будь она красная или любая другая, все равно нуждается в офицерах... Не так ли? Не забывайте, среди армян много способных полководцев... И не какие-нибудь там добровольцы, не эти хмбапеты всякие, а настоящие военачальники, за плечами у которых годы боевого опыта...

Асканян, сведя на груди руки, уставив на Эрьяна удивленные глаза, слушал.

— Наверное, будут новые распоряжения о продовольствии, обмундировании, окладе и других жизненно важных вопросах. Должны же люди жить, так ведь? Желудок, или, как его там, брюхо, ждать не может, а требует хлеба насущного, своего даралагязского сыра, своей толмы[1] в виноградных листьях, своего хороваца...

При этих словах огромная пустота засосала в желудке: за весь день ничего не ел, и голова закружилась. Рот наполнило слюной. Асканян, чуткий и понятливый человек, сразу как-то вник в состояние собеседника и растерянно посмотрел по сторонам.

— И вообще... понятно, не так ли?

И тут повисло неловкое молчание.

Асканян опустил руку в карман и собирался уже что-то сказать. Эрьян понял, покраснел и громко:

— Так, значит! Ну, с богом! Посмотрим, что будет... Я тороплюсь, опаздываю... Черт возьми, на обед приглашен и опаздываю... Пока! Очень рад был! Очень рад был! Очень рад был!

Крепко пожал руку художнику, сделал несколько шагов, повернулся и торжественно:

— Асканаз Артемьевич...

Тот остановился, посмотрел.

---

[1] Толма — армянские голубцы.

— Да, вот о чем хотел сказать... если могу быть чем-либо полезен, прошу без всякого стеснения...

Ушел, так и не выслушав ответа.

Побродил, и не один час.

А что теперь делать? Федор Пантелеевич в тюрьме, говорят. Что с ним?

Переходя с улицы на улицу, избегая взглядов, капитан Эрьян бродил и разговаривал сам с собой:

— Остался на улице, остался в полном смысле слова на улице... Никого нет! Никого! Стоит человек себе на мостике и спокойно ведет свой корабль, на компас посматривает, делает расчеты, вычисляет угол движения... Делает расчеты, а погляди — вопреки расчетам, вопреки компасу, вопреки карте, корабль твой повернул нос и бежит на опасные рифы. Стоп! Стоп! Кладешь руль вправо — туман, крутишь влево — ветер, дождь... Корабль твой и тебя выбросило на скалы... И ты остался в глупом одиночестве, беспомощный, никому не нужный, бывший человек... Капитан Ара Эрьян? Ты есть, и тебя уже нет...

Побродил по улочкам Конда, по берегу Зангу, в пустынных улицах.

Холод. Ночь. К тому же голоден.

5

Волкодав Рим был единственным из обитателей «Альбатроса», кто приходил проведать, что делается на корабле.

Всегда в одно и то же время, где-то к полудню. Запыхавшись, высунув язык, с печалью в глазах. Торопливо карабкался на обрыв Канакера, подбегал, останавливался перед кораблем.

Вначале, едва различал вдали корабль, несся к нему что есть силы, поднимал голову, беспокойно вилял хвостом, визжал в надежде, что кто-нибудь позовет его наверх, упрекнет дружески, приласкает, накормит. Однако вскоре понял, что на корабле никто уже не живет, и теперь все внимание обратил на дорогу, откуда мог вернуться кто-нибудь. Не один день ждал, и никто не возвращался. И, несмотря на это, наведываться продолжал...

Замирал, смотрел озабоченно, лаял. Лаял без глубокого убеждения, по привычке. Как упорный волкодав, хотел верить.

Обходил корабль кругом, вынюхивал, навострив уши, прислушивался: нет, никого не было. Не было никого, если не считать кошек. Дело в том, что в отсутствие хозяина корабль стал убежищем для бездомных животных. Все больные, чесоточные, осиротелые четвероногие с Канакера и окрестных мест нашли там себе приют. Нескончаемое мяуканье. Мостик корабля и под ним — все было загажено. Металл поржавел, медь позеленела, краска отставать стала.

Корабль опаршивел.

На мачту садились вороны и каркали. Рим смотрел, терял надежду.

Голодал и скулил.

Пока в городе был Мартын, жилось еще как-то. Рим, учуяв его издали, бегом бросался к нему, замирал перед дверьми, пока тот выходил, шел с ним на базар, и, так или иначе, не было дня, чтобы не перепало ему что-нибудь. Мартын клал перед ним кости в бумаге, и Рим был счастлив.

— А ну, разгрызи-ка эти кости, Рим, дружок! — говорил он.— А то времена пошли трудные, ничего не достать...

Последний раз ел на вокзале.

Жизнь Мартына тоже претерпела изменения. Запахи стали другие. В новых ботинках ходил, сменил пиджак. Напевал под нос, курил и ел конфеты. Даже Рим, инстинктом все чуявший, пребывал в удивлении. Мартын весь светился, щеки порозовели, смеялись глаза. Подружившись с только прибывшим, небольшого роста, чернявым, прогорклого и чужого запаха типом, он вечно носился где-то, что-то нашептывал кому-то на ухо, встречался возле базара с разными людьми и на той же базарной площади садился и в день по нескольку раз ел печеные потроха.

А как-то Мартын, в чрезмерно длинном пальто, в меховой шапке, вместе с друзьями на фаэтоне покатил на станцию, где бродило огромное железное животное, шумно дышало огнем и паром, наводило дикий страх. Рим, с полным дурных предчувствий сердцем, бежал за фаэтоном, растерянный и озабоченный. Но когда Мартын и его друзья сели в буфете и стали есть, Рим забыл обо

всем и весь переполнился радостью. Так тепло было там! Так хорошо! Пьяняще пахло едой, и запах хороваца объял и покорил мир. Мартын бросал аппетитные кости с мясом Риму.

— Рим-джан, ну ешь, ешь!

Какие жирные куски! Какие мягкие косточки! Разжевывать и то не успевал, глотал кусками.

Потом вдруг ударили в колокол, и люди, вскакивая в спешке, с сумками в руках, выбежали. Мартын и его друзья — их глаза Риму совсем не понравились,— расталкивая других, тоже бросились вон и, поднявшись по маленькой лесенке, вошли в дом. Рим, естественно, тоже хотел подняться по лесенке, но его прогнали. Зачем? Рим испуганно отскочил в сторону и, воспользовавшись новым потоком идущих, снова вернулся на прежнее место и попытался найти Мартына. Удивительно, что таких домов, куда вошел Мартын, было много. Лесенки, двери, лесенки, двери. За которыми остался Мартын — ни глаза его, ни уши, ни ноздри найти не сумели. Беспокойно забегал, всмотрелся в окна, вынюхивая, но Мартына так и не нашел. И будто мало было этого, дома вдруг, один за другим,— невиданная вещь! — тронулись с места, пошли. Побежал что есть силы за ними. Когда был уже рядом с огромным железным животным, оно рассердилось, засвистело и помочилось Риму на голову паром.

Рим остановился, фыркнул. Дома быстро убежали.

Рим решил, что Мартын вернулся в город. Невозможное дело, чтобы уехал и не взял его с собой. Не сомневался: Мартын нанял фаэтон и возвратился в город. Выбрался со станции и пустился бежать за экипажами. За одним бежал, за другим, за третьим. Нет, не в них. А где же тогда? А вон, впереди, взметая снег, летит фаэтон. Уверен был, что Мартын в нем, так уверен был, что, когда из боковой улицы выскочил желтый песик и в молодой несознательности залаял, Рим, не в силах сдержать нрав свой, бросился следом и стал играть с ним.

Чтобы лучше усвоить роскошный обед, катался в снегу, прыгал, кусал собачьи лапы, радовался. Потом подумал вдруг, что его отлучка может рассердить Мартына, и стало ему совестно.

Во весь дух пустился в город.

Обежал все знакомые места, все улицы, все дома. Мартына не было.

Да! Понял теперь — Мартын ушел на корабль. Заторопился в гору. Стоя перед кораблем, грустный, сердитый, он прождал весь день, замерз, проголодался: никто не пришел.

Пришли ночь и буран.

Буран.

Рим забился под бревна, служившие кораблю подпорками, прижал голову к лапам, ворочался, мерз.

Злой и холодный ветер, завывая, врывался в щели, терзал его тело. Несколько раз он менял место, так и этак сворачивался в клубок, но ничего не помогало: ветер, в паре с кошками наверху, продолжал мяукать, выть, бесноваться. Дрожал всем телом, позвоночник начинал деревенеть.

И уже боялся двинуться с места, и — один глаз открыт, другой закрыт — пытался уснуть.

Открытый глаз, хотя и он, уже обессиленный, делал попытки следить за опасно ходящими бревнами: не дай бог, обрушится все ему на голову.

Закрытый глаз видел сон.

Закрытый глаз возвратился в село, где родился волкодав. Теплый хлев — здесь он ложился вместе с двумя коровами и быком. Тогда его звали Алабаш. На дворе крупными хлопьями падал снег. Ушедшие наполовину в землю хижины лежали под снегом. Люди и животные спали. Все погрузилось в желтое безмолвие. Из хлева несло соломой, ячменем, пометом и мочой: тепло было и приятно.

Ложился он к двери рядом с толстой стельной коровой, которую звали Мро. Старался быть начеку, потому что эта Мро под утро, в самый сладкий сон, вдруг вытягивала ногу и лягалась. Или, поворачиваясь на другой бок, могла навалиться и раздавить тебя. А вообще животное было доброе. На голове белые метки, бархатные большие глаза. Когда возвращались с поля и он, добросовестно неся свои обязанности, бежал следом за ней и лаем давал понять, что не стоит задерживаться из-за одиноких травинок, а надо спешить домой, Мро, как другие животные, не выставляла рога и не надвигалась свирепо,— мол, не надоедай! — а краем глаза смотрела на него, улыбаясь, и переходила на другую сторону дороги.

Летом поднимались в горы.

Коровы, вол, овцы, новорожденные малыши, крестьянин и его семья, скрипящая арба.

Какой воздух! Какая жизнь! Какая свобода!

Рим, его отец (тогда он еще жив был), соседские псы, все вместе, словно крылья обретали. Носились, играли, катались в молодой траве. А в траве прятались бессчетные цветы, и, пока привыкали к их запаху, чихали да чихали.

Случалось, хозяева резали овцу, отрывали в земле лунку, огонь разводили, клали туда тушу, покрывали землей. Так готовили еду. К утру ели-пили. А Рим вместе с другими псами досыта наедался вкусными кусками и после безумных скачков и беготни ложился на спину и, подставив лапы теплым лучам солнца, катался по траве.

И другую картину видит: попас стадо, согнал на край поля и отдыхает. Чтобы быть уверенным, что все на месте, побегал взад-вперед, все вынюхал, разведал и, гоня перед собой двух глупеньких ягнят, пришел, сел возле остальных и, задрав голову, уши востро, продолжает следить. Чуть поодаль козел — вожак, гибкий, с бородкой, обратив торжественный взор к ближайшей скале, сидит неподвижно и думает. Овцы, сбившись одна к другой, разомлели. Некоторые из ягнят, видимо жадные и ненасытные, еще продолжают терзать соски своих маток. За день солнце сожгло все своими лучами. Сейчас ушло — укрылось за горой — и дует приятный ветерок. Небо быстро темнеет и пестрит блестящими точечками...

Ветер набрал силы, свистит, воет. Все его тело трясет дрожь. Силится подойти к овцам, поближе к их теплу, но, хотя ноги и двигаются, близко не подходит.

Открытый глаз его в ужасе видит, что стадо, пастбище, горы исчезали, но увиденное передать сознанию не может, потому что сознание окутано сном.

Сон тускнеет. Звезды пропали, и — о ужас! — овцы, что лежали спокойно, понемногу лезут ввысь, превращаясь в гигантское облако, разбегаются и воют вместе с бурей. Рим начинает беспокоиться, хочет подняться, залаять, предостеречь их, но издает лишь стон, глухие рычания, ворочается, зябнет, потому что лютый холод налетел на него чужой собакой и кусает острыми клыками.

Чужая собака, громадная, толстая, с налитыми кровью глазами, рыча навалилась на него и норовит вцепиться в горло. Рим огромным усилием вырывается и,

заняв позицию, рычит; другая с быстротой молнии набрасывается на него и кусает в хвост. Невыносимая боль! Рим с визгом вскакивает и с удивлением замечает, что лежит под бревнами корабля и одно из них накренилось и придавило ему хвост.

Растерянно смотрит. Огромная, невыносимая тоска ложится ему в сердце.

Кладет голову на лапы и беззвучно плачет. Его плачу вторят мяуканья кошек да стенания ветра.

На рассвете выполз. Ждал. Непременно кто-то придет. Не пришел никто.

А близко к кораблю стоять опасно. Мальчишки из села, целой толпой, потехи ради, швыряли камни в оставленный хозяевами корабль. Камни гулко стукались о железо, сдирали краску. Ребята громко кричали и снова брались за камни.

Разочарованный, Рим сошел в город, побродил по улицам, обошел пороги домов, где бывал Мартын, винарни, куда забегал Федор Пантелеевич, места, где обычно хаживал Эрьян, но никого не встретил.

Бродил целыми днями.

Отовсюду его гнали. Заляпанный грязью, исхудалый, он уже и желтеть стал. Шея набок, и в глазах много страху.

А то как же? Два дня назад на его глазах маленькую собачонку безжалостно побили потому только, что подхватила выпавший из корзины кусок хлеба... Тогда Рим, полный горечи, опечаленный, напуганный, убежал и остановился на пустынной какой-то улице.

А есть было нечего.

Однажды, когда проходил по вязкой грязи одной из улиц, какой-то мальчишка ни за что ни про что запустил в Рима камнем и поранил переднюю левую лапу. Держа ее на весу, обезумев от боли, он убежал, скуля.

В конце какой-то улицы, там, где кончаются дома и начинается замусоренный пустырь, он нарвался на свору собак.

Чужаки, неизвестно откуда взявшиеся. Всевозможные, всяких пород. Редкие городские собаки, что обычно по богатым домам живут, холеные и надменные. Из тех, кто не считает даже нужным близко подойти к сельским волкодавам и снюхаться.

Завидев Рима, остановились и, задрав нос, стали смо-

треть. Рим, подняв подбитую лапу и поджав хвост, понурил голову и пугливо, краем глаза посмотрел. Оскалился и глухо зарычал.

Собаки глянули на него, потом на своего вожака — рослого, сильного датского пса с тяжелой мордой и мощными лапами.

Датский пес не обратил на него никакого внимания, только озабоченно повертел глазами, отошел, отступил. Ясно было, что мучает его нечто и пребывает он в нерешительности.

Разочарован был и голоден, как и все остальные собаки. Уже не знали, куда идти и что делать. Подобной отверженности не переживали еще. От голода все почти обезумели. Датский пес забегал, принял решение и дал глазами знать — пошли.

Рим, напуганный своим одиночеством и ободренный равнодушием большого пса, побежал за ними. Кудлатая, низкорослая собачка, весьма общительного нрава, выросшая на коленях у своей дражайшей хозяйки, потершись, побежала рядом и — легкомысленная и болтливая — обрисовала Риму создавшуюся обстановку.

Поведала, что хозяева этих многочисленных и горемычных собак — богатые люди — бежали из города и бросили собак на произвол судьбы. Есть нечего. Их гнали отовсюду, кидали в них камни, колотили. Из домов, как прежде, куска не выбрасывали. Не знали, как быть. Целый день вот так, сворой, бегали взад-вперед, без цели, без надежды. В город не заходили: слишком опасно,— обходили дальними улицами... Ах, очень, очень уж плохо! Так плохо стало...

Собачка, крутя полным задом, бежала и безостановочно болтала. Рим, слегка заинтересованный и чуточку ради приличия, слушал ее, постоянно держа на весу лапу, старался не отставать.

Несколько дней пробегал в стае.

Голодные, злые, озверелые, без отдыха, бегали взад-вперед и ждали, когда стемнеет, чтоб пробраться в город и хоть что-нибудь стащить. Пролезали в двери и там, случалось, в кучах мусора находили обгрызенные кости. Да налетали всегда кто посильнее. Датский пес подходил, рычал, отбирал кость и разгрызал себе. Остальные

ждали, глотали слюнки. Чего ждали? Частенько вспыхивали драки. Так просто, без причин. Налетали друг на друга, набрасывались с пеной у рта, уродовались.

Рим, как сельский пес, уравновешенный и смирный, не выносил этих истерических сцен и вообще не хотел мириться с подобным положением. Как-то, сославшись на боль в лапе, свернулся и дал другим удалиться, уж лучше самому о себе позаботиться.

Потихоньку вернулся в город. Бродил, вынюхивал, искал.

И однажды вечером — везет же иногда собакам! — когда лежал на углу одной из боковых улочек, что, вы думаете, увидел? Спереди вооруженные люди, сзади вооруженные люди, а посредине — человек и с ним еще один. Рим, как увидел это, весь задрожал, вскочил, широко расставил лапы, широко раскрыл глаза, поднял уши торчком, взвизгнул. Один из этих людей был Федор Пантелеевич... Рим хотел броситься к нему, радостно запрыгать, залаять, но тут увидел винтовки и длинные штыки, испуганно попятился. Вооруженные люди не подпустили близко, и лица у них были суровы. Побежал за ними, покружил вокруг — хотел обратить на себя внимание Федора Пантелеевича,— все напрасно: тот шел опустив голову, с трудом волоча ноги, подавленный, ни на кого не глядя.

Пройдя порядком, добрались до здания с маленькими окнами, где тоже стояли вооруженные люди. Открылись большие ворота. Рим хотел проскользнуть следом. Солдат так пнул его, что в глазах Рима запрыгали искры, и он, чуть не потеряв сознания, незаметно для себя проскочил через другую дверь и оказался во дворе.

Забился в уголочек и тотчас забыл о боли.

Так сильно и так вкусно потянуло кухней, что чуть сознания не лишился. Крутя хвостом, подошел к двери, откуда шел этот дух, и — что видит? — огромный ящик, полный всевозможных объедков. Господь собачий! — даже куски мяса. Поел, погрыз, нажрался, да так, что стало ему дурно, поскольку отучился было есть.

Выбраться со двора и пробраться туда снова — на то нужно было употребить немало хитрости. Надо было часами ждать, когда откроют ворота. К счастью, такое на дню повторялось не раз. Рим, припадая тенью к стенам,

осторожно проползал на брюхе, проходил в узкую дверь и, едва отворялись ворота, бросался вон.

А однажды, подняв хвост, побежал к кораблю. На полпути с удивлением заметил, что навстречу идет много крестьян, нагруженных всевозможными узлами.

Остро пахло сыром, сливочным маслом и вяленым мясом. Повернул и пошел за селянами.

Так до базара и добрел.

Знал, что гонят оттуда собак и беспризорников, бросаются камнями. Потому и с великой осторожностью прикрылся корзиной какой-то старухи, прошел как ее верный пес и добрался до места, где торговали рыбой. Но там едва протянул лапу за кусочком завалившейся под прилавок запыленной печенки, как мясник — толстопузый тип — сердито накричал, стукнул его по башке, и он принужден был бежать. Естественно, попытался вернуться туда снова. Но на этот раз осторожней, зашел с другой стороны, сжался, прополз на брюхе, вытянул морду и собрался схватить злополучный кусок. И только хапнул, мясник обернулся и бросился к нему с ножом. Рим отодвинулся и в страхе замер.

Виноватыми глазами, раздув ноздри, следил издали и придумывал новый тактический ход — ради похищения этого ничтожного куска печенки. И вдруг услышал знакомый голос. Поднял уши, прислушался. Возможно ли это? Печенка, мясо, голод — все забылось. Глаза загорелись озабоченностью. В то же мгновенье голос прозвучал снова, и Рим, обезумев от радости, бросился в ноги Эрьяну и завизжал.

— Эй! Рим, голубчик, где ты был? Рим, мой дорогой...

Обрадовались оба.

6

Эрьян, стоя в ряду других мужчин и женщин, держа в руке рубаху, бритву и пару шлепанцев, громко зазывал проходящих крестьян, привлекая их внимание к своим товарам.

— Такой рубахи,— кричал он,— десять лет искать будете — не найдете! Настоящий заграничный материал, и нет ему сносу... Отдам за два фунта масла, или три фунта лоби, или два с половиной фунта чечевицы... А ну,

подходите, товарищи селяне! Пользуйтесь случаем, пока не поздно...

Кое-кто из крестьян останавливался, трогал край рубахи, щупал. Эрьян пытался их убедить:

— Другой и не ищи! Это, брат, товар что надо... Да я сам ее во Франции, в городе Марселе, брал... и двух раз не надевал...

— Стара,— отвечал крестьянин, недоверчиво глядя ему в глаза.

— Стара? Эта рубаха стара?..

— Полфунта масла можно...

Говорил механически, потому что внимание его давно уже обращено было на товары соседей Эрьяна.

Почти вся не сбежавшая городская буржуазия была здесь. Кто пришел запастись продуктами, а кто — показать, что ничего больше не имеет. В то время как имели золотые монеты, бриллианты, замурованные в стенах, припасы, зарытые в земле.

— Подходи! Налетай, товарищи селяне... Заграничный товар, прошу ко мне.

— Какой там заграничный? Я вам лучше, морозовский, без износу...

— Теплое шерстяное одеяло! Теплое одеяло!

— Кто хочет настоящей верблюжьей шерсти из Аравии — иди сюда!

— Тюфячок на тахту! Бурка из Дагестана!

Высшего ранга, эти торговцы тщились соблюдать меж собой салонные приличия.

— Софья Аракеловна! Видел, как же, видел — как обменяли вы на банку мацуна! Я так рад за вас!

— Благодарю вас, Аствацатур Мкичович! Благодарю вас! А вы, что вы сумели?

— Да что говорить: эти противные крестьяне такие неподатливые... Ничего, горсть чечевицы все же сумел достать...

И снова предлагали свои товары:

— Ножи, вилки!

— Скатерть, пожалуйста! Три аршина в ширину, пять аршин в длину...

— Медная кастрюля! Чудесная кастрюля!

Крестьяне брали товар в руки, разглядывали, вертели в руках, подносили к глазам, изучали, щупали тол-

стыми пальцами, похлопывали и, без единого слова, возвращали.

— Дядя, а дядя! — взволнованно говорил хозяин товара.— Ты получше его разгляди! Нет, ты посмотри только: какой это чудесный товар! За два фунта масла...

Чудесным товаром был маленький театральный бинокль.

— Вот возьмем к примеру, детишки выгнали скот пастись, пошли и опоздали,— поясняет он.— Опоздали, и ты тревожишься... Кто же, по-твоему, пойдет искать их в такую даль? А тебе и не надо никуда идти: идешь себе на крышу, подносишь эту штуку к глазам — и видишь пасущихся коров и детей, да так, как если бы они в двух шагах от тебя были... В двух шагах, говорю, не больше...

— Так-то оно так,— мнется крестьянин,— это ты прав... Только я, понимаешь, штаны ищу...

Чтобы не упустить покупателя, хозяин бинокля тут же передает соседу:

— Сережа! Этот почтенный человек ищет брюки...

— Брюки? У кого тут есть брюки? — бежит по цепочке.

— Прошу! Прошу вас! Из настоящей английской шерсти... Сюда, прошу вас... брюки...

Рим, смирно сидя подле Эрьяна, вертел головой по сторонам, смотрел и радовался.

Счастлив был.

В тот же вечер Рим попал в новый дом.

Домом назвать будет преувеличением, потому что если здание имело стены,— крыша провалилась, если имелись окна,— не было стекол. Эрьян со своими друзьями-сиротами ночевал в этом полуразрушенном, полусгнившем доме — одном из многих в городе.

В одной из комнат он натянул гамак, кое-как сделанный из старого одеяла, раздобыл колченогий стул, ряд необходимых принадлежностей — бритву, зубную щетку, мыло — и кое-как устроился.

— Мой Робинзонов уголок,— говорил он, смеясь.— Допустим, что корабль затонул в бурю и я попал на незнакомый остров... Рад, что спасся и обхожусь чем есть...

Говорил, смеялся — звонким, детским смехом.

Беспризорники любили его именно за этот смех.



— Жизнь надо принимать, какая она есть,— повторял он.— Дни невзгод следует встречать спокойно и мужественно, облачать их в яркие одежды воображения. Люди забывают, что жизнь коротка, что пришли мы и должны уйти, что другие миры с нетерпением ждут нас...

По ночам разводили огонь и садились в круг.

Языки пламени освещали увядшие, исстрадавшиеся, болезненные лица подростков. Прикрытые лохмотьями, вшивые, босые — они сжимали посиневшие губы, обращали к Эрьяну лихорадочные глаза свои и ждали, пока начнет рассказывать об увлекательных морских приключениях.

— Ну, капитан, мы ждем...

Эрьян оглядывал все вокруг и начинал свой рассказ.

— И опять поднялся ветер,— говорил он далеким голосом.— Ревет что есть силы... воет...

Ребята жмутся потеснее. Слушают внимательно.

— В океане мы, значит... В былые времена, когда под парусами ходили... Наш корабль четырехмачтовый: подняты все паруса, раздулись, вот-вот лопнут... Нос как шило; накренясь всем корпусом, корабль летит... Там, на корме, у штурвала, пусть не зевают! Малейшая ошибка может стать роковой... Видите, что творится на море? Ветры несутся на нас, волны ходят с гору, каждую секунду разверзаются перед кораблем бездны... Задирает нос, проваливается вниз, будто хочет зарыться в воды... Вр-р-р! Вымокли до нитки, холод пробирает до костей... Знаю, понимают, как не понимать, вот уже двадцать дней, как эта несносная погода не оставляет нас в покое... Устали, сил нет... Что поделать, ребята? Держись! Такова уж судьба моряцкая! — надо стоять, выдержать, победить враждебную стихию... Помните: вся Испания смотрит на нас! Вы же помните, помните тот день, когда в час отплытия прекрасная королева пришла проведать нас... Как сейчас вижу. Гремели трубы, войска замерли в строю, дворяне, гранды и идальго, в широкополых шляпах с перьями, при лентах, с тяжелыми шпагами, степенно следовали за королевой. Королева, прелестная как ангел, шурша шитыми золотом шелками, подошла и улыбнулась нам своими большими и ясными глазами... Народ кричал здравицу, оркестр гремел, девушки Сантандры, прикладывая к губам нежные пальчики, слали им поцелуи...

Затаив дыхание, все слушали.

— Не помните? Будто вчера было все это! И мы поклялись в верности красивой королеве нашей и поклялись надуть наши паруса северными ветрами и, побеждая бури, достичь южных берегов открытой Колумбом земли... Вы же помните?

Глаза Эрьяна горели. Все это говорил он так естественно и убедительно и последний вопрос задавал столь повелительным тоном, что ребята в один голос отвечали:

— Помним! Да, помним!..

— Ребята, трудное осталось позади,— еще более вдохновляясь, продолжал Эрьян.— Вот, я уже вижу, ну да, вижу... На изданной в Женеве этой моей карте все отмечено: еще несколько дней, и мы увидим первых морских птиц, которые прилетят и будут кружить над нашими мачтами и возвестят нам о близости заветных земель... Дойдем до Мексики или Калифорнии, к местам под названием Вар Фур... И когда с ближних холмов увидят нас туземцы — сойдут к берегу, принесут нам дорогие подарки. Мы, в свою очередь, передадим им наши подарки. Поживем в этих сказочных местах в свое удовольствие, изучим, опишем малоизвестные эти места и с большим дорогим грузом вернемся в родную Кастилию...

На лица ребят сходила счастливая улыбка.

— Да! Я уверяю вас, так будет, и никак иначе! А пока — держись! Этот проклятый ветер с каждым часом крепчает... Холодно...

— И дрова кончились...

— Значит, ляжем, поспим малость, чтобы завтра с новой силой, с новой энергией продолжить наше нелегкое это путешествие...

Ветер мяукал в провале крыши. Ребята зябли, жались друг к другу. Огонь угасал. Эрьян вытягивался на своем гамаке, натягивал одеяло и молчал.

Никто больше не говорил, стремясь сохранить реальность иллюзии.

Воображение их гуляло по неведомым странам, где солнце было извечным, где города мостили золотом, где деревья тяжелели невиданно сочными плодами, где жизнь была нескончаемым счастьем, где женщины были так прекрасны...

И Рим жался к ним и тоже был счастлив.

...День занимался на верхушке дырявой крыши. Эрьян, с узлом в руке, шел на базар. Ребята разбегались во все концы города и на углах стерегли — где бы что стянуть.

Часто возвращались битые, пораненные.

Ложились и вздыхали.

Вечером сообщали обо всех происшествиях в городе.

— Снова были обыски. Аресты продолжаются.

— Сторонники прежнего правительства, чиновники, министры, в первые дни свободно разгуливали, а сейчас в страхе таятся.

— Собрали всех офицеров бывшей армии в клубе и сослали.

Происходили порой в разрушенном доме бурные политические споры... И заводил их всегда Сисак, долговязый, как засохшее молодое деревцо, чуть горбящийся скуластый парень с лихорадочно горящими глазами.

Склонив голову, он обычно смотрел отсутствующим взглядом, и непонятно было — о чем мечтает? Или ни с того ни с сего начинал смеяться. Или овладевало им вдруг желание говорить: блестящие глаза лезли из орбит, неспокойно ходили руки, он подбирался всем телом, и голос обретал такую силу, словно изнутри сжигает его неуемный огонь.

— Да! — начинал он, когда ребята собирались, уставшие, измученные, и садились молча.— Так вот, я хотел вам сказать... Сегодня немало речей наслушался... Дело в том, что очень много правильного в этих речах...

— А что говорили?

— Верные вещи,— продолжал Сисак,— такие верные, что почти убедили меня... Не позволим больше богатеям обирать бедняков, говорят они: больше не придется труженику отдавать богачам свой труд, свой пот... А что, неверно говорят? И очень даже верно говорят... Если нет на этом свете справедливости, надо силой добыть и утвердить ее. Силой оружия! Надо обломать богачам крылья!

— Богачи что тебе, птицы, да?

— Не птицы, зато хищники, которые нападают на слабых, выклевывают им глаза, выедают им сердце и вообще... Я ненавижу их, всем сердцем ненавижу! Пойми же, эти большевики пришли вырвать нас из их лап... И значит, хорошие они люди... Что, не так?

Возражали ему:

— Не в богачах тут дело,— тут о турках речь...

— Эти вырезали наших родителей, отобрали наш дом, сделали нас несчастными сиротами.

Перед подобными возражениями Сисак не сдавался.

— Это так, что было, то было... Я и об этом расспрашивал... Говорил с одним из ребят, и он сказал мне, что сил наших пока не хватит воевать с турками. Вон, мол, дашнаки повоевали, что получилось — и такую первоклассную крепость, как Карс, отдали... Сказал, что революция распространится по всему Востоку. Тогда везде трудовые люди будут счастливы. Они будут братьями. Хорошенько подумать — золотые это слова...

— Они сказали, а ты и поверил!

— Поверил, а то как же, конечно, поверил! А чего мне не верить-то? Красные, что пришли, не предатели же? Пришли, потому что любят народ, потому что есть у них сердце и ум, потому что хотят спасти нас... Говорят, хотят построить такой Айастан, такой Айастан, какого и при царях наших не видывали... Говорят, эти старые улицы разрушат, дворцы, театры, сады, школы, мастерские, заводы построят... На этих улицах в буран и холод не должны лежать беженцы и не должны ходить босые, как мы... Я полюбил этих людей... Что скрывать? — полюбил... Вон вытурили богачей и вселили в их дома рабочих. Нет, хорошо будет!

— Если останутся...

— То есть как не останутся?

— Кто знает? Послушаешь — чего только не говорят...

— А ты ничему не верь... Нет такой силы — выгнать их. Нет, ты не верь! Говорю, если хотят столько всего построить, возродить страну, дать народу счастье — какой смысл тогда против них идти? Если все люди будут равны, счастливы... каждый в своей комнате, с печкой, с постелью...

Волновался, и его душил сухой кашель.

Арис поднимал горячую, всю в болячках голову и, глотая добрую половину слов, перечил ему:

— Ты говоришь, не будет богачей, а я хочу, чтобы были, потому что и я когда-нибудь богачом стану...

Все смеялись.

— Стану! Вот раздобуду немного денег и накуплю ваксы, тогда увидите! Золото буду покупать-продавать... Мартын вон, видал как? И я так... Куплю шубу на меху, меховую шапку, башмаки со скрипом и буду целый день халву есть... Своим трудом заработаю... Попробуй придерись!

— И станешь буржуем...

— И стану буржуем... Толму буду есть, сыр, плов с цыпленком... Стану богачом, а перед богачами всякий шапку снимает... Сюда пожалте! Сюда пожалте! Прошу, пожалуйста! Не берите этот кусок мяса, возьмите тот, пожирнее... Сегодня у нас каурма на обед, господин Арис, не откажите... Иду! Иду!

Арис вскакивал с места, надувал живот и ходил вперевалочку.

Прогнав сон, теперь уже веселились.

Сисак умолкал и вдавался в грезы.

Арис изображал то одного, то другого из местных жителей.

Шум стоял невообразимый. Сироты забывали вдруг усталость, голод, холод и возвращались к озорству, присущему их возрасту. Гоготали, корчили рожи, шутки разыгрывали.

Передразнивали известных в городе лиц.

— Это Хромой,— объявлял один.

Руки закладывал за спину, голову набок и шел, волоча левую ногу.

— Милый господин, подайте милостыньку! — тянулся к нему другой.

Хромой останавливался, вскидывал брови, таращил глаза и кривил рот.

— А ну, пошел вон! Щенки проклятые! Черт знает что такое... Пришли и как саранча белый свет застили...

Как в фильме, оживали все знатные лица буржуазного Еревана. Обремененные большими семьями, часами торгующиеся из-за ломаной копейки жадные старикаsuccessfully; легкомысленные юнцы, любители приударить за девушками; дослужившиеся до министра учителя-наставники; жеманные дамы; артисты, берущие в долг папиросы; начальник городской милиции; комендант города; богачка Зангуланц, что бросала камни им вслед и ругалась; выходящие из клуба неудачливые игроки; торговец из Вана; отец Арут, кашель которого сотрясал всю улицу, и, наконец,— это было особенно забавно — сам он, капитан Эрьян, в дни, когда волок корабль на гору.

— Э, да умереть мне за вас! Вот это да! Вот уже час трудимся, а даже на аршин не продвинулись! Что это за волы такие дохлые! Нельзя так! Говорю же вам — нельзя! Ну давай! Давай! Погоняй его! Погоняй!

Эта сценка больше всех веселила Эрьяна.

В такие минуты забывали обо всем: смех и шутка умывали ребят и озаряли сердца их.

Потом, поздно ночью, укладывались, как овцы жались друг к другу и, сложив руки на груди, спали.

Через провалы в крыше врывались ночь, холод, глухо выл ветер.

7

Эрьян распродал все, что у него оставалось.

Были у него золотые часы. Но то — дорогая память: продавать не хотел. С дарственной надписью поднесли их ему матросы корабля, после сильной бури. Последняя память о прошлом, и решил их сохранить, даже если будет голодать.

Дорогие матросы! Дорогие товарищи! Где они теперь?

И хотя для продажи ничего не осталось, продолжал ходить на базар — отчасти из любопытства, отчасти просто убивать время. Не знал, как дни проводить: наблюдал за людьми и «делами мира сего». Многое изменилось! Вчера еще высокомерные, надменные, наглые мужчины и женщины превратились в каких-то блеющих ягнят. Каждый старался вытравить из памяти других свое прошлое. Женщины ходили в самых скромных платьях; мужчины — без воротника и галстука, подделывались под пролетариев.

Жизнь казалась ему великим водевилем и эти люди — поневоле и по несчастью — актерами. Надо было видеть их бегающие глаза, желчные улыбки, вытянутые шеи.

Смотришь, базар окружали, арестовывали ванцев, торгующих золотом.

Эрьян незаметно удалялся, бродил в соседних переулках, смотрел издали на корабль без хозяина.

Щемило сердце.

Однажды в минуту глубокого разочарования он хотел пойти просить работы у новой власти. Никакого другого выхода не видел.

Сисак всю ночь напролет говорил о тех чудесных вещах, которые большевики намерены сделать. Убежденно, яростно, с горящим взором, голосом проникновенным и трепетным. Эти слова, вопреки воле Эрьяна, подействовали, ворвались в сознание, овладели им. В конце кон-

цов, он не дашнак. Просто армянин, приехавший служить родине. И если дали бы возможность продолжить дело — отчего ему и не быть счастливым? Он хотел закончить начатое дело, а об остальном пусть заботятся другие.

Пришли уверенным шагом и очень цепко взяли власть в свои руки. Из-за разодранных в клочья дальних горизонтов взошло солнце новой жизни. Миллионы воодушевлены желанием построить свой справедливый мир.

Что мог противопоставить их натиску обессиленный старый мир?

Сисак был прав. Этот парень, брошенный на задворки жизни, оскорбленный в чувствах, сберег чистоту своего сердца. Кто говорит, что его предвидение не ближе к истине, чем обращающаяся в пыль перед лицом великих событий ученость так называемых мудрых и сведущих мужей? Люди чистого сердца предчувствуют и острее воспринимают общественные бури.

Нет! Сисак был прав.

С этими мыслями ходил он вокруг Народного комиссариата, но войти смелости не хватало.

Ночь не спал. Думал часами, сам с собой разговаривал. Все казалось простым, понятным, логичным, и, несмотря на это, некая внутренняя сила противилась разуму. Что за сила была? Уязвленное самолюбие? Страх приспособиться к событиям? Муки совести?

Под утро, едва разлепил веки, понял причину.

Зварт!

Пойти к ним — значило признать свое поражение перед Зварт. Это значило встретить ее, стоять перед ней опустив голову... Глупости! Сколько времени уже, как не видел Зварт! А если бы и увидел, как это важно? Давно забытое воспоминание...

Долгое время, в таком смятении, бродил по городу. Боролся с проснувшимися в нем призраками. «Великие, решающие события мерял мелкими чувствами,— сказал он сам себе.— Это подлость. И потом, кто знает, где Зварт?»

Эрьян уже несколько раз проходил мимо дверей комиссариата, смотрел на входящих и выходящих людей, терзался, не принимая окончательного решения. Это хождение навлекло на него подозрение часовых у входа. Краем глаза проследили за ним, пошептались. Эрьян за-

метил и, чтобы рассеять подозрения, решительным шагом направился к ним:

— Простите, товарищ, где здесь комиссия по трудоустройству?

— Поднимитесь наверх...

Одним духом взлетел на второй этаж, рванул дверь и оказался перед глазами близорукого молодого человека.

— Ну, что там у вас? — после долгого разглядывания спросил молодой человек.

Эрьян вдруг разучился говорить. Смотрел на него баран бараном и краснел. Побоялся заикнуться о корабле, а тогда какую же работу просить?

— Говорите, что вам нужно?

В эту минуту из соседней комнаты позвали молодого человека. Эрьян остался один. Решил было тотчас удрать; не мог, ноги пригвождены к полу. Не прошло и пяти минут — молодой человек вернулся. Вошли еще другие лица с какими-то бумагами, и, следом за ними, с телеграммой в руке — Зварт.

Эрьян побледнел и отодвинулся. Увидев его, Зварт приветливо и естественно протянула руку, подошла.

— Вот наконец и капитан! — воскликнула она.— Мы вот уже сколько дней о вас говорим...

Взяла за руку, увела в другую комнату.

— Товарищ Мавьян, представляю вам капитана, о котором вы знаете...

— Садитесь, товарищ! Садитесь! — сказал тот дружелюбно.— Навигация на Севане входит в наш строительный план, и на этот счет приняты решения... Был тут разговор и о вас...

И товарищ Мавьян серьезно и по-деловому расспросил Эрьяна о корабле, о необходимых для переброски на Севан средствах, о личном его материальном положении и прочем.

Эрьян рассказал о всех бедах своих, о передвижении корабля с помощью волов.

— Ну нет,— сказал Мавьян,— подобными кустарными методами страну не поднять... Скоро мы получим автомобили, грузовики... и другие машины, из которых вы можете выбирать... И вообще, все это дело поручаем вам... Подберите людей, отдайте необходимые распоряжения и увидите, что все будет в порядке...

Добавил, что первым кораблем этим вопрос не решится: нужда будет и в других кораблях. Должны были строить причалы и даже электрические станции. Конечно, надо иметь немного терпения: власть утвердилась в Армении недавно, и осуществить все это не так просто.

На клочке бумаги карандашом выписал свидетельство, распорядился насчет жалованья и просил доклады представлять ему.

Зварт при разговоре не присутствовала. И, выходя, ее не видел.

Эрьян был растерян: такого не ожидал. Чувства схлестнулись в нем: горе и радость смешались.

Снова корабль! И снова Зварт!

Корабль — сиротливый, одинокий, поржавелый, загаженный. Ах, он и «Альбатрос» вновь должны обрести крылья, должны плыть по землям, мимо гор! Должны наконец оставить умытую бурями, обожженную буранами вершину скалы...

А Зварт? Как изменилась, и как хорошо, что изменилась так. Простая, серьезная, изнутри озаренная. Что и говорить, утратила изнеженность, составлявшую ее обаяние, но, с другой стороны, насколько реальней была теперь, насколько осязаемей. Рождалась новая женщина, новая армянская женщина. Не страданиями сломленная, скорбью и слезами переполненная армянская мать, а возрожденная из руин и пепла — женщина с ясным челом, мудрыми глазами, сознательная, храбрая сердцем.

Ах, снова корабль! И снова Зварт!

На другой день Эрьян перебрался на корабль.

Сисак и тот парень, по имени Вазген, согласились работать с ним. Другие, несмотря на предложенные им хорошие условия, отказались. Они предпочитали продолжать свою бродячую и вольную жизнь. С усердием стали скрести корабль. Кошек разогнали, вымыли горячей водой каждый уголок, надраили металл. Оставалась краска, но о том уже написали в Баку и надеялись в скором времени получить.

Одной из первых забот Эрьяна было вызволить из тюрьмы Федора Пантелеевича. Представил его как необходимого делу незаменимого работника. Обегал немало

канцелярий. Обещали пересмотреть дело, но из тюрьмы не выпускали. Разрешили передачи.

Начал новую жизнь.

Паек, жалованье, даже кожаные куртки получили.

Рим был счастлив: застывал на мостике и лаял на город. Наверно, боялся, что отнимут у них корабль...

В городе жизнь еще не наладилась. Ребята приносили разные вести. То сделали, это сделали, то говорили, это говорили.

— Будь что будет! — воскликнул Эрьян.— Мы о своем деле должны думать, перебросим корабль на Севан...

Едва занимался день — приступали к работе.

На верхушке мачты взамен трехцветного полоскался красный. На флаге — оба Масиса, молот и серп...

Красный флаг!

— Сукин сын! Перекрасился...— ворчали недовольные. И чего только про Эрьяна не несли.

Эрьян не реагировал. Корабль должен достичь Севана!

А порой не мог скрыть гнева, особенно когда сплетни исходили из среды интеллигентов.

— Одно из несчастий этой публики,— говорил он,— что полуобразованные, плоского сердца и плоского ума мещане они... Как старые девы, завистливы, желчны, глупы... Для них родина — это буржуазно-националистическая партия, а партия — набитый зерном и пометом курятник... Как белка в колесе бегают вокруг дешевых и потрепанных идей, а то, что именуют идеей, не что иное, как дурная привычка грызть ногти...

И продолжал работать.

Дважды ездил на Севан, на автомобиле. Отметил на карте пункты, где следовало производить необходимые работы. Не спал ночами: сидя за маленьким столиком, чертил, производил расчеты, готовил подробные доклады, проекты.

Дел было много. Прежде чем пустить грузовые автомобили, надо расширить участок дороги у Сухого Фонтана. Нужен цемент, нужны лесоматериалы. Конечно, теперь, когда границы республик открыты, все это можно ввозить из Азербайджана или России. К несчастью, железная дорога работала с перебоями.

И к тому же погода не позволяла. Февраль был же-

сток. Ветер, снег, стужа. Часть дорог закрылась, берега Севана утопали в снегах.

— Ну вот, полмесяца уже пролетели,— говорил Эрьян.— В марте начнем подготовительные работы и к маю с радостным криком стронем с места нашего друга...

Говорил, и глаза его блестели, и широкая улыбка светилась на лице.

...Жил как монах — затворившись на корабле. Городские происшествия его не интересовали. Вниз почти не сходил, а если и спускался — проходил по улицам быстрым шагом.

Раза два встречался в учреждениях с Зварт. И она казалась слишком занятой. Зажав под мышкой папку, носилась с одного собрания на другое, ходила в ближние села. «Страшно много работы»,— жаловалась ему. Здоровалась, говорила, шла дальше. Даже о корабле не спрашивала: наверно, была в курсе всех дел, и не было нужды расспрашивать.

А их старая любовь?

Эрьян не раз уже пытался разобраться в своих чувствах: не получалось. Между ним и Зварт будто стеклянная стена встала. Все мгновенно остановилось: как два встречных поезда на одной колее.

Бурное было время.

В пору великих сдвигов личные чувства тускнеют. Он, Зварт, корабль — все ждали.

Идя мимо больницы, зашел и справился о барышне Будагян. Большое это здание решено было отдать под университет. Больных перевели в другое помещение.

О барышне сторож ничего сообщить не мог.

Как брата сослали, ноги ее здесь не было. Кто знает, может, из города даже уехала, сказал он.

Встретил и жену Мираняна — Вардуи. Разодетую, веселую.

Сердце Эрьяна сжалось. Женская память стала короче? Та, слегка смутившись, пустилась в объяснения. Имела счастье встретить друга своего детства, которого и Бабкен любил и который ныне — комиссар.

— Забрали моего мужа и угробили! — сказала она возмущенно.— А сейчас сами же и наказаны... Всем сердцем ненавижу их! Всем сердцем!

Но снова вернулось к ней хладнокровие. Улыбнулась:

— Прошу вас, загляните к нам как-нибудь... Живем все там же... непременно приходите...

Эрьян что-то промямлил в ответ и сразу отошел.

Отныне и времени не имел ходить куда-либо. За́нят был с головой.

Случилось непредвиденное. В магазине бакалейщика, покупая продукты, заметил несколько жестяных коробок с немецкой белой краской — той самой, которую искал для корабля. Хозяин не хотел продавать: брал, мол, для себя, выкрасить двери в доме. Поднялся шум. Эрьян спорил, убеждал, с трудом уговорил, заплатил деньги, забрал краску, бросился наверх. В другом месте достал кисти.

И вот уже три дня, как трудились.

Работа не из легких. Прежде следовало соскрести старую краску, зачистить. Спустил по бортам корабля канаты, смастерил люльки. Эрьян работал и пел. Перебирал в памяти все морские песни. Перебирал свою прошлую жизнь. По кусочкам — как далекий сон.

— Моряк,— говорил он ребятам,— так уж устроен, что должен все уметь. Нелегкая школа, трудности делают людей сильными. Моряк должен быть готов устоять при всяких неожиданностях, должен знать все ремесла, выдержать все мучения, вынести голод, жажду, бури... Я жалею, очень жалею, что Айастан наш не имеет моря... Армяне хорошие люди, что и говорить! Да вот горизонта не хватает... Узость горизонта привела к тому, что наши сильные, талантливые мужи бежали. Уходили работать на чужих. Останься тут — задохнулись бы...

И говорил:

— Крестьяне Абарана собрались на митинг и потребовали, чтобы союзные державы ушли с оккупированных немецких территорий... Многие ухмылялись: где Абаран и где немецкие провинции? Не понимают, что митинг этот важен не для немцев, а для армянских крестьян... Культура — это широкий интерес... Интересуются миром по ту сторону гор, участвуют в международной жизни, осознают себя как неотделимую часть целого...

Сисак не скрывал восторга:

— Вот именно! Вот это и есть! Большевизм такое вот сознание и дает...

— Ну да...

8

В тот день раздавали воблу.

Сисак, с корзиной в руке, пошел за пайком. Стоя в очереди, прочел газету на стене: в Крыму красные одержали над белыми большую победу. Этим и объяснил себе волнение на лицах служащих конторы.

А небо тяжелое было — серое.

Все казалось онемевшим, поникшим. На улицах почти никакого движения. И даже перед булочными не толпились, как бывало в обычные дни.

Спустился на базар раздобыть кунжутного масла и с удивлением отметил, что и здесь пустовато.

На центральной улице, перед домами, где разместились партийные и государственные организации, стояли часовые. Из автомобилей выходили озабоченные люди, вбегали в эти дома, выбегали, садились в автомобили, уезжали.

— Странно все это!

Сисак, закинув корзину на плечо, с порожней бутылкой из-под масла в руке, растерянный, наблюдал: потом, и сам не понял почему, ускорил шаги. Стал тревожиться.

И тревога его усилилась, когда у верхних садов города заметил готовых открыть огонь солдат. Проходил мимо, велели показать содержимое корзины. Показал и объяснил, что все это для корабля. Пропустили.

Поднимаясь в Канакер, увидел на дороге груженные людьми и вещами автомобили... Из города уезжали. Кавалерийский полк галопом проскакал наверх и занял позиции. За ним проследовали артиллерийские части.

«Наверно, у Сухого Фонтана или Дилижана что случилось»,— подумал Сисак.

Потом он и труднейший подъем остались лицом к лицу. Тяжелые тучи заходили медленной поступью слонов, сошли вниз, объяли весь горизонт. На самом верху обрыва злой ветер стал что есть силы трясти его; побежал и, запыхавшись, добрался до корабля.

Эрьян при виде порожней бутылки разозлился:

— Слушай! Тебя и к морю пошли, без воды вернешься... Сказал же, непременно купи масла...

Не закончил. В ту же секунду со стороны города послышалась перестрелка. Рим вскочил на мостик и залаял.

— Это еще что?

Сисак, бледный, запинаясь, рассказал обо всем виденном. Стрельба прекратилась.

— Ну, раз читал, говоришь, в газете... значит, отмечают победу над белыми... наверно...

И тут корабль качнуло. Близко ударило орудие, грохнуло с воем. Потом еще раз. Рим пугливо шмыгнул в каюту и сжался в углу.

— С Канакера бьют... по городу...

Перестрелка усилилась. Трещало во всех концах города — беспорядочно стреляли из садов, с крыш...

Эрьян взобрался на верхний мостик. Ясно видел, как перебегали с улицы на улицу вооруженные люди. Хоронились за углом и стреляли. Время от времени ухало орудие.

— Восстание... Никакого сомнения, восстание. Никак, дашнаки пытаются вернуть власть?

Кое-где загудели колокола церквей. В отдельных частях города занялся пожар. Число вооруженных людей на улицах росло. Вон в нижней части города, ближе к церкви Святого Креста, к базару, толпа волнами движется вперед. Каждый раз, когда рвался снаряд, толпа разбегалась по ближним улочкам, прижималась к стенам, пряталась. Через несколько минут выходили из-за углов, снова сливались, нерешительно продвигались вперед, и опять разрыв снаряда рассеивал их, разгонял за стены домов.

По дороге от базара к железнодорожной станции бежала большая толпа.

«Что это? Что же это? — спрашивал себя Эрьян.— На что они надеются? А если турки снова пойдут на Айастан? Да потом и занятая в Грузии Красная Армия вернется?»

Мрачно продолжали звонить колокола.

Трещали рассерженные пулеметы.

Сверху если смотреть — серый, почти целиком накрытый небом город стал еще площе. Араратская равнина потонула в тумане, горы отодвинулись. Сквозь тучи

нет-нет да блеснет белоснежная шапка Арарата и исчезнет. Тяжелая, гнетущая сила сошла на этот мир и придавила его. Угнетал и громкий плач колоколов.

Не совсем ясно было, что творится. Тех, кто дрался, не видно. Пулеметы и орудия били далеко где-то, и звуки пропадали в пустоте.

Примерно с полчаса на улицах не появлялось ни единой души.

Эти полчаса прошли в молчании и тоске. Город, казалось, вдруг опустел. Большие стаи ворон тревожно носились с одного края неба на другой.

Смолкли орудия. И колокола смолкли.

Что случилось?

— Красные, наверное, ушли,— сказал с болью Сисак.

Чуть погодя толпа, что таилась близ церкви Святого Креста, выхлестнулась и побежала.

Эрьян и Сисак наблюдали эту картину, как вдруг вокруг них засвистели пули.

— Ложись! — крикнул Эрьян и распластался.

Ясно, что по кораблю стреляли. Несколько пуль ударилось в железо.

— С ума сошли, что ли? — буркнул Эрьян.

— Спусти красный флаг, не то...

К этому голосу за скалой тотчас присоединилось много других. Эрьян поднялся и спустил флаг с мачты.

— А с тобой мы после рассчитаемся! — рявкнул голос.

Обругали, ушли.

— А что теперь будет? — дрожащим голосом спросил Сисак.

Побледнел сильно. Сцепил руки на груди и силился побороть сухой кашель.

— Мерзавцы! Мерзавцы! — вскричал Эрьян.

Вдруг прилила кровь к голове, и страшный гнев потряс его.

— Не видишь? Не видишь, что ли? — заорал он.— Не видишь, какая это проклятая страна! Про-кля-та-я! Бешенством, нищетой, кровью, смертью переполненная страна! Что прошло! Что пронеслось над этими землями, этими камнями, этими горами? Просто задыхаешься тут! И так десятки веков подряд! Десятки веков бесконечно — битва, резня, сражение, голод! Что это, братцы? Когда это кончится? Когда это кончится?

Сисак никогда Эрьяна таким не видел.

Трясся всем телом. Весь побелел, расширенные зрачки кипели огнем, потрясал кулаками, точно грозил — городу, стране, небу.

— Что это? Зачем это все? — повторял он полным горя голосом.— Я хочу бежать! Убраться из этих мест, бежать из края бессмысленных трагедий. Вырваться из-под власти непонятных сил, из капкана, заряженного чужими богами... Хватит! Довольно уже!

И долго, долго не мог успокоиться.

А город все больше полнился криками, шумом.

В отдельных местах еще стреляли. Бой, видимо, где-то еще не кончился. Осаждали дома, занятые красными. За многими охотились по садам предместий.

Далеко, где-то за станцией, глухо ухали орудия.

В ту ночь Эрьян, Сисак и Рим — Вазген куда-то исчез — оставили корабль и спустились вниз.

Боковыми улочками, прижимаясь к стенам, они вернулись к сиротам.

Оставаться на корабле было опасно.

Под вечер, со стороны Канакера, обстреляли снова. Сисаку сказали, что с Эрьяном разделаются обязательно, как с предателем, перешедшим на сторону красных.

В городе дашнаки организовали так называемый «Комитет спасения родины».

Вокруг Еревана рыли окопы.

Три дня Эрьян скрывался.

Стужа, вши, мусор. На болезненных лицах сирот залегло холодное безразличие. Бродили по улицам как тени. Заслышав выстрелы, бросались на звуки в обманчивой надежде, что разденут убитого. Всегда опаздывали: другие успевали сделать это раньше.

Атмосфера становилась Эрьяну невыносимой.

На четвертый день, еще не рассвело, поднялся и вышел из здания. Рим и тот не почувствовал.

Вышел в раздумье. Куда идти? Снова в Эчмиадзин? Опасно: его все знали.

Утро взяло его в свои объятья.

Снег и грязь. Ах, идти! Но куда? Куда?..

Ускорил шаги. Точно сам от себя хотел убежать. От собственных глаз, раздумий, видений.

Вдали, где дорога огибала ограду фруктового сада, шла группа людей. Ускорил шаги, догнал их, стал расспрашивать, куда идут.

— Идем, вот и все! — сказал крестьянин, гоня перед собой осла.

Мужчина, две женщины да ишак. Сказали, что из Игдыра. Дом, землю, скот, сад — оставили все турку и пустились вот по пустырям...

Женщины не разговаривали.

Ишак раздул ноздри, запрокинул голову, оскалил зубы, стал реветь. Мужчина не на шутку разозлился.

— Глупое создание! — сказал он.— Не время кричать!

И прошелся палкой по бокам ишака.

Осел умолк. Одна из женщин — молодая — посмотрела на Эрьяна, грустно улыбнулась.

— Не страна это,— с горечью промолвил мужчина, окинув взглядом окрест себя,— страна — Игдыр... Рай настоящий... Изобилие... Земля обильна, как вымя коровы обильна, воздух — мертвого на ноги поставит...

Борода у мужчины курчавая, глаза круглые, как копейка. Тяжело нес согбенную спину. Волочил ноги, словно кандалы носил.

— Игдыр... не знал,— сказал Эрьян.— Так, значит... Игдыр...

Посмотрел на девушку.

Миндалевидные глаза, красивые брови. Смуглое, теплое, впитавшее солнце, как зерно пшеницы, лицо. Гибкая, легкая, с налитыми, как плод, губами.

— Ладно, а в такую хлябь куда идете? — спросил Эрьян.

Не знают куда. Многие из игдырцев в эти края подались, и они тоже пошли... Где-нибудь да обретут пристанище. В городе оставаться не хотят: бои идут.

— Не понимаю, какой смысл дальше воевать? — сказал мужчина.— ...Ну, скажи, какой теперь смысл воевать!

Эрьян заглянул девушке в глаза.

— Дело в том, что зима,— продолжал человек.— Всё бросили, все припасы оставили... корм для скота, дрова, выпеченный уже хлеб, сушеные фрукты...

— Варенье четырех видов,— со вздохом вставила женщина.

— Четырех видов варенье, засоленное мясо, суджук... и чего только не оставили. Все в погребе нанизано, развешано... Ба-ба-ба...

Пнул осла, сердито прикрикнув на него.

Правый край неба смотрел подслеповатым глазом солнца. Все окрест было сурово, сухо, мрачно.

Девушка больше не улыбалась. Посмотрела на рваный ботинок Эрьяна. Вода хлюпала в нем при каждом шаге. Эрьян заметил и почувствовал себя униженным. Потому и, повысив голос, неубедительно и развязно сказал много лишнего.

— На вопрос надо смотреть с общей точки зрения. Вот я вас и хочу спросить: какой смысл бесконечно жаловаться? И вообще, время ли сейчас убиваться из-за какого-то варенья, когда трупы лежат незахороненные...

С удивлением слушали. Эрьян заметил, что девушка силится подавить смех...

Остановился.

— Ну, счастливого вам пути,— сказал он.— Мне в эту сторону... Да, если в Эчмиадзин путь держите, идите к отцу Месропу... к магистру Месропу — и скажите, что направил вас к нему капитан Эрьян с просьбой — оказать вам всяческую помощь...

Сказал, свернул с дороги.

«Какой же я дурак! — подумал про себя.— И все из-за худого ботинка...»

Хотел побежать за ними, объясниться, извиниться.

Не побежал, а попробовал спеть. Пошел дальше по тропинке.

9

Айастан — камень, горы, снег.

Эрьян бродил в горах. В одном из сел достал толстой буйволиной кожи и смастерил себе что-то наподобие лаптей. Лицо его заросло беспорядочно кустящейся бородой.

Кожа на лице задубела, загорела, волосы отросли, и картуз в двух местах прохудился. Увидев себя в осколке зеркала, он испуганно отшатнулся.

Он был не он.

Походил на бежавшего из Сибири каторжника. Походил на вышедший из чрева скал таинственный дух. Пахло от него сушеной травой и кислым потом. Руки загрубели, стали тяжелыми, щеки ввалились, и глаза горели фосфорическим огнем.

— Кто это? — спросил он, когда увидел себя в зеркале.

Со лба побежали струйки холодного пота.

Потрогал тело, лицо, бороду. Никаких сомнений — это был он. Он, которого камни, горы, снега и бураны обтерли, подчинили себе.

С того дня ноги его стали легче. Бегал, диким козлом скакал по скалам, с большой высоты по снегу катился вниз. Слух стал настороженней, острей. Он отдался ветрам, понял их язык. Прислушался к бродящим в безднах и пещерах голосам и внял их скрытому смыслу.

Шел к востоку, где скалы, пустыня, одиночество. Шел на запад, где села вырублены в складках гор и где бури грозны и опасны. Сошел вниз, пришел к берегам Аракса, вернулся обратно, пересек Араратскую долину и медленным вдумчивым шагом снова пошел в горы.

В селах принимали его с доброй и снисходительной улыбкой, как встречают божьих людей — христарадников, песнопевцев, полоумных. Как принимают бурю, колотящую обоими кулаками в дверь, или первый буйный предвесенний ветерок, или нежданно прорвавшиеся лучи солнца, или сбившуюся с дороги и одиноко блеющую у порога козу.

Его сажали во главу стола, ставили перед ним полную тарелку и молча, без расспросов, угощали. Случалось, задерживался он в каком-нибудь селе на несколько дней. Принимал участие в труде, делил горе и радость. Таскал солому для скота, чистил хлев, носил воду для лошадей и вдруг, никому ничего не сказав, исчезал.

— Святой человек,— говорили вслед.— Никак, голос ему был свыше, позвал, вот он и пошел...

— Да, он все голоса понимал...

В селе Сарсренц так не ко времени гуляли свадьбу.

Склон горы, на котором свили себе гнездо селяне, утопал в снопах лучей. Колокола церкви весело позванивали.

Дом крестьянина Овакима полон народу. Доносились звуки музыки, песни.

Эрьян прислушался, широко раскрытыми ноздрями вобрал студеный воздух и задрожал всем телом.

Подошел к двери, заглянул внутрь. Его заметили и приветствовали радостными возгласами:

— Просим, просим к столу...

Отряхнул лапти, вошел и опешил. В углу, рядом с женихом, сидела та самая игдырская девушка, что встретилась ему дорогой...

— Долгие лета! — сказал он густым басом.— Поздравляю!

Протянутый ему большой стакан водки выпил залпом.

Отец и мать невесты переглянулись, выкатили на Эрьяна удивленные глаза и зашептались. Мать подошла к невесте, что-то сказала, указав на Эрьяна.

Невеста подняла на него удивленные глаза.

Эрьян заметил все это, понял, что узнан, и громко, дребезжащим голосом расхохотался.

Никогда Эрьян не был таким странно радостным.

Развеселил всех, пил.

— Да не оставит тебя бог! — сказала жена Овакима.

— Ну пей, пей! — сказал Оваким, подливая ему снова.

Эрьян осушил стакан и поднялся.

— Эй, музыканты, а ну сыграйте чалху! [1]

А как заиграли, заплясал. И человек, тело которого казалось тяжелым, как тяжелы камни Айастана, и голова которого (из-за бороды и отросших волос) казалась духом вознесенной, вдруг поплыл легким ветерком над кустами. Запрыгал и заходил, почти земли не касаясь. Завертелся, вправо заходил и влево, топнул лаптями, как мячами, в пол, поиграл плечами и руками и с еще большим жаром запрыгал и заплясал.

Гости поднялись с мест и, хлопая в ладоши, стали подбадривать его криками: таш-туши, таш-туши.

Невеста не могла глаз от него оторвать.

— Невеста! Невеста! Невеста пусть спляшет! — раздались голоса развеселившихся гостей.

---

[1] Чалху — народный танец.

И Эрьян стал танцевать с невестой. Вперил горящие глаза свои в ее зрачки и заскользил, то вперед, то назад, легко касаясь ногами пола, обошел ее кругом, закружился, завертелся, изображая преследование лани. Но случилось неожиданное. Невеста, бледная, опустив руки, поплыла мимо, потом застыла на месте и вдруг еще больше прежнего побледнела и закачалась.

— Невесте плохо! Невесте плохо! — загалдели гости...

И пока в замешательстве люди бегали взад-вперед, Эрьян с быстротой молнии выбежал вон.

На дворе сияли звезды, искрился снег в ночи.

И снова пустился бродить вокруг оголенных скал края Армянского. Слился со снегом, камнями, горами. И сам стал — как камень, снег, гора. Стал исполненным скрытых голосов безмолвием и сжигаемой внутренним огнем наготой.

Отныне его уже ничто не пугало.

И однажды, когда достиг отдаленного села и услышал о столице и все продолжающихся боях и о том, что большевики снова вернулись в Армению, и сам решил вернуться.

Постригся, сбрил бороду и возвратился в Ереван.

Поднимаясь по берегу Зангу, завидел корабль. Стоял все на том же месте. С вечно задранным кверху черным носом, крадущимся доисторическим животным.

Корабль. Припомнился ему запах моря, соленый воздух. Окатило его воображаемой волной, освежило лицо, руки.

— Будь что будет, корабль должен попасть на Севан.

На мосту его чуть не сбила несущаяся навстречу карета. Нагруженный доверху людьми и барахлом экипаж летел как обезумевший. Отпрянул. За этим экипажем, один за другим, пронеслись еще. И еще... Удивился. Нещадно хлестая коней по бокам, промчались верховые. На лицах написан был страх.

И опять экипажи. Груженые повозки. Арбы.

— Что случилось? Куда все бегут? — спросил кого-то.

— Что, не видите? — ответил человек.— Большевики вернулись,— богатеи, дашнаки бегут...

Человек выругался.

Когда Эрьян входил в предместье, услышал перестрелку. Рвались снаряды.

Все бежали вниз, шумели, кричали, галдели.

Эрьян пошел было против течения. Невозможное дело.

— К Араксу! К Араксу! — кричали все.

Эрьяна охватила острая злоба к этим людям. Потрясая кулаками, он сказал:

— В чужие края бегут...

Оглянулся — поток беглецов исчезал вдали. Продолжали трещать винтовки.

Наверху, на скале, все стоял корабль. Неподвижной тяжестью железа, упорный, решительный. А напротив стояли армянские горы, тайну жизни которых он постиг, знал теперь, как прежде знал море.

Эрьян засунул руки в карманы и спокойным шагом поднялся в город.

СОДЕРЖАНИЕ

Костан Христофорович ЗАРЯН

КОРАБЛЬ НА ГОРЕ

Приложение к журналу «Дружба народов»
М., «Известия», 1974, 416 стр. с илл.

Редактор приложений **Е. Усыскина**

Оформление «Библиотеки». **А. Гаранина**

Редактор **В. Полонская**

Художественный редактор **И. Смирнов**

Технический редактор **А. Березина**

Корректор **М. Федотова**

●

Подписано в печать 11/III 1974 г. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бум. печ. № 1.
Печ. л. 13,0. Усл. печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 21,86. Заказ 2815.

Тираж 180 000. А05655.
Цена 93 коп.

●

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР»
Москва, Пушкинская пл., 5.

Ордена Ленина типография «Красный пролетарий».
Москва, Краснопролетарская, 16.

В 1974 году
издается 15 книг
библиотеки
«ДРУЖБЫ НАРОДОВ»

Г. Аббасзаде — Стук в дверь. Повести. Перевод с азербайджанского.

А. Битов, И. Зиедонис, В. Коротич — Не считай шаги, путник.

Н. Бичуя — Чистотел. Повести. Рассказы. Перевод с украинского.

Л. Гурунц — Наш милый Шушикенд. Повесть. Рассказы.

И. Есенберлин — Отчаяние. Роман. Перевод с казахского.

П. Загребельный — С точки зрения вечности. Роман. Перевод с украинского.

К. Зарян — Корабль на горе. Перевод с армянского.

Эд. Кипиани — Красные облака. Шапка, закинутая в небо. Романы. Перевод с грузинского.

Ф. Кнорре — Одна жизнь. Повести. Рассказы.

Я. Кросс — Окна в плитняковой стене. Повести. Перевод с эстонского.

Р. Мустафин — По следам оборванной песни. Книга-поиск.

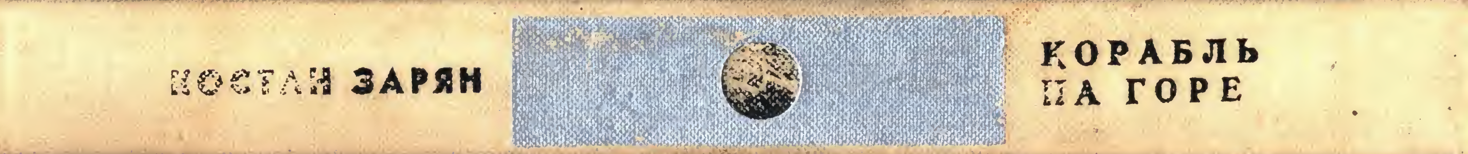
Ш. Рашидов — Победители. Сильнее бури. Романы. Перевод с узбекского.

Т. Семушкин — Алитет уходит в горы. Роман.

М. Слуцкис. — Чужие страсти. Жажда. Адамово яблоко. Романы. Перевод с литовского.

А. Твардовский — Проза. Письма.




КОСТАН ЗАРЯН
КОРАБЛЬ НА ГОРЕ